ГРИГОРИЙ РЯЖСКИЙ

ЧЕЛОВЕК ИЗ КРАСНОЙ КНИГИ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Казахстанская степь, побережье Крыма, московские Котельники – такова география событий в новом романе Григория Ряжского.

Гений, создатель и основоположник отечественного ракетостроения. Художник, чьи картины уничтожены теми, кто продолжает слепо ненавидеть людей чуждой им крови. Талантливая молодая женщина, чья жизнь трагически обрывается в самый непредсказуемый момент. Слепая девочка, чьи чуткие пальцы оставляют следы краски на бумаге, складывающиеся в причудливые композиции.

Что связывает судьбы этих героев – любовь, преданность любимому делу, неугасное стремление сделать мир лучше и справедливей? Или, быть может, постичь непостижимое?

- Григорий Ряжский
  -
  - ЧАСТЬ 1
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17
    - 18
    - 19
    - 20
    - 21
    - 22
    - 23
    - 24

- 25
- 26
- 27
- 28

- ЧАСТЬ 2
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
- ЭПИЛОГ

Григорий Ряжский
Человек из Красной книги

Факты, приведённые в романе,
являются вымышленными.
Все совпадения носят
случайный характер.

Автор

Григорий Ряжский

В гибком зеркале природы
Звезды – невод, рыбы – мы,
Боги – призраки у тьмы.

Велимир Хлебников

ЧАСТЬ 1

1

Первое, что она ощутила, когда ей удалось, наконец, разлепить веки, одолев последние живые картинки этого тягучего предутреннего сна, – тёплая, с легкой шершавинкой ладонь бабы Насти. Особенно заметно это касание мягкой бабы Настиной тёрки она ощутила в тот момент, когда та, нагладившись вдоволь, прижала ладонь к её лбу и легонько покачала ею туда-сюда вместе с ещё не окончательно проснувшейся головой. Аврошка прекрасно знала, что там, где у взрослых заканчиваются пальцы и начинается ладошка, широкая, сильная и пожилая, какая была у папы, и узкая, наподобие маминой, обычно случаются слабые натёртости и даже целые мозоли. Именно так было у её отца, хотя она знала, что папа никогда в жизни не занимался грубым физическим трудом, а наоборот, старался больше думать своей ужасно умной и талантливой головой, придумывая разные инженерные конструкции для секретных ракет, которые улетали в небо, унося с собой на борту отважных людей и самое передовое научное оборудование. Папы часто не бывало дома, но всё равно он всегда был с ней, потому что портрет его висел в детской комнате, над её маленьким письменным столом. Стол этот изготовил мастер-краснодеревщик ещё в позапрошлом веке из старинного палисандра: он достался семье от неизвестного ей прадедушки Ивана Карловича.

Прадед Иван Карлович был часовых дел мастером и, наверное, хранил в столе свои бесчисленные детальки: колёсики, винтики, оси и пружинки. Правда, одному из этих «тихих» и гладких изнутри ящичков, тому, что размещался в самой серёдке единственной тумбы справа, Аврошка тоже нашла применение – в нём хранились её богатства. Сокровище состояло из детского художественного набора с восемнадцатью акварельными кирпичиками, однотонного керамического стаканчика с четырьмя вертикально торчащими из него остроконечными кисточками разной пушистости, глубокого блюдечка для воды – макать туда эти кисточки – и, наконец, главного – альбома для рисования, откуда она почти ежедневно аккуратно вырывала плотные, упругие, слегка шероховатые на ощупь, белейшие листки рисовальной бумаги, чтобы спустя какое-то время все они стали картинами. «Полотнами кисти Авроры Цинк», как шутя говорила мама. «Красавицами расчудесными», – так определяла их баба Настя, одобрительно покачивая заметно седеющей головой. «Вполне серьёзными работами» – таких слов их удостаивал папа, особенно выделяя

среди прочих гуашевый портрет летучей лисицы с необычным именем Фокс.

Остальные детские всякости в виде многочисленных игрушек и кукол: и тех, что издавали при качании трогательно-мычащие звуки, и обыкновенно-никаких, всегда молчащих голышей, и разодетых в пух и прах принцесс с оттопыренными не хуже кисточковых волосков ресницами, но намертво застывшим взглядом, – все эти временные Аврошкины радости были беспорядочно разбросаны по многочисленным закоулкам огромной квартиры генерального конструктора отечественной ракетной техники.

Был в доме и другой его портрет, закованный в широченную раму, покрытую самым настоящим золотым цветом, располагался он в центре стены, напротив громадного обеденного стола. Аврошкин же портрет папы, небольшой, фотографический, в простой узкой металлической окантовке, чёрно-белый, как и всё, что было давным-давно, когда её ещё не было на свете и, наверное, не имело цвета, по размеру был много меньше главного, писанного разноцветными масляными красками и принадлежавшего кисти «художника-царедворца». Так Авроре сказала мама, и она запомнила эти её слова, хотя сама только-только научилась говорить разборчиво.

Рядом с главным портретом была ещё одна большущая фотография, приклеенная на твёрдую основу и безо всякой рамки. На ней был изображён огромный ракетоноситель, под углом к обеденному столу, направленный своими круглыми соплами прямо на смотрящих, так что было даже чуть-чуть страшно, что сейчас он оторвётся от этой фотографии и улетит сквозь стену, оставив после себя внушительного размера дыру с рваными краями. Папа говорил ей – она тогда уже стала почти всё понимать про его корабли и его любимый космос, – что когда космический корабль улетает в небо, то даже бетон плавится под ногами у корабля. И страшенный огонь создаёт этот невыносимый жар, а вырывается он как раз из этих ракетных сопел. Она запомнила, но ещё не раз потом просила повторить рассказ, чтобы снова стало немножко страшно от того, как всё вокруг может сгореть из-за этих страшных, огнедышащих сопел.

2

К тому времени семья уже несколько лет проживала в высотке на Котельнической набережной. Они перебрались туда окончательно вскоре после того, как Павел Сергеевич и Евгения Адольфовна почти тайно, с соблюдением необходимых мер предосторожности, расписались в отдельном помещении с окнами, выходящими в пустое небо, вдали от посторонних глаз, с помощью специально приглашённой для регистрации загсовской тётки, которая и зарегистрировала этот нетипично оформленный брак. При этом по обезличенной, как водится, подсказке сверху за молодой женой осталась добрачная фамилия – Цинк. Ну а сам, как тому и надлежало быть, остался собой – Царёв П. С., да и то, как обычно, – исключительно для допущенных и посвящённых. И всё ради того, чтобы не нарушить даже малую часть гостайны, свято охраняемой властью и строжайше запрещённой к каждодневному использованию из соображений высшей безопасности. Государево око, пасмурным облаком нависавшее над Аврориным отцом большую часть его неровно устроенной и надрывно прожитой жизни, даже в этом, казалось, благом и хорошем деле не дозволяло любой, самой невинной вольницы. Как правило, исключениям места не находилось. Впрочем, этим же недремлющим органом не благословлялись и другие пустые вольности, включая даже неопасные, такие, как регистрация законного брака при свидетелях, отобранных самими молодожёнами. В особенности такая суровая в своей неуступчивости установка касалась граждан, выделенных в отдельную категорию, чья жизнь и чей труд принадлежали не им, но стране, – тем, кто круглосуточно был ведом и подконтролен, чьи желания и надежды обусловливались границами единственно возможного лекала и от которых более, чем от кого-либо в государстве, зависел бесперебойный и победительный ход адской машины, именуемой «Превосходство социалистической системы над мировым капитализмом». Страна в очередной раз набирала грозные обороты, ей всё чаще и звонче требовалось бряцать доспехами, и не только исключительно научного свойства, но и прочими, убедительными по самой своей сути. И для этого требовались те, кто должен служить верно, надёжно, и с неизменно победным результатом.

Кстати, «баба» в тот год едва-едва подкатила к своим сорока пяти, но маленькой Аврошке казалось, что домработница, она же няня, постоянно проживающая в семье, хоть и не родственна им, но зато и есть самая настоящая и, в сравнении с мамой, уже

пожилая бабушка, не хуже тех неподдельных, имевшихся в каждодневном пользовании у всех её подружек по их непростому высотному дому. Да и выбирать особенно не приходилось, другой не было никакой, как её себе ни придумывай и как ни мечтай о других тёплых ладошках, которые, наверное, когда-то очень давно гладили по утрам мамину голову или сморкали папин детский нос.

Был ещё, правда, дедушка – настоящий, кровный, живой, хотя почему-то недостижимый. Его Авроре не показывали, про него мама вообще едва упоминала, а чаще просто отмахивалась, когда речь так или иначе заходила о родне. Аврошка знала только, что зовут его Адольф Иванович и что он почти такой же немец, как те, с которыми они, советские люди, воевали, но только он другой, свой, не фашистский. А живёт в Казахстане, в городе Караганда, это по масштабам необъятной родины не так далеко от Сибири, в которую его предков занесло ещё в далёком 18-м веке. Первым в семье, кто выбрался из тех степных мест, стала мама, дочка её загадочного дедушки Адольфа Цинка. А ещё Аврошка знала, что отношения со своим казахстанским немецким папой у мамочки нехорошие, неродные. Дедушка не хотел, чтобы Павел Сергеевич, хоть и большой начальник, стал маминым мужем, потому что говорил, что он очень старый для мамы и что, скорей всего, этот человек из опытных, хитроумных и высокопоставленных чекистов. Это ей так по секрету шепнула баба Настя, когда Аврошка окончательно замучила её своими вопросами. При этом баба бормотала довольно сбивчиво, прерываясь и часто оглядываясь на дверь; попутно негромко возмущалась, честно при этом стараясь не выдать того, о чём маленькой знать не положено вовсе. Это уже потом, через годы, Аврора Цинк сообразила, насчёт чего так неумело гневалась баба Настя, будучи в курсе истинного положения дел.

– Чудноватый он, дедуля твой, – сказала она как-то девочке, – больно уж подозрительный, запуганный какой-то. И сильно гневливый, не простительный. А ещё про картины рассуждал всякие, понимаешь, то ли сам художник был, как ты, то ль про художников разных собирал чего-то…

Дедушку этого с не очень русским именем Аврора не знала, но продолжала любить, как любят дорогие тайные игрушки, которые когда-нибудь ей обязательно купят, потому что обещаны уже давным-давно, а время, отведённое на ожидание, ещё не истекло. И потому следовало терпеть и не забывать, что всё ещё впереди. Просто папу она любила так, как любят всех пап, а дедушку – тайно, чувствуя, что лучше лишний раз про эту свою любовь никому не рассказывать.

Имя дочке, единственному своему позднему ребёнку, придумал отец – то самое, которое она носила и каким ужасно гордилась. Аврора – утренняя заря; именно на заре папа отправлял в невесомость всех своих небесных космических посланников. Так рассказывала мама, это же самое, но просто другими словами подтверждала и баба Настя – она знает, она папочке в помощь ещё задолго до мамы была. Ведь как только Павел Сергеевич убыл на отдалённые от центра казахстанские земли, в 50-х, жить и работать на более-менее постоянной основе, ближе к космодрому и дорогим его неугомонному сердцу ракетам, ему тут же всё обеспечили, всё-всё, включая каждодневную обслугу и бытовую заботу.

3

Она и подвернулась тогда, женщина эта, простая и бесхитростная, работящая, успевающая везде, и по дому обеспечить, и весь остальной пригляд. Без детей и мужа была, потому что сказали ей, что рожать не будет никогда, так уж сложилось у неё в организме, хотя ещё и не старая была в тот год, а вполне себе бабёнка на вкус, на глаз и цвет.

Жила там же, неподалёку, при разъезде Тюра-Там железной дороги Москва – Ташкент, от самого рождения, матери помогала поезда флажком пропускать. Оттуда и явилась, когда стройку эту начали, громадину; всё там разом, считай, возводили, но начинали с землянок. Чуть позже – посёлок, сразу после – город, Владиленинск. Там же – космодром, но не совсем, ещё ехать надо. А потом дуриком, можно сказать, в услужение к Главному попала, по безголовому случаю лишив себя земляных и бетонных работ в силу самой простой, не придуманной никем оказии.

Он ехал, а она шла. Ветрила был такой, что сносил напрочь с этого непрямого и ухабистого пути, что от магазина до станции. В уши к тому же намело всякого, от пылищи до оглоушивающего мозги ветряного свиста. Поэтому ни глазом, ни ухом не сумела засечь его гладкую чёрную машину, как они ей ни гудели. Машина попыталась её обогнать, да не обогнула как надо, боком лаковым неосторожно зацепила и сходу в степной размыв откинула, что при той дурной дороге вместо кювета тянулся. Она и упала лицом вниз, в рост, со шлепком. И заревела – от обиды, не от боли, потому что было не больно, на мягкое пришлось после затяжного дождя. Он выскочил, сам, прошёл через грязь, резко, упруго, прямо в ботиночках на шнурках, тоненьких, не по погоде. Сначала руку протянул, потом передумал, просто обхватил, приподнял, головой сокрушённо покачал, платок сунул, крахмальный, свеженький. Сказал:

– Как же так, милая?

Она утёрлась и отодвинулась подальше, чтобы не били. Ответила:

– А вот так, товарищ, я шла, а вы не объехали. Вот и вляпалась. – И платочек протягивает обратно, но уже понимает, что пронесло, не будет плохого последствия. Он платок взял и утёр им – то, что сама у себя с лица не стёрла. Спросил:

– Откуда сама-то? Где трудишься?

После этого вопроса Настя окончательно вернулась в себя, отряхнулась как сумела и заметно повеселела.

– РСУ пятое, бетонщица-опалубщица. И монолит тоже льём,

вы что, не в курсе? – Не дождавшись ответа, уточнила, – в общем, строим, чтоб летать. – И задрала голову в темнеющее мокрое небо, пытаясь разглядеть в нём адрес доставки корабля носителем. – Туда!

– А прибираться умеешь? – спрашивает тот, который из машины, и кивает водителю, чтобы сзади подстелил чего-нибудь. – И поесть сможешь сообразить, если продукты в наличии? С семьёй здесь?

– Конечно, смогу. С полным удовольствием, – отвечает. – А вам кому всё это надо? – и уже вполне по-свойски, но всё ещё с робостью в глазах интересуется: – А сами вы кто будете, из начальства или мимо ехали?

– Мне и надо, – отвечает мужчина в пальто, – мимо ехал. Сейчас поедем ко мне на квартиру, там отмоешься, а потом поглядим, что у нас получится. – И посмотрел в глаза. – Договорились, милая?

– Без семьи, – мотнула головой Настасья, разом вложив в свой короткий кивок ответы на все три вопроса этого представительного человека приятной, но заметно пожилой наружности.

Павел Сергеевич, ухайдаканный бессонной ночью на пусковой, затем этой ненавистной трясучкой по бездорожью, на самом деле ехал в это время домой, в свою здешнюю поселковую квартиру в специально построенном и охраняемом доме, персонально спланированную под его житейские нужды. По размеру жильё было не меньше московского, полученного в недавно возведённой высотке на Котельниках. Дали ему те шикарные метры, чтобы окончательно и надёжно заручиться лояльностью талантливого ракетостроителя. Это уже в 57-м имело место, когда все обвинения были полностью сняты, но подозрительность в отношении бывшего гулаговца всё ещё оставалась в негласной силе. В здешней же квартире, во Владиленинске, обитал он, используя меньшую её часть, махнув рукой на обживание остальной площади: не до радостей жизни было, сил едва хватало, чтобы доползти до кровати и ещё, может быть, пораскинуть в тишине мозгами, если не получится сразу провалиться в сон часов на пять-шесть.

Настасья всё делала именно так, как он придумал ещё давно, когда окончательно понял, что так и жить ему без семьи и завёл для себя некий условный порядок быта. Она же в чём-то даже превысила его надежды на домработницкую опеку. В тот день эта женщина-бетонщица быстренько почистила свою одежду и, чуя, что именно в эти минуты жизнь её меняется самым наилучшим из всех возможных вариантов образом, ловко принялась за

домашние дела. Попутно проверила, чего там в холодильнике, и удовлетворённо шмыгнула носом.

Царёв отпустил сопровождающего и прилёг: сил после очередной неудачи с испытанием этой чёртовой МБР Р-7 почти не оставалось, злость не отпускала, голова отказывалась слушаться. Тот, который водитель, поначалу сделал попытку в мягкой форме не подчиниться Главному: просто невозможно, чтобы случайный человек, никак ещё не проверенный, оказался вдруг настолько близко к охраняемому объекту, да к тому же остался с ним один на один.

– Слушай, пошёл в жопу, – устало бросил охраннику Павел Сергеевич, – нет уже никаких сил орать на тебя, просто исчезни, и всё. И пиши чего хочешь, мне до этих ваших игр в шпионов дела нет.

Она осталась тем же днём, уже насовсем. Царёв сказал кому-то нужные слова, её тут же «пробили» на все дела, с пристрастием, убедились в стерильности помыслов и незатейливости жизни и быстренько оформили на двойную ставку, то ли уборщицей, то ли оставили числиться в бетонщицах, но уже при самой пусковой площадке.

Порой Павел Сергеевич ловил себя на мысли, что не может сформулировать для себя свои же примитивные желания, которые никак и никогда, даже самым малым краем, не пересекались бы с главными целями жизни. Всё в этом смысле бралось откуда-то и делалось само по себе: носки обнаруживались уже постиранными и аккуратно складированными в одном и том же ящике комода. Кто-то незримо и угодливо в его отсутствие, будто механический робот, исполнял не его, а, казалось, чью-то постороннюю и властную волю, не оставляя ни малейшего повода для любого недовольства или проявления собственной инициативы.

Он отвёл ей часть квартиры, так что при желании можно было существовать почти не пересекаясь. Теперь у неё была собственная спальня, кусочек тупикового коридора, личная ванная комната и маленький, но тоже совершенно отдельный от хозяйских маршрутов туалетик, отделанный белым кафелем до самого потолка. Это был полный человеческий караул, а точнее, абсолютный срам всей её предыдущей жизни. Вероятно, именно такое осознание себя внутри другой, царской жизни, через какое-то время привело Настасью к тому, что она попыталась сделать, добившись искомого со второй попытки.

Сама того не желая, Настасья возникла на его пути в довольно удачный для обоих момент. Да и то понятно – каждая встреча такого рода для любой незамужней бетонщицы, нетравматично поскользнувшейся в степной грязи, была бы по

понятным основаниям счастливой вне зависимости от результата. Ему же, раздосадованному в тот день итогами последних испытаний, просто хотелось, чтобы перед глазами его, наконец, уже помелькал кто-то живой, с кем мог бы он поделиться дурным настроением, на кого бы мог обрушить накопившуюся усталость и немного погневаться, кто хлопал бы перед ним глазами, желая угодить любой слабости и при этом мало чего понимал бы из его обрывочных слов, если уж он на них решится. Просто, не признаваясь в этом самому себе, он хотел, чтобы его иногда пожалели по-простому, без обмана; причём не те, кто неслышно и невидно приходит и покидает в его отсутствие это неуютное, малообжитое жильё, а кто-то ещё, от кого будет пахнуть тёплым, чистым и уютным, кто будет угадывать всякое его движение, не раздражаясь и не раздражая его самого. И главное, чтобы такое существо, даже по картинке не могло надёжно отличить межконтинентальную баллистическую ракету от спутника матери-земли или же открытый космос от заурядного самолётного неба.

Настасья получалась именно такой, он это увидел сразу, как только та поднялась из лужи, отревелась и заключительно коротко ойкнула, подтянув под себя слегка ушибленную ногу. Он и потом, через годы их совместного существования в одном пространстве, не разочаровался в том своём странном поступке, в этой нехарактерной ему вольности, которую он разрешил себе, введя в свой дом совершенно чужого человека. Наверное, он искал в ней мать, в этой довольно приятной на вид девушке-женщине-тётеньке. Он всегда искал мать, которой не имел, по сути, никогда, так уж у него в жизни получилось.

Когда она переоделась, отмылась и предстала перед ним в новом облике, он сразу догадался, что существенно переоценил потребность в материнской опеке. Даже хотел поначалу отыграть всё назад, пока ещё не настал тот момент, после которого осуществить подобное было бы уже неприлично и совестно, коли сам же и вовлёк милую одинокую бетонщицу в эту сомнительную историю. Он вдруг поймал себя на мысли, что, хоть жёсток и неуступчив в главных делах, но не против иногда побыть в шкуре безропотного телёнка, легко пасующего перед надобностью решить житейское вот так вот, по-дурацки.

4

Настасья на удивление быстро вникла в суть предписанных ей обязанностей и даже немного расширила круг своих женских забот. Павел Сергеевич пришёлся ей по душе в тот момент, когда протянул руку в сторону её лужи и раскрыл по-мужицки широкую ладонь, ожидая, пока Настасья за неё уцепится. И ещё когда подал чистенький платочек, утереться. Никогда никто не подавал ей платка, – да и не было сроду таких твёрдо накрахмаленных платков у тех, кто в её предыдущей жизни считался мужиком.

В общем, уже на следующий день, как поселилась, заслышав, как подъезжает машина, она встала у двери с тапками наготове и чистой сухой тряпкой, чтобы сразу же, как войдёт, обтереть его лаковые туфли на шнурках. И надела лучшее из того, что имела в запасе, что ещё утром перевезла по новому адресу. Плюс ко всему, на кухне всё тёплым держала, чтобы только догреть по-скорому и сразу подать, если пожелает. И лучше молча, чтобы не напрашиваться на пустой для него разговор: захочет – сам заговорит, а она ответит.

Он остался доволен, хотя виду не подал, просто покивал, но всё от неё принял: поел, что наготовила, и одёжу эту оценил – она поняла по тому, как коротко, но внимательно окинул её взглядом снизу доверху. Спросила ближе к ночи, когда у себя в кабинете находился, бумаги глядел. Стукнула едва слышно два раза:

– Хотите чего, Павел Сергеич, или мне спать? – Это и была её самая первая попытка, осторожная проба хозяина на мужскую твердокаменность. Ей отчего-то уже тогда захотелось вдруг стать настоящей крепостной девкой, нужным довеском в его большой и красивой жизни, которой он жил где-то там, на стороне, и от которой ужасно уставал. Он – добрый барин, вольный в своих желаниях и трудах, она – преданная исполнительница любого его вздоха или намёка, добросовестная и согласная на любое пожелание.

– Нет, милая, спасибо, спи, конечно, ничего не надо, – ответил он, не обернувшись на её стук.

– Подавать утром когда? Или встанете – скажете? – закинула она ещё один вопрос, тайно надеясь на чудо.

– Скажу, – подтвердил Царёв, – иди, Настасья, не беспокойся.

Она пришла к себе, легла и стала думать, что так ведь не бывает, чтобы не старый ещё мужчина, добрый, вежливый, одинокий и начальник, даже не подумал про такое, что под боком у него имеется круглосуточная женская ласка, готовая к любым его приказам, и даже видом своим и голосом не показал, что ему

такое может понадобиться. Настасья, когда соглашалась на работу с проживанием, уже была почти уверена, что берут не просто так, а с видами как на женщину, чего уж там модничать да притворяться, разве не ясно с самого начала, если один живёт?

Утром проводила, улыбнулась на прощанье – и самому, и сопроводителю его – и занялась по дому, ждать вечера. И дождалась, всего сразу. Приехал весёлый, добрый, крепкий, хотя и поздней обещанного, и пахло от него приятно свежим одеколоном, уже не утрешним. Хорошо покушал, с вином даже чуть-чуть – что-то там у них в тот день срослось, вышло, как задумывали, и этим, скорей всего, объяснялось его бодрое настроение. Потом долго по телефону говорил с кем-то, пару раз голосом пошумел выше нормы, но к концу посмеялись они даже, помирились, видать.

Потом сразу спать отправился. И тогда она решилась. Даже немножечко помолилась, как умела и как про это чувствовала, прежде чем надеть красивую ночную рубашку тонкой выработки и с коротким подолом.

Перед тем как пойти, посмотрелась в зеркало: и по примете, и для проверки себя самой. Показалось, что вполне себе ничего, и даже чуток побольше. Ноги не кривые, а, может, и наоборот, груди объёмные, но не нависают некрасиво над животом никакой своей малой частью: и держатся, и смотрятся достойно своих лет. Сам живот – есть, но без излишней выпуклости, умеренно-приятный и с гладким шелковистым покрытием. Оставались зад и лицо. Про лицо думать даже не стала, оно было такое, какое было, всегда напоказ и лучше его уже не сделать, тем более что не раз видено. А вот то, чем одарила природа сзади, расположенное сразу под спиной, вызывало у Насти двойственное чувство. Иногда ей казалось, что сила женской притягательности во многом заключается в этих двух равно слепленных полушариях, и, что касалось её, Настиных, ягодичных выпуклостей, то были они, на её взгляд, не самые дурные из всех, что ей довелось видеть, когда ходила в баню. Но была и другая сторона вопроса, едва ли терпимая для Настасьи. Совершенно не могла она себе представить того, как Павел Сергеевич положит свои умные благородные ладони на её зад и сожмёт ягодицы своими крепкими по-мужски руками. Это было за гранью возможного, потому что такие женщины, как она, рождены землёй не для таких мужчин, как он, и по этой причине страх её произрастал из неоспоримого факта, что Павел Сергеевич просто не может о таком не знать.

Её трясло снаружи и слегка лихорадило изнутри, когда через полчаса после того, как он пожелал ей спокойной ночи, она

осторожно, в одной лишь почти насквозь прозрачной ночнушке вошла к нему в спальню. Она так и не поняла, успел он к этому времени заснуть или всё ещё размышлял, прикрыв глаза, о своём так хорошо удавшемся сегодня небесном деле. Настасья присела на край его кровати и поправила рубашку, одёрнув подол. И положила руки на колени. Было темно, слабого света от уличного фонаря, вползающего в щель между двумя задёрнутыми казёнными занавесками, было достаточно, чтобы видеть хозяина, лежащего на спине и закинувшего руки за голову, но не хватало, чтобы понять, спит он или просто тайно наблюдает за ней сквозь неплотно сжатые веки. Храбрость её, которую она принудительно взращивала в себе почти трое суток, испарилась в один короткий миг, и навалившийся страх перед тем, что сама же учудила, обуял Настю уже по-настоящему, со всеми зримыми последствиями.

Ничего такого, однако, не понадобилось. Он всё сделал сам. Неожиданно открыв глаза, протянул руку, взял её за локоть, притянул к себе. Сказал:

– Не изводи себя, милая, просто, если хочешь, ляг рядом и погрей меня. – И приподнял край одеяла. Она, словно сомнамбула, подчинилась. Легла и замерла, всё в той же неутихающей трясучке. Потом подчинилась и дальше, ей оставалось лишь заставить себя не кричать от того, что испытывала, находясь в хозяйской постели. Он брал её сильно, по-мужицки, но и с непривычной ей нежностью, не ограничивая себя лишь собственным удовольствием, но и предугадывая её встречные желания, о которых, впрочем, мог лишь догадываться. Ей было хорошо, даже слишком, она задыхалась от самой мысли, что они, такие разные, как не бывает, сейчас вместе, и что он берёт её как свою женщину, живущую бок о бок с ним, в одном и том же комфортабельном жилье, какого она отродясь не видала.

Однако в тот, первый их раз, она так и не смогла расслабить тело до конца: робость, стыд, страх оказались сильней её ответного влечения.

Потом, когда всё между ними закончилось, она, не дожидаясь никаких слов, выскользнула из его постели, всё ещё нагая, и подхватила скинутую ночнушку. Павел Сергеевич был совершенно спокоен, она чувствовала и даже видела это, несмотря на непроглядную темь за окном: фонарь уже не горел, а заменивший его бледный месяц позволял лишь кое-как нащупать ручку двери, ведшей в коридор.

Утром, уезжая из дому, он сказал ей, уже в дверях, успев, правда, погладить по голове:

– Веди себя как обычно, Настюш, а то запутаешься. – Улыбнулся и добавил: – Понадобится – сам скажу, что и как,

ладно?

– Ладно… – едва слышно выдавила она, не зная, куда спрятать от стыда глаза, – скажете, Павел Сергеич, я поняла…

5

Начиная с того дня, жизнь в доме устоялась и наладилась, приняв за самый короткий срок вполне размеренные обороты и сделавшись к концу первого месяца обитания Настасьи в квартире Главного конструктора уже, по существу, привычной. Самого же Павла Сергеевича случившееся той ночью маленькое приключение с прислугой даже сумело несколько отвлечь от мыслей, которыми неизменно была забита его безразмерная голова, и потому Царёв принял это с лёгкостью и даже с немного благодушной внутренней улыбкой. В тот же день, добираясь на службу, он ещё в машине подумал, что получившийся расклад ещё и довольно удобен, с какой стороны ни посмотри. Настя эта вполне себе миленькая гусынька, с хорошим крепким телом, хотя по всему видно, что в мужском отношении не балованная и, скорей всего, совершенно не представляющая себе истинную цену женщины. Это и хорошо, и не очень. Хорошо – по понятным причинам: всегда под рукой, верней сказать… под его… мужской прихотью, что само по себе польстило бы любому, если бы только не определённые в его конкретном случае обстоятельства, резко понижающие самооценку. А плохо… что ж тут говорить… Плохо – потому что не слишком честно по отношению к ней самой, этой бетонщице – на час или как там у них получится. Но то, что ей с ним было хорошо, как ему показалось и в тот момент, и наутро, и то, что она в любом случае уже никогда не сможет этого забыть, тоже факт.

Тут он не ошибался: и лагерный, и весь остальной опыт долгой и слишком непростой жизни заставлял сразу смотреть в корень. Одного не хотелось ему: того самого, к чему он так и не привык – становиться хозяином чьей-либо жизни, любой, пускай даже изначально самой посторонней и легко заменимой. Именно такое чувство он испытал в своё время по отношению к Кире, вдове Павла Ца́рева, коллеге и собрату по владимирской шарашке, тождественной КБ тюремного типа. В отношении же Настасьи он так для себя и решил – принимать, но не сближаться: при этом никаких ощутимых послаблений домашнего режима. Впрочем, иногда не возбраняется одарить милостивой улыбкой или похвалой, особенно если заслужит. Так им обоим будет удобней, и так дела домашние не превратятся в любые прочие, отвлекающие от главного, в сравнении с которым всё остальное не имеет ровным счётом никакого значения.

До встречи Павла Сергеевича со своей будущей женой Евгенией Адольфовной, возникшей в его жизни, когда он уже и не

помышлял ни о каком браке, оставалось десять лет. Все основные достижения Царёва, всё самое великое пришлось как раз на эти годы – так уж само вышло, что без своей на то воли домработница Настасья сделалась свидетелем и даже в какой-то мере участником создания того, чем гордится человечество и сегодня. Вплоть до самой кончины хозяина не знала она и не могла знать о том, какая роль принадлежала её Павлу Сергеевичу в запуске в космические дали всех этих знаменитых храбрецов, начиная с самого Первого и заканчивая тем, который выбрался из пилотируемого корабля в страшную занебесную пустоту и полную безжизненную невесомость.

Он же то жил тут, при ней, при космическом полигоне и КБ, то улетал в Москву и, бывало, просиживал там неделями, утрясая дела с начальниками, выше которых, как подозревала Настасья, были только те, которые уже натурально прописаны на небе. Она не знала и не хотела в эту сторону даже голову напрягать, кто у него там есть, в столице этой, на Большой земле, под чьим приглядом он там живёт, сидя в свой высотке, какую показал ей однажды на фотографии. За прожитые годы Настя не покидала пределов родного Казахстана и потому всякий раз внимательно слушала рассказы людей про другие земли и места, не перебивая, но и не всему веря. Однако понимала: есть где-то жизнь, до какой ей по любому не дотянуться, но зато теперь и нужды такой нет, если уж на то пошло, потому что у неё есть *он*, хозяин её жизни и судьбы, и такого, как её Павел Сергеич, нет больше нигде на земле.

Теперь она, как никто другой, знала все его домашние привычки, была в курсе его предпочтений: чего любит покушать утром, и как лучше подать, чтоб не нарваться, особенно когда он вдруг обращает лицо в задумчивость и глаза его смотрят, и, кажется, уже не видят ничего из-под широких своих бровей. Она чувствовала его настроение, безошибочно угадывая, в какой момент Царёв сорвётся и наорёт на неё, и только из-за того, что нет в эту минуту под рукой у него другого такого удобного, как она, живого предмета для выплеска накопившейся усталости или злости на самого себя. Он просил, чтобы на трусах его не было стрелок, он это ненавидел, но толком не мог объяснить, почему. Не любил, когда ботинки его оказывались под излишне сильным гуталином, недовольно морщился и зажимал нос, давая понять, что снова переборщила, не пожалела, переуслужничала. Ненавидел, когда в зубной порошок по его же неосторожности попадала вода, и порошок превращался в окостеневшую лепёшку, на которую противно смотреть. Для такого неприятного случая она держала про запас пятнадцать круглых коробок, храня их в

надёжно сухом и близко устроенном месте, чтобы сразу же подать, если крикнет из ванной. Бриться любил чисто, не оставляя на себе ни одной случайной волосинки, и с одеколоном, любым, с ароматами особенно не привередничал. И ещё. Тапки носил одни и те же, годами, – просил, если сносит, найти такие же точь в точь, к каким привыкли его ноги и в которых ему думается вольготней и лучше, чем в любой другой обувке. Настасья также хорошо усвоила, что еда не должна быть горячей, особенно суп, без которого он не любил вечерять, потому что такой суп обжигает ему рот и всё остальное внутри и вкус не проходит целиком, а ополовинивается, а это неправильно.

У него не было ни выходных, ни часто даже праздничных дней, он так и не научился видеть и чувствовать неделю от первого её дня до последнего. Он даже не всегда мог точно сказать, какой сегодня день, но зато неизменно помнил, какое число, у него там всё было завязано на сроках: эксперименты разные, пуски-выпуски, сдачи-раздачи, отъезды-приезды, доклады-расклады.

Психовал – тоже дело не из редких, бывало и такое. У неё под рукой всегда были пилюльки разные, таблетки утоляющие. Появлялся иногда доктор, приезжий, не ихний, когда хозяина не было. Объяснял, что и когда не забыть поднести, с водичкой, чтобы лишний раз Павлу Сергеевичу избежать его больного сердца. Она себе тщательно записывала на бумажке, под диктовку, и строго помнила потом про всё по часам. Сам же он чаще отмахивался, то злясь на неё, то смеясь, а то и молча глотая поднесённое и никак не отзываясь после. В такие дни она знала, что сейчас его лучше не трогать, обождать, уйти к себе и не высовываться наружу, чтобы, не дай бог, не пересечься глазами – сожжёт, испепелит гневом, – на работе у них снова обломалось чего-то.

А нередко возвращался из Москвы довольный. Светился. Говорил, дали нам добро, Настасьюшка моя, прониклись наконец-то, кретины, два года вдалбливал им, вдалбливал… Проснулись, черти такие, прозрели, олухи царя небесного, ассигнуют теперь нам с тобой средства, к Луне, к Луне отправимся… Она искренне радовалась, улыбалась, делала ему лицом так и сяк, выражая верноподданические чувства, не вдаваясь и не вдумываясь, а он уже глазами успевал ей привычно сделать и галстук принимался распускать у себя на шее. Она и сама уже шла бойким ходом, знала, куда и для чего, и он заходил следом, уже откинув к тому времени любые стеснения и недомолвки, и брал её, сильно, как обычно, не сбросив ещё возбуждения от предстоящих ему вскорости очередных великих дел.

Такое было, как ей помнилось, в первый месяц, как приступила к жизни и труду на его площади, в 57-м. Причину того узнала уже через время, через длинное, сам же ей и сообщил в порыве неожиданного припадка доброго настроения. Сначала приголубил, насытился, после чего отдельно поласкал её, на сюрприз, там и тут – она терпела, не зная, куда прятать глаза, хотя было ей это ужас как приятно, волновали такие его причуды своей необычностью, но стыдно всё равно оставалось до смерти: больно было непривычным для неё такое, да и он сам редко так с ней чудил, больше просто делал всё так, будто просто кушал, хорошо, скоро и по-деловому, выдержав перед этим аппетит насколько хватило, и отчаливал к себе думать дальше про своё очередное. А тут он улыбнулся, хорошо, без всякого, и сказал:

– Мы с тобой живые люди, Настён, запомни. И не надо дёргаться и пустое себе сочинять, просто будь естественной всегда. Так проще жить, поверь, и честней. И не только в этом деле. – Поднялся, стал одеваться, бросил через плечо, – Кефиру мне принеси. – И снова, словно ничего и не было, ушёл полной головой в свои дела, как и не приходил. Но зато узнала, что сняли судимость, окончательно. Она, услышав, обомлела просто, руки-ноги поначалу отнялись.

– За что ж с вами такое сделали, – спросила его, – когда ж оно было это самое?

Он в ответ лишь махнул рукой, сказал что-то вроде:

– Спасибо, что вообще не хлопнули, а могли бы и без некролога, в укороченном варианте.

– А их посадили хотя бы? – пребывая в ужасе от этих его слов, поинтересовалась тогда же Настасья, – разбойников тех, кто вас хлопнуть хотел?

Он, запомнилось ей, в ответ расхохотался и смеялся долго, с какой-то отчаянностью в этом своём смехе. Потом сказал:

– Их, милая, само время посадит, только будет это не скоро: боюсь, не доживут они до такого, да и сам не доживу.

И всё, больше про это никогда и ничего, хотя и надеялась она, что снова припомнится ему что-то от прошлых лет.

И ещё похоже этому другой раз случилось у них, через год, в 58-м, почти одинаково с прежним разом, и опять включая то самое, что заставило после переживать и долго стыдиться самою себя за то, что не решилась сдержаться ответно, наверно, чтобы сам он потом не думал о ней хуже, чем есть. Хотя бы для виду стоило сжаться и робость показать. Его тогда академиком сделали, и он уже не скрывал, что заметил перемены какие-то, всеобщего характера: но только Сталина поносил ещё до того, пока все остальные и сами стали это делать, забыв про эту его

великость и что отец был советскому народу. Говорил постоянно, кого-то имея в виду своего, по работе, почти что орал:

– Гулага на вас нет, идиоты! – и тут же, правда, успокаивался, отмякал, отпускало его, и сам же, держась за сердце, просил пилюлю раньше нужного времени.

А в 59-м чуть не довёл до больного вопля, так терзал её всю, с таким напором, что только держись, гвардейские! Это когда Луну с той стороны сфотографировал, с задней, через спутник его какой-то, она не поняла. Но порадовалась вместе с ним, что всё получилось, как он хотел. А про себя подумала: и стоило мучиться, чтоб картинку эту заиметь? Без неё жили, и ничего, не умирали, а с ней – вон как, даже ходить потом неуклюже пришлось до самого вечера.

Но наибольшая радость была у него, когда он приехал ночью того дня, самого для него великого, как после же и сказал, и – нет, не орал и не бесился от счастья, и не указал глазами на спальню – просто изрёк, что, мол, всё, милая, есть у нас теперь Первый и сами мы первые, и навсегда такими в истории останемся. А сам светился, это она хорошо про него научилась понимать, когда – такое, а когда – совсем другое. И сильно измучен был ещё, выжат в лимон, снова сердце придерживал ладошкой и сам же спросил про пилюлю. Но потом всё-таки сказал, иди сюда, Настёна, давай, оставайся рядом, побудь со мной, поговори, расскажи что-нибудь, всё равно чего, я послушаю, мне так и так не заснуть сегодня.

А после и сама услыхала, когда по радио прогремели на весь свет, что полетел и вернулся, живой и здоровый. Но вот только, где он, этот космос, до какого наконец уже живьём добрались, всё равно было непонятно: высоко ль, низко ли, пустое там всё уже окончательно и чёрное, и птицы туда не достают никакие, или можно, если вглядеться, увидеть его снизу через трубу, или без неё, так же, как видно дымный путь от крохотного самолётика или звёзды по ночам. А есть ещё и стратосфера какая-то, тоже, бывало, поминал её, но вот только ниже она космоса этого или как-то ещё, Настасья не знала. А выспросить никак не складывалось. А наутро, чуть свет, улетел в Москву докладывать, видно, кому надо, про что положено – самолёт был у него свой, прикреплённый, она это тоже знала: только для него и для соратников его по большим делам.

Одно её удивляло немало – то, о чём, даже саму себя иной раз стесняясь, осторожничала поразмышлять. Все эти памятные десять лет, вплоть до той поры, когда её Павел Сергеевич сочетался законным браком с Евгенией своей, он так или иначе, когда пореже, а когда и на удивление частя, если подпадало под

настрой, никогда не брезговал ею, домработницей с проживанием, уборкой и готовкой, хотя сам по себе уже изначально был большой человек, а потом на её глазах стал ещё выше. Она чувствовала такое сама, никто ей ничего не сообщал, даже Валера, его охранник-водитель. А пару-другую раз слыхала, что про Хрущёва кому-то выговаривал, Никиту Сергеича, причём строго, с вызовом в голосе. Господи, подумала, да кто ж он тогда будет, коли на самого без всякого страха так серчает и гневается, пускай даже не напрямую, а через телефон. А после ещё сколько-то время прошло, того-то скинули, кукурузника, так он похожее – и про Леонида Ильича. Она опять засекла, собственными ушами, и тоже не из лицеприятных оборотов выдавал кому-то, и снова без всякой боязни. А уж «Цэка» сюда, «Цэка» туда – это бессчётно, не успевала собирать, сколько кому и как припомнил про него, что и не так решают, и не про то думают, и не туда смотрят, сидя у себя по высоким кабинетам.

Так и прожили всё это длинное время, и, если откинуть различные случайности, не так чтоб, по большому счёту, частые, и невзгоды, обрушивающиеся на хозяина и рикошетом отдающие по ней, то было всё у них в миру и по взаимности, коли можно сказать так про него и про неё, Настасью, приживалку при Павле Сергеевиче Царёве.

6

Бабу Настю Аврошка когда слушала, когда нет, но неизменно вступала в дебаты. Та никак не могла угомониться насчёт её акварелек, внушала девочке так и сяк, прижимая руки к сердцу и глядя на неё преданными глазами, что стало б всё это ещё краше, коль мешано было б чуток погуще, посильней. И поменьше бы самой водицы, чего её жалеть, краску-то эту. И вот если б тут добавить ещё мало-мальски попонятней, а там маленько отрубить от угла, где наворочено очень уж невнятно, то, глядишь, и расцветёт, заиграет, заулыбается картиночка твоя, так что и не стыдно понести будет, куда все их на показ носят.

Цвет был её, Аврошки, слабостью. Такую интересную особенность восприятия мира через цветовую гамму девочка обнаружила в себе первой, сама, где-то в промежутке между двумя и тремя цыплячьими годами. Что это было – понимать ещё не научилась, однако цвет этот сам по себе манил, звал, призывно подмигивал ей, и она шла на него, тянулась, пыталась достать и догнать тот, какой заявлял о себе пуще прочих.

С самого начала в любимых числился фиолетовый. Особенно, если он был густой и сочный, будто наполненный некой посторонней всему остальному цветовой силой. И если выглянуть в окно или, предварительно зажмурившись, резко распахнуть глаза, то всегда можно было обнаружить синий, голубой с белым, он же небесный, или, на крайний случай, ярко-жёлтый, пронзительный, солнечный, жаркий. Фиолетовый же с первого дня был подарком. Он был редкий уже сам по себе и потому встречался нечасто, словно ловко хоронился от Аврошкиных глаз всякий раз, когда она желала его обнаружить где-то поблизости. Фиолетовой или около того была бабы Настина юбка, длиннющая, толстая и довольно неласковая на ощупь, но при этом всё же была она немножечко черней, чем ей нравилось, – это если честно, без обмана.

Натурально фиолетовой была чашка – уже окончательно и по-настоящему, а поверху у неё – окантовочка, слабо-сиреневая, посветлей самой чашки, как бы разбелённая тёплым утренним молочком, какое обычно подавали к пшённой каше. Было так красиво смотреть, что иногда хотелось лизнуть эту единственную в доме фиолетовую чашку, впитать в себя её призывный цвет, вогнать его в самую свою дальнюю серединку, а заодно изловить на ней губами блик заоконного света и укусить его за ласковый блистючий бок. Это было даже вкусней, чем укусить заварной чайник из кобальтового сервиза с золотой окаёмкой по круглой

затычке.

После него шли ещё два, оранжевый и зелёный. Но не сильно зелёный, а больше его болотистый оттенок, без крокодиловой жгучести и едкой колкости для глаз. А если понятней, то молодое сено, которое только-только начинало становиться старым, нравилось ей больше, чем трава в самой своей летней середине, когда насыщенность её колера зашкаливала всякие разумные пределы и ничего не оставалось, как только пригасить всё это белым с добавкой сероватого. А вот оранжевый не раздражал даже в первозданном варианте, оттого и прилипал к глазам сразу и долго не уходил, оставаясь в памяти и соединяясь так и сяк с другими соседними цветами, если брать по радуге.

Но всё это было уже потом, про это они много-премного говорили с дедушкой, когда тот, наконец, возник из ниоткуда. А пока её неисчислимые акварели висели в детской повсюду: она лично указывала бабе Насте место, куда той следует вколотить гвоздик под уже готовое произведение, и та неумело, но предельно старательно исполняла волю своей воспитанницы. Сама же Аврошка к каждой своей акварельке, прикусив от усердия язык, приделывала на заднюю сторону крепёж в виде нитяных петелек, сажая их на казеин. Клей надёжного послевоенного замеса в своё время обнаружился в нижнем ящике прадедова стола. Содержимое этого случайно найденного ею стеклянного пузырька, казалось, уже безнадёжно затвердело в верхней своей части под крышкой, образовав мутную непробиваемую клеевую пробку. Однако Аврошка изловчилась, потыкала в неё гвоздиком раз, другой, третий, и корка лопнула, отпала, выковырилась. Внутри же было самое оно, уже не такое жидкое, но и не непреодолимо густое. В результате самодельные петельки схватывались накрепко и держали акварели на гвоздиках просто насмерть. Среди них были – просто, были – отдельно. Эти, последние, считались ею маленькими шедеврами и по этой важной причине висели отдельно от остальных, непосредственно над столом, какие – низко, какие – повыше, и, неслучайно соединённые вместе, образовывали первую в жизни выставку акварельных работ юной художницы Авроры Царёвой. А в середине композиции неизменно пребывал папа Павел Сергеевич, умерший от остановки своего пожилого, бессчётно издёрганного сердца, когда Аврорке было три с половиной. Ему же, когда его не стало, недавно исполнилось шестьдесят четыре, и сердце его остановилось прямо на операционном столе. Они успели прожить с её матерью четыре с небольшим года: это был её первый брак, первый и, несмотря на огромную разницу в возрасте, на удивление счастливый.

7

Она не была одной из них, учёных или женщин-конструкторов, составлявших его ближний круг, внутри которого уже вряд ли оставалась хоть одна незанятая научная дама, которая в разное время, так или иначе не пыталась бы заручиться его мужским доверием. Его обожали, его боготворили, его боялись, но о нём и мечтали. Он был Бог, они же все были земные.

А она, Евгения, просто служила в одном из его КБ чертёжницей, недавней выпускницей Карагандинского Политеха, и по своей работе не имела практически ни одного шанса хотя бы единожды пересечься с ним по прямой служебной надобности: слишком уж скромен был вклад Жени Цинк в их условно общее дело. Единственным, что могло как-то связать с ним таких, как она, были редкие и довольно бессистемные забеги отца-создателя ракетной техники к конструкторам и чертёжницам, в их епархию, расположенную от его главных дел так, что требовалось еще потратить время, чтобы добраться к ним.

Иногда он злился по-настоящему, устраивал разнос, срывался с места и нёсся по филиалам, делал угрожающий проверочный круг, хотел лишний раз на месте лично проконтролировать читаемость бесконечных рабочих чертежей, их соответствие его строгим установкам, проследить собственным суровым глазом порядок и точность исполнения. Мало кому доверял, всё больше тянул сам, не хотел упустить ни одну мелочь, себе же самому не разрешал проявить даже минутную слабость или поверить на слово, когда возникали малейшие сомнения. Знал – непозволительно терять темп для неоправданной последующей доводки узла, от которого зависит плановый ход сборки. Спешил. Хорошо понимал, что не успевает с задуманным двигателем следующего поколения для своего же носителя. Возраст. Общая усталость. Сердце это чёртово, в конце концов. И всё это при отсутствии единственной женщины в жизни. Да и откуда ей было взяться? Не в сталинском же Магадане строгого режима, и не в сменившей его вскоре владимирской «шарашке», где пришлось провести шесть, считай, пропащих для дела и жизни лет. Только потом, миновав страшный промежуток, одна за другой стали осуществляться его мечты: первый в мировой практике трёх– и четырёхступенчатый двигатель, первый спутник, первый автоматический космический аппарат для полёта на Луну, первый космонавт и практически сразу вслед за ним ещё двое – экипаж.

И тут – она, та самая, не найденная прежде, возникшая из ниоткуда, просто высунувшая из-за чертёжной доски молодую светловолосую голову, чтобы лишний раз взглянуть испуганными глазами на «великого», на самого Царёва, – хотя никто из ближнего начальства и не афишировал, кто у них там кто в головной конторе и как выглядит. Да только всё равно все и так знали, что вот он и есть Главный, этот немолодой дядька с пронзительным, но заметно усталым взглядом умных бледно-серых глаз, с порывистыми движениями своего плотно сбитого корпуса, с мягким, но упругим голосом, не предполагающим возражений, – тот, от кого всё зависит, кто делает так, что всё вращается, движется и летает.

Другие из местных кабэшных жались при виде него, трепетали, старались лишний раз не выставиться, дабы не попасть под горячую руку. Увидит чего не так, глаз вперит, мысленно прогонит туда-сюда в голове своей гениальной все возможные последствия, после чего не скажет ни слова, круто развернётся и резко покинет помещение. А дальше… Дальше – всё, мало не покажется, и так бывало не раз и не два.

А она глянула и тут же напоролась на его встречный внимательный луч. И была вычислена и одарена улыбкой, хорошей, человеческой, призывной. Так ей показалось тогда, в тот счастливый день, переросший в их первую ночь уже через неделю после этого случайного пересечения глазами. И сразу перестало быть страшно, отпустило, и она расслабилась, хоть вообще-то не умела этого делать. Он подошёл, кивнул, едва заметно потянул носом, воткнулся глазами в чертёж. Хмыкнул, сунул руки в карман и развернулся к ней лицом. Ей снова захотелось провалиться сквозь землю, но она устояла, более того, постаралась сделать вид, что этот начальственный визит должного впечатления на неё не произвёл и от дел текущих особенно не оторвал. Спросила, не опуская глаз:

– Если есть вопросы, пожалуйста, спрашивайте, не стесняйтесь. Нам тут скрывать нечего, всё на бумаге, сами видите. – Затем поднесла карандаш к чертежу и провела линию, доведя её до нужного места. И вопросительно посмотрела на гостя. Свита, что сопровождала, замерла, ожидая вердикта.

– Хорошая работа, – сказал Главный, – всегда бы так… – Улыбнулся, развернулся и энергичным шагом пошёл на выход. Что при этом имелось в виду, осталось загадкой, но вдумываться не стали – главное, пронесло.

По женским меркам ей было тогда в самый раз, Женечке, Евгении Адольфовне, – двадцать три, чуть больше. Однако в известном отношении у неё не было ещё никого и никогда,

практически стерильна была в этом обидном для любой не ущербной женщины смысле. С другой стороны – тоже ведь как-никак секретчица, хотя и не такая уж большая, но всё же с допуском и личной завитушкой на грозном ватмане. И ничего, что допущена к одному лишь только узелку, да и не к самому, правду сказать, ответственному: что-то там сбрасывающее наружу избыточное давление в нужный момент, размером с детский кулачок, на двух несекретных пружинках и одном типовом клапане.

А он, великий, улыбнулся всей своей секретной личностью и одновременно глаз в неё воткнул, отдельно от всего лица, остро, пронзил, будто съел всю её целиком, заглотнул через доску кульмана, без остатка, – чертёжницу, чудом затесавшуюся в его КБ в противовес своему не слишком надёжному отчеству и не так чтобы нейтральной фамилии «Цинк».

Дальше было проще, чем могло быть. Просто велел узнать и к вечеру доложить семейное положение этой сотрудницы плюс сведения по остатку. Главное, хотел убедиться, что отсутствует сам факт непреодолимости, малопонятный для обычных смертных, но решающий персонально для него всё и вся.

Оказалось – Цинк, странная такая и немного суровая, хоть и немецких корней, но и не слишком рисковая фамилия у чертёжницы той, светленькой, что так глянулась и, кажется, запала на него с первого взгляда. Подумал ещё: раз работает, то наверняка проверили, выявили, скорей всего, вековую принадлежность к отечеству и допустили до его КБ. Остальное – за ним. Попутно чертыхнулся, понимая, что, как ни крути, а – заложник, как все они, но только в гораздо большей степени. Точно знал, даже не загружал себе голову сомнениями такого ряда – не сойдётся что, просто не позволят, сделают так, что исчезнет из поля видимости, и больше не найдёшь никогда, так что спасибо им в каком-то смысле, что непрошенную заботу проявляют, время его берегут, фильтруют жизнь через собственное поганое сито и мягко подправляют в нужную им сторону. А лучше бы не было их совсем. Глядишь, шёл бы с заметным опережением этих дурных, почти преступных в его глазах планов, которые сам же вынужден строить с учётом интересов государства. Их – не его.

Он написал ей короткое письмо, от руки: запечатал в конверт, тоже не в свой, факсимильный, а в простой, обезличенный, и попросил помощника отвезти и отдать ей в руки, без комментариев.

Он писал:

«Уважаемая Евгения Адольфовна, я знаю, что Вы меня

«увидели», то же самое могу сказать и о себе. Если я ошибаюсь, то заранее прошу Вас меня простить. Это вовсе не означает, что я самонадеян больше того, на что привык рассчитывать: просто я далеко не молод, как Вы знаете, и уже не могу разрешить себе затевать игры не слишком искренние. Вы мне понравились, причём очень, и я знаю, что Вы свободны. Не буду лукавить: пишу Вам в надежде обрести взаимность, хотя и понимаю, что шанс мой невелик, учитывая возраст и мою хорошо известную Вам занятость по работе. Она же, как Вы, наверное, догадываетесь, навсегда останется таковой.

Евгения Адольфовна, если это моё короткое письмо не вызовет у Вас отторжения, то очень надеюсь, что Вы сразу черкнёте пару строк и передадите конверт моему помощнику. Затем, если не станете возражать, я Вам позвоню. П. Царёв»

Самое удивительное, что записке этой Женечка почти не удивилась. Не то чтобы она реально ждала, что с ней произойдёт вскорости нечто подобное, или что, по крайней мере, этот невероятный сам по себе факт подтолкнёт её к переоценке собственной женской личности, но просто некая совершенно необъяснимая природой подсказка той же ночью втиснулась ей голову, вдавив её вместе с бигудями в подушку, и заставила мысленно, секунда за секундой, пересмотреть его появление на её скромных двух с половиной квадратных метрах. И ещё – возникло чувство, новое, отдельное от всего того, что было раньше. Поняла вдруг, что тоже женщина, и что достойна даже столь высокопоставленного мужского интереса, и что узелок её на двух пружинках – лишь малая и неответственная часть той большой и прекрасной жизни, в которой полноценного места ей прежде не находилось.

Она перечитала письмо трижды, тут же, у кульмана, впитывая глазами непривычные извивы его жёсткого, с обратным наклоном почерка и стараясь по возможности не показать лицом своего внезапного удивления или какого-либо переживания. Она просто вполне по-деловому кивнула, призывая вручителя обождать, и тут же принялась писать ответ, тем же самым карандашом, каким вычерчивала свой секретный узелок, думая о том, что, так, наверное, поступали господа из прошлых веков, посылая кучера с посланием к княгине, чтобы непременно «быть у них на балу в четверьг осьмнадцатого к вечеру».

Написав, протянула помощнику и нейтрально отвернулась, с усилием продемонстрировав своё якобы равнодушие к происходящему. Тот сунул письмо в карман, негромко попрощался и быстро испарился. Собственно, сам он в этой ситуации был всего лишь дежурным исполнителем хозяйского

поручения. Никто ничего не понял, помощника этого в КБ не знали, до этого дня его никто здесь не видал. У неё слегка дрожали колени, но она собралась, сумела быстро унять в себе эту дрожь и начала заново оттачивать испорченный писанием грифель. Хотелось чего-то особенного, на душе было тревожно, но тревога та не была обычной, скорее, она напоминала предстартовую дрожь перед забегом, когда знаешь, что точно победишь. Или проиграешь – смотря как оценивать. И тогда она придумала, что непременно купит сегодня в кабэшном буфете банку камчатских крабов, бутылку пузыристого сидра, два шоколадных мороженных батончика в вафлях и устроит себе пир на одного, верней, на одну, на самою себя, в предвкушении этой сладкой, в самом скором времени предстоящей ей неизвестности.

Евгения Цинк писала:

«Уважаемый Павел Сергеевич, я благодарю Вас за Ваше письмо, которое – не стану этого скрывать – пришлось мне по сердцу. Вы правильно угадали, я на самом деле обратила на Вас внимание, когда Вы появились у нас в КБ, и поэтому извиняться Вам не за что, даже наоборот, я хочу ответить Вам признательностью и сказать, что Вы, безусловно, вправе рассчитывать на мою взаимность, не думая ни о каком шансе. Этот шанс Вам просто не нужен, потому что можете считать, что уже сейчас имеете моё согласие. Правда, пока сама не знаю, на что: надеюсь, вы сообщите мне об этом при встрече. И, конечно же, звоните в любое время, я буду ждать вашего звонка. Спасибо… Евгения Цинк»

Он позвонил на другой день, после обеда. Решил, что раньше не следует, нужно дать ей какое-то время обдумать решение, чтобы почти безрассудное и довольно двусмысленное положение, в которое он ставит обоих, в итоге не завершилось конфузом с обеих же сторон. Сам он к тому дню уже не сомневался в том, что она – его, хоть и удивлялся своей легкомысленности, ни с того ни с сего затащившей его на последнем излёте мужских лет в романтическую и для самого же себя малообъяснимую историю.

8

Женщины у него были всегда, хотя жизнь никогда не складывалась гладко и стабильно, соответствуя должным правилам и удобопонятным законам. Девять лет, из которых три стали почти невыносимыми, а шесть – едва терпимыми, не минули просто так, не оставив после себя следа в смысле отношений с женщинами. В шарашке той было всякое, включая самое невозможное, от рыхлой полнотелой девицы, уборщицы условной научной лаборатории, до сильно немолодой вохровки, пользовавшейся его мужским застоем согласно своему личному плану. Он терпел. Да и куда было деваться, плоть требовала своего, иные же варианты просто не существовали. Правда, произошёл, помимо разовых убогих случек, один короткий роман, если так позволительно обозначить то, что пару-тройку раз происходило впопыхах между ним, внелагерным зэком, и женой его товарища, сделавшейся вдовой в середине срока отбывания мужа-конструктора.

Редкие свидания, что время от времени полагались его почти однофамильцу, тоже Павлу, но только Цареву, этническому болгарину, ставшему покойником, перешли на него по случайности и раздолбайству администрации. И так было, кажется, трижды – до тех пор, пока всё не вышло наружу. В какой-то момент, ещё при живом Цареве, он и она просто пересеклись взглядами и всё друг про друга поняли. Она приехала через полгода после смерти мужа, сказала, к Царёву, надеясь на чудо. Её помнили, фамилия тоже, вроде бы, сошлась, смерть же одного из шарашников, в отличие от наглядной жизни здравствующего, в памяти не отложилась. К ней, прибывшей «жене», Павла Сергеевича и завели, толком всё не проверив и предоставив по обыкновению дежурные полчаса. Чудо, какое она себе придумала, и случилось, но лишь с разницей в оценке сторонами самой ситуации: она была, наверное, тайно влюблена, по крайней мере, на что-то рассчитывала и явно симпатизировала этому сильному и умному однофамильцу покойного мужа. Уже тогда предчувствовала, что он человек уникальный, к тому же была в курсе ещё и от Царева относительно масштаба его личности. Ему же просто страшно хотелось женщину, любую, с воли, но только не вохровку, не эту подлую суку с нежеланным, но порой до зубовного скрежета необходимым ему телом.

Он вошёл, за ним прикрыли дверь и предупредительно хлопнули ставней вертухайского оконца, дав понять, что всё, как всегда, под контролем. Она поднялась, молча подошла к нему,

незнакомому, по сути, мужчине. Потом они смотрели глаза в глаза. А затем… затем она, так же молча, перекрыв ладонями смотровой проём со стороны камеры, развернулась к нему спиной и нагнулась так, чтобы ему было удобно. Голова её, упёртая в обитую железным листом дверь, оказалась на уровне пояса, она прикрыла глаза, так ей было спокойней и не так позорно. И замерла. Павел Сергеевич стоял, набычившись и неровно дыша, уже зная наперёд, зачем он шёл на это чужое свидание. Было ощущение, что сейчас он берёт нечто вовсе не такое уж стоящее, но чрезвычайно важное, потому что не своё. Он неотрывно смотрел на неё, уже не видя лица, так и не начав ощущать её как живого человека, он даже не очень точно представлял себе, насколько она страдает, и страдает ли вообще. И почему она выбрала именно его, а не полноценного мужчину с воли, коль скоро у неё с этим всё так несложно, без сомнений и сопутствующих биений сердечной мышцы.

Она ждала, молчала. Лишь в какой-то момент приняла позу чуть удобней предыдущей и едва заметно дрогнула плечами. Он всё ещё колебался. Но это забрало лишь мгновенье – он решился. Павел Сергеевич энергично расстегнул ремень и резко стянул к полу всё, что было на нём ниже пояса. Впоследствии самые уникальные решения залетали в его голову, когда память его неожиданно включалась на этом самом месте, напоминая об их первой встрече, нереальной и, как казалось ему через годы, приснившейся, словно всё происходило тогда не наяву, а стало лишь плодом гадкой и зачумлённой фантазии двух несчастных лишенцев, каждого по-своему, но в чём-то одинаковых. Именно в одну из таких глубоко личных минут он отчётливо увидел, ощутил всей поверхностью кожи, что в качестве окислителя при полётах межконтинентальных ракет следует использовать жидкий кислород и ничто другое. Да и твердотопливная РТ-2 тоже не с неба свалилась – накатило в самый неожиданный момент, его и осенило. И тоже ушло в серию.

Он не был учёным в чистом виде, не числился в ряду блестящих изобретателей, не осталось после него формулы Царёва, как не существует на свете конкретно и того, что можно потрогать руками или понятным образом изобразить на бумаге. Просто он был гений, генератор идей, провидец, первопроходец, прародитель, полководец и ещё много кем он был, а с них иной спрос…

Он одним коротким движением задрал её длинную юбку и закинул полу к ней на спину. Там оказались тёплые вязаные гольфы и больше ничего, только то, что эта женщина принесла ему отдать. Она была готова к их встрече заранее, всё уже зная и

чувствуя наперёд. Он и взял это. Брал порывисто, задыхаясь от желания, пережимая собственную гортань и одновременно пытаясь перекрыть ей ладонью рот, из которого прорывались лишь едва сдерживаемые ею глухие мычания – той, чьё имя он, кажется, так и не удосужился узнать. Он выбросил заряд, мощный и страстный, передёрнувший всё его тело от щиколоток и до корней волос на голове. И тут же продолжил вновь, уже не с тем напором, но всё ещё с какой-то злой в своей неукротимости, почти сумасшедшей и дико голодной мужицкой страстью. Ему казалось, ещё немного – и пускай рушится мир, пусть летит всё к чёртовой матери со всеми их ракетами, звездолётами, носителями бомб и прочих орудий убийства человеком человека, а это важней, это правильней и честней, даже несмотря на то, что идёт кровавая война и он, вместо того, чтобы отдавать силы родине, пребывает в спецтюрьме, где труд его смело можно делить на три или даже на семь, потому что всё равно он тут недочеловек, но зато он делает сейчас своё, быть может, самое последнее дело на этой земле…

Она снова начала стонать, и стон этот начинал переходить в уже неуправляемый хрип; тогда он сжал её грудь и ощутил, как уже на самом пределе работает её сердечный насос, едва справляясь с притоком крови, страсти и отчаяния. И снова ему пришлось прикрыть ей рот: прежнего страха не было, чувство это перешло в ощущение привычной опасности, требующей осторожности, и потому, бросив беглый взгляд на настенные часы, Царёв разом прервал объятья и отпрянул назад. Быстро заправил брюки и развернул её лицом к себе. Они поцеловались. Она едва успела оправить задранную юбку, как дверь со скрежетом распахнулась и равнодушный голос вертухая гнусаво сообщил:

– Закончили, время! Гражданка Царёва, на выход…

Они даже не успели присесть, уж не говоря о том, чтобы нормально познакомиться и толком поговорить. Правда, оба понимали, что знакомство врага народа и вдовы его друга, такого же врага, хотя и мёртвого, всё же состоялось и что встреча эта у них не последняя, если не опомнятся местные, или не случится чего с зэком Павлом Царёвым.

Их ещё было два или три, таких её приезда, и каждая очередная встреча почти в точности напоминала предыдущую, за исключением разве того, что теперь он уже знал её имя, откуда она родом, кем трудится и что там с её детьми. Возраст же так и остался за скобками этих знаний. Всё.

В тот день, когда его выпустили, уже под самый финал войны, он о ней не вспомнил. Память об этих странных и редких

соединениях в камере свиданий возникла куда позже, когда он жил в одном из подмосковных городов, заведовал отделом в СпецНИИ и одновременно отрабатывал своё назначение главным конструктором баллистических ракет дальнего действия. Сама же вдова, не в воспоминаниях его, но уже в реалиях послевоенной жизни, просто канула в неизвестность, оставив после себя, как наиболее сильную и памятную часть, лишь сладковатый запах неизвестных ему духов и светлые, волнами рассыпающиеся по её плечам волосы. Всякий раз перед тем, как развернуться к нему спиной, она выдёргивала из волос тайную заколку, как бы отпуская их на волю. Пожалуй, это было тем единственным, что при отсутствии любой другой возможности понравиться мужчине в уродских условиях она могла себе позволить, демонстрируя таким половинчатым способом свою женскую привлекательность. И ещё задержался в памяти один незначительный кадр – висящая крупным мягким шариком тёмно-коричневая родинка сзади на шее. Он даже обратил внимание, что эта малосимпатичная родинка успела заметно вырасти в промежутке между первой и последней их встречей, и это ему отчего-то было неприятно. Ещё запомнилось, что так ни разу и не увидел её грудь, до этого не доходило, не хватало времени, и оба, не сговариваясь, опустили эту часть телесного контакта за невозможностью его физического осуществления.

Имя ей было Кира. Больше не было ничего – только Кира, тоже, скорей всего, Царева, по мужу, – без отчества, возраста и адреса скрытой от него жизни. Собственно, она ему была не нужна никогда, и оба они знали это всё то время, пока длилась их странная связь. В новой жизни не стоило ни встречаться, ни искать друг друга. Их кратковременный, не объявленный никем из них союз помог ей продержаться, сколько получилось, чтобы, обзаведясь Павлом Царёвым в качестве призрака надежды на последующую жизнь, просто не сдохнуть от тоски в тот неподъёмно тяжёлый для неё год. Павлу же Сергеевичу, несмотря на промежуточные трудности, образовавшиеся, когда их пустая тайна наконец оказалась распечатанной, эта странная женщина, как сумела, скрасила отсидочный срок, даря своими редкими наездами минуты мужского отдохновения и вынуждая его с вожделением думать о следующем разе, – без всяких иных мыслей на её счёт.

Поначалу, узнав о двойном обмане, ему собирались довесить срок, просто чтобы не подличал так ловко и не насмешничал против власти, однако этому во всех смыслах сомнительному случаю хода так и не дали, остановили в зачатке, поскольку эта несущественная малость затмилась приближающейся победой над

гитлеровской Германией. Тем более что, с одной стороны, никакого преступного замысла в этих фальшивых встречах с чужой вдовой не усматривалось, но зато вполне мог пострадать чей-нибудь погон, допустивший такой смехотворный промах по службе. С другой стороны, нужда в Царёве как в незаменимой в своём роде голове, с учётом послепобедных планов развития ракетной отрасли, росла на глазах. И это было ясно настолько, что любой иной исход его дела мог быть расценен уже как саботаж и уклонение от генеральной линии партии.

Потом были другие женщины, уже свободные для свободного. Однако теперь, даже несмотря на вынужденный пессимизм, существовала могучая доминанта, и всякий раз она одерживала верх над слабой попыткой Павла Царёва отклониться чуть в сторону от главных дел, поглощающих его целиком…

Он позвонил, как и собирался, после обеда, и они поговорили недолго, но плодотворно, и даже, как Евгении показалось, чересчур по-деловому против её ожиданий. С самого утра она уже знала, что это произойдет сегодня. Всё сразу: и этот его звонок, и их первая близость. Он поздоровался, не представляясь – понимал, что будет узнан. Для затравки разговора поинтересовался самочувствием и, как водится, настроением. При этом голосом излишне не лебезил: вероятно, просто так и не научился за жизнь быть не самим собой, но надлежащую вежливость соблюдал безукоризненно. Сказал:

– Евгения, если не возражаете, за вами приедет автомобиль, ровно в семь, вы его узнаете, он чёрного цвета и довольно большой, там будет мой водитель, он отвезёт вас ко мне домой, вы там пока располагайтесь, за вами поухаживает моя Настасья, помощница по хозяйству, а я постараюсь вырваться как можно скорей, и мы поужинаем вместе, хорошо?

– Да, – только и выдавила она из себя, – хорошо, я спущусь ровно в семь. – И не назвала его по имени, опасаясь, что услышат сотрудники: сама не понимала ещё, во что ввязывается и как далеко это всё зайдёт, но готова была ко всему, более того, уверена была и в себе, и в этом загадочном человеке, уже в настоящем, а не придуманном небожителе, вычислившем и назначившем её себе в подруги.

9

Она всегда была чуточку другой, про себя это знала, хотя и не придавала своей догадке особого значения. Быть может, оттого, что кровь немецкого розлива, омывавшая её девичьи мозги, с самого рождения отвергала изначально выбранное её предками место для постоянной жизни. Каким злым залётным ветром, в поисках каких-таких сказочных плодородий занесло из германского Гессена на восточные просторы западной Сибири деда Ивана, его отца и всех остальных неведомых ей Цинков, впоследствии безжалостно рассеянных судьбой по всей истории немецких поселений на российских просторах, начиная ещё с призывного Манифеста Екатерины Второй. Ведь это уже оттуда, не спросив согласия, её вывезли впоследствии в эти пустынные, изначально чужие ей степные и почти что дикие места.

Отец отмалчивался. Давил в себе всё больше и больше вызревающую с годами нелюбовь к этой земле, к этим проклятым Богом укладам советской жизни, извечно вынуждавшей членов его семьи умолкать при всех разговорах или упоминаниях слов «немцы», «немецкий», «германский».

Началось это сразу после Первой мировой, но тянулось и потом, в особенности после июня сорок первого, когда налетел фашист и в первые же дни положил сотни тысяч наших. Потом – ещё больше и ещё хуже, если не сказать страшней, с заметно окрепшей за годы фашисткой оккупации ненавистью к ним, ни в чём не повинным русским немцам, искренне, так же, как и все остальные, ненавидевшим всё это проклятое фашистское и злое. В какие-то моменты Женин отец тайно от семьи даже немного утешался тем, что в итоге оказались они не в центре жизни, а на её далёкой обочине, где и от ненависти народной всё же подальше, и заботы у местных людей проще, приземлённей, – в том смысле, что голодные послевоенные годы, эти бесконечные хлопоты насчёт того, как выжить и накормить, чувствительно оттягивали на себя прочие суждения недалёких и распалённых умов, не давая обрушиться со всей дурью на якобы источник народных бед. Хотя для того, чтобы жить получившимся особняком, особенно ни с кем не дружа и не ввязываясь в излишние разговоры, хватало и того отношения, что имелось. Правда, потом, по прошествии ряда лет, к ним привыкли и даже стали уважать, – тихо, меж собой, не выказывая всего положительного, какого заслуживали оба работящих Цинка, отец и сын. Но всё равно, общая картина была не в их пользу, и от этого негласного уважения сильно не изменилась, прежде всего,

для них самих.

В Караганду Цинки перебрались в начале шестидесятых, сразу после смерти уже окончательно состарившегося Ивана Карловича, единственного достойного часовых дел мастера в тех местах. До этого обитали неподалёку, если мерить перемещение остатка большой когда-то семьи в масштабах огромной страны, – в посёлке Каражакал при меднорудном месторождении, что отстоял от Большого Джезказгана километрах в двухстах, омываемый степными ветрами, перемешанными с породной пылью, и окружённый зонами отбывания преступного элемента.

Там Женя и закончила среднюю школу, – с отличием, сама же, впрочем, не признавая честно заработанную медаль, поскольку со всей своей немецкой упёртостью считала, что любая соревновательность в учёбе в тамошней школе отсутствовала напрочь; усилия же, которые она, играючи, приложила для добывания этого кружочка, напыленного золотом, были не так уж велики. Однако, в любом случае, надо было учиться дальше; к тому же умер дед Иван, сумевший, несмотря на всю чуждость этой скудной степи, как-то свыкнуться с ней и прикипеть к тем небожьим местам. Он, по сути, и поднял Женьку, опекая её неустанным родительским вниманием вплоть до самой школы, во многом подменив ей вечно пропадающего на работе отца и умершую родами мать. Он бы уже точно никуда оттуда не сдвинулся, и оба они знали про такое: и Адольф, и его дочь-выпускница.

Бросив насиженное место, оставив без пригляда единственную семейную ценность – все написанные Адольфом за годы жизни картины, отец и дочь подались в большой город, пробиваться в недавно открытый Политех. С собой в этот раз взяли лишь самое необходимое для первого обустройства, что не требовало специальных усилий по доставке. Из неудобного всё же пришлось прихватить самое важное – резной дедов столик, хотя и письменный, но почти что миниатюрный и прекрасный по исполнению. Женька сказала: давай плюнем, после как-нибудь заберём, но отец настоял – подумал, поступит дочка, так хотя бы на первое время будет, на чём разложиться. Сам разобрал на части, упаковал так и сяк, столешницу – отдельно, в картон, подмышку – и поехали они уже навсегда.

Адольф Иванович, маркшейдер без диплома и художник по призванию, освоился на новом месте быстрей, чем предполагал. На двоих им дали комнату в коммуналке на краю города и без оглядки на немецкую принадлежность и временное отсутствие прописки быстрейшим образом приняли на работу, старшим техником, в проектный институт, занимавшийся разработкой

месторождений. Там же обещали улучшить жилищные условия по мере ввода новостроек в эксплуатацию. Посочувствовали, что не могут взять на инженерную должность, всё ж таки – незаконченное высшее, но знания и опыт практической работы оценили сразу, через полчаса после первой беседы. С профессиональными кадрами было неважно, особенно в местах, примыкающих географией к районам залегания железных, медных и алюминиевых руд: война повыбила мужиков, знающих дело, новые же пока ещё не наросли в достаточном количестве, и именно эта печальная реальность сыграла на руку Адольфу Цинку.

Одним словом, получилось не так страшно, жизнь постепенно налаживалась. Евгения с первого захода поступила в Политехнический и сразу напросилась в общежитие: мотаться через весь город было не с руки. Да и толкаться, честно говоря, в перенаселённой коммуналке не было желания. Именно этими причинами объяснила отцу своё решение. Однако слегка всё же слукавила: теперь уже дело было не только в неудобстве подобного рода, имелись и другие основания, подтолкнувшие Женю к такому шагу. Она стала взрослой, и жить на девяти метрах в одном пространстве с отцом ей уже не улыбалось. Нет, она по-прежнему любила его, отдавая должное его мужской самостоятельности, она была благодарна отцу и за то единственно возможное достойное воспитание, которое он, сумевший остаться интеллигентом даже в ужасных условиях жизни, дал ей вместе с дедом её Иваном Карловичем. Но в то же время Женя чувствовала, что такая постная жизнь, и снова на выселках, не приведёт её ни к чему новому, не даст развиваться теми темпами, которые с самого детства были свойственны её неугомонной натуре; да и не очень уже, если быть до конца откровенным, представляла она себе вынужденные подробности жизни бок о бок со взрослым мужчиной, пускай даже и родным отцом.

Красивой Женька в привычном смысле слова не была. Скорей она была чуть иной, особой, мало совпадающей своей необычной внешностью с расхожими представлениями о женской привлекательности. Что отсутствовало напрочь, так это любая русопятость. Полное отсутствие округлостей лица, тонкий нос, холодного колера глаза, что-то между серо-голубым и водянисто-болотным, скулы, чуть приподнятые и потому несколько выделяющиеся, и, наконец, волосы, – светлые, практически выбеленные природой до цвета выцветшего льна, настоящего арийского свойства, – прямые изначально, с чем она по мере своего взросления вполне успешно боролась, стараясь придать им

заметную волнистость, пускай даже искусственную, бигудяшную. Всё это, с добавкой стройных ног, слегка отстающей в возрастном развитии груди, но и длиннющих пальцев с коротко и аккуратно постриженными ногтями – складываясь в цельную картину, мало чем напоминающую матрёшечный идеал, не приносило той отдачи, на которую она рассчитывала, держа свои подростковые особости если не за явные достоинства, то, по крайней мере, за вполне приемлемый набор женских качеств, позволяющих нормально мечтать о любимом человеке.

В институте, учитывая её медаль, пошли навстречу и предоставили койку в комнате на троих, хорошо понимая, что очередному набору молодого Политеха, когда, по сути, преподавательский состав всё ещё не окончательно укомплектован полноценными кадрами, когда не хватает учебных пособий, лабораторного оборудования, да и самих помещений, готовых стать полноценными аудиториями, требуются студенты как можно более способные – что им недодадут в этих стенах, то они, умненькие, доберут сами, и никто, получив диплом вуза, не останется в обиде.

Отец, поставленный в известность насчёт её отдельного обустройства в центре города, не то чтобы обиделся или заметно огорчился – его просто слегка кольнуло, чего прежде он никогда не испытывал. Ничего не сказал, понимающе мотнул головой, сообщил лишь, что в первый же отпуск поедет в Каражакал, выписывать их оттуда уже насовсем, чтобы избежать дальнейшей временной прописки на новом месте, а заодно перевезти маленьким грузовичком остатки вещей и все картины. Теперь, сказал он с едва скрываемой горечью, места для них хватит, для всех, одной кроватью станет меньше, зато в достатке будет пространства для его «самодельного» искусства. Женька, конечно, не могла не заметить, что отец, как ни скрывал этого, расстроен её ранним самовольством, однако поделать с этим уже ничего не могла, да не хотела: как есть, так и будет. Тот же, несмотря на огорчение, вновь разобрал и уже собрал на новом месте, в её комнате в общежитии, дедов палисандровый столик. Сказал, за ним дедушка твой трудился, сама ты школьную жизнь, можно сказать, за ним же провела, так теперь пускай он снова при тебе окажется, глядишь, в большие люди выведет.

Вскоре после обустройства на новом месте, Адольф Иванович, как и намеревался, нанял грузовичок с крытым верхом и отчалил в посёлок прошлой жизни, туда – обратно, подбивать итоги прожитого и попутно закрыть тему нажитого за годы самодеятельного творчества. Именно тогда, отсчитывая от момента возвращения отца из Каражакала, началось медленное,

но неизменно набирающее обороты отчуждение дочери и отца.

Он вернулся пустой, грузовик тот понадобился лишь для того, чтобы доставить его до места бывшего обитания, в одну сторону. Там всё было разграблено и испоганено нелюдями. Всё, совершенно всё было уничтожено, стёкла выбиты, шторы оборваны, мебель порушена и растащена, не хватало даже нескольких половых досок, вырванных и похищенных неизвестными. Картины, его картины, сотни его работ: масло, акварели, карандашные рисунки, уголь, пастель… всё это никуда не делось, но было изгажено, изорвано, измято. И не просто – по-звериному. Деревянные рамы и подрамники, самые простые и незатейливые, также исчезли, все до одной – вероятно, ими удобно было растапливать печь: будучи расколоты с одного несильного удара, они, как никакая другая растопка, подходили для этой понятной житейской цели.

Цинк вышел во двор и, расплатившись, отпустил грузовик. Ничего уже было не надо. Всё было кончено. Разумеется, он знал, что есть те, кто ненавидел его всегда. Да и на работе, ценя и отдавая должное его неутомимости и той пользе, которую он, являясь знатоком своего дела, приносил карьероуправлению, всё же заметно недолюбливали, и не слишком это скрывали. Причина была всё та же – происхождение и фамилия при нём, от одного запаха которой уже натурально кое-кого подташнивало. К тому же и другое наложилось, хотя причины и не совпадали: семья попала под раздачу, невольно, заодно, под сталинскую кампанию общей ненависти к инородной немчуре, вылившейся в депортацию безвинных обладателей кровей галлов, кельтов и тевтонов.

В тот день он понял, что не притронется больше к кисти. Это и на самом деле был конец. Край. Обрыв без пути обратно, наверх. Таков был его ответ равнодушной и бесчеловечной власти – тем, кто насильно, одним движением государева указа переселил в сорок первом полмиллиона его сородичей, назначив всех их, от семнадцати до пятидесяти, тайными врагами собственного народа, и обрёк на рабское прозябание на стройках народного хозяйства. Это решение, принятое им больше от бессилия и отчаяния, а не как результат дурной и пустой мести никому, был тем единственным способом личного протеста, который Адольф Иванович сумел для себя принять. Он просто лишал их, негодяев всех мастей, своих будущих картин, всех и навсегда, перегородив им доступ к своей мятущейся, не находящей выхода душе. Он сам, собственными усилиями останавливал теперь в себе свободное человеческое начало, зовущее радовать и творить, – всё то, что обещала хрущёвская

оттепель. Он замыкал последние контакты между минувшим и, казалось ему, окончательно уже исчерпанным рабством и так и не осуществлённой надеждой на перемену одной жизни на другую; он заключал себя под собственную неусыпную стражу, перестав верить людям.

Ещё раньше, в первый раз столкнувшись с *их* преступной политикой в отношении нормальных, честных и живых людей, он поначалу не поверил. Он был совсем ещё молод, только закончил школу, но уже был достаточно разумен: да и память, в отличие от зрения, не страдала слабостью до такой степени, чтобы всё это до конца жизни не въелось в кожу, в мозг, в затвердевшую насмерть газетную картинку в чёрной обводке. Это было начало отторжения себя от *них*. Именно тогда, в сорок первом, через короткое время после начала войны – Адольф этого не забыл – самым концом августа, кажется, датировалось это страшное Постановление Совета Народных Комиссаров и ЦК ВКП (б) – и он своими глазами прочитал этот текст в газете «Большевик», – согласно которому переселению подлежали все без исключения немцы, жители городов и сельских районов, 350 тысяч в Сибирь и до 100 тысяч в Казахстан: поволжские, крымские, северокавказские и всякие остальные. Это если не брать иные районы необъятной родины, приготовившей эшелоны для отправки строительного человеческого материала инородной выделки.

Они же с отцом и крохотной Женькой приехали в посёлок в сорок четвёртом, и прибытие это, к несчастью, уже наложилось на прочно сформированное отношение к ним как к прихвостням подлого захватчика, шпионам, диверсантам и прочим недобиткам. Те, первые, которые уже, – кто так, кто сяк, – пристроился при карьерах и трудился, какие – разнорабочими, кто на подхвате, а кто – никак и нигде, выживали как умели, держались ближе один к другому: это помогало существовать, не быть окончательно выкинутыми из жизни. Да и какая жизнь, если так уж разобраться: жалкий посёлок, пыльные карьеры, разбитые самосвалами грунтовки, голые неприветливые земли, скудная степная почва, поросшая ковылём, полынью, репьём, не дающая радости трудиться на ней, чтобы сеять, заботиться, собирать урожай. Разве что глаз наткнётся иногда и на живое, нашедшее себе пристанище на иссохших пустынных землях: суслика порой встретишь, сурка, тушкана, а то и заяц пробежит или редко – и лис-корсак.

Тех переселенцев, кто сразу после конфискации имущества прибыл в эти места первым эшелоном и какое-то ещё время перебивался в Каражакале, ожидая решения своей участи, Цинки

уже не застали, только слышали разговоры про них, по большей части недобрые. К осени 42-го согласно секретному Постановлению ГКО, подписанному Сталиным, всех в возрасте от 17-ти до 50-ти вывезли уже и отсюда и, соединив с остальными несчастными в рабочие колонны на всё время войны, отправили дальше, на строительство железной дороги Акмолинск – Карталы и Акмолинск – Павлодар. Кто-то из них по спецразнарядке НКВД попал на лесозаготовки, и местные, с разреза, спорили порой, кому из предателей повезло больше, тем или этим. Тотальной ненависти, наверное, всё же не было, тем более что не все верили в повальную измену носителей немецких фамилий и кровей, однако, заметного презрения в адрес депортированных тоже чаще не скрывали, чувствуя и невольно потакая установке власти.

Их приняли, конечно, семью Цинк, к тому же разобрались, что не депортированные, а по направлению: молодой специалист из Сибири, добровольщик, натурально томский, с тамошнего Индустриального института, почти закончил, маркшейдерскому делу обучался, которое тут в таком дефиците, что хоть в крик кричи – медную руду стране только успевай подавать, а как без топографов этих и геодезистов добыть нормально? Кто разбивку проектных осей грамотно произведёт – дядя? Тут хоть немчурский, хоть какой – дело никто не отменял, план и по вскрыше дай, и кубаж по добыче тоже выдай в срок, иначе немец проклятый завоюет, если без меди этой окаянной и всего остального остаться…

10

Это было второе по счёту потрясение для Адольфа Цинка. Первое он испытал, когда отец, Иван Карлович, вернулся в сорок шестом из Спас-Лугорья, с их изначальной родины, куда он через год после объявления победы над немцем убыл с проверкой: как там их дом, какие вообще дела в родных местах и что всем им делать в связи с изменившимися обстоятельствами жизни – возвращаться домой, под Томск, если Адика отпустят без осложнений, или ещё какое-то время побыть тут, в этом чужом Казахстане, отбывая самими собой назначенную повинность за свою немецкую фамилию и слабые сыновы глаза.

Вернулся, сел на стул, помолчал. Сообщил, глядя в щербатый пол:

– Нет у нас, Адинька, ни дома, ни картин твоих никаких. Одно пожарище и больше ничего. Забора, и того не оставили. Был Спас да весь вышел, никого не спас, одно только названье от него. И за что, Адик, нам такое?.. Ведь как жили хорошо, дружили, что русский, что немецкий, что любой другой. Не было этого ничего, что стало, все же раньше были свои, сибирские, жили, деток плодили, трудились в меру сил, и думать никто не думал, что поступят с нами, как с фашистами. – И заплакал.

Никогда ещё не было ему так жалко никого и ничего, как отца в тот ужасный для них день. Даже всех картин, которых за десяток лет, пока писал, набралась отдельная светёлка в их семейном гнезде, не так жалко было против отцовских слёз. Иван Карлович, взрослый, добрый и всё ещё сильный мужчина в годах, плакал, сидя на казённом стуле, в чужом, неуютном и вечно недотопленном бараке при меднорудном разрезе. Одна лишь двухлетняя Женька улыбчиво посапывала в своём углу, не ведая, о каком гнезде говорит её папе дед. В тот же день, ближе к вечеру, ему вдруг почудилось, что глаза его, и так недоделанные и проблемные, стали видеть ещё слабей против прежнего; но он не придал этому значения – новость, какую привёз отец, затмила всё остальное и была главней очков. Тот факт, что, кроме их дома, сожжены были ещё пять, и все – немецких поселенцев, что исключало любую случайность, добавил известию общей горечи. Таким образом, вопрос «оставаться или уезжать» решился сам собой – места для другой жизни всё равно больше не имелось, и казахстанская часть семейной биографии Цинков продлилась ещё на пятнадцать тягомотных и, по большому счёту, безрадостных лет.

Столько, сколько себя помнил, он всегда видел ужасно. С

самого детства зрение не задалось, и он таскал их, не снимая, эти толстые глазные стёкла, закованные в нелепую оправу. Выбирать не приходилось, спасибо, что оказалась найденной по размеру та, за которой отец, отложив свои часовщицкие дела, сплавал в Томск, уже после того, как Адику подобрали диоптрии в ходе заезжего врачебного обследования поселковых пацанов. Там же заказал и стёкла, и с этим уже было попроще, какие были надо, те и привёз. Сказал, на, сын, носи и не снимай, иначе совсем по жизни пропадёшь. И про Красную армию забудь совсем, – не для тебя она теперь, таких в неё не берут, такие врага не заметят, и толку от вашего подслеповатого брата не будет родине никакого.

Ему нравилось жить на той земле, было вольно и душевно, с самых ранних пацанских лет. Было куда себя приспособить, с чем слиться, за что зацепиться глазом, про что помечтать. Жили бедновато, но нескучно, трудились. И пока не пришли забирать излишки, у сельских, кто работал по-честному, хватало и кормиться, и про запас. И часто было им жить весело: с вольницей, с лёгкостью. Многие дружили меж собой, честно, хорошо – не так, как стало после, когда Советы окончательно разогнались, потеряв всякий стыд и совесть в отношении простого человека, не партийного, кто не из их хитрой и ненасытной своры.

Но Адик не так уж порой сокрушался о тех минувших временах: самые главные, наиболее крупные, серьёзные и настоящие свои работы написал он тут, в Каражакале, чередуя трудности, что выпали на семью, со счастьем от своего же труда, время на который уделял по остатку, мечась днём и ночью между карьероуправлением, меднорудным разрезом и неутихающими заботами, несмотря на всю помощь отца по уходу за дочкой Женькой.

Часто, хоронясь в силу неодолимой привычки делать это, когда рука его касалась чужого, забирался после тяжёлой смены на местную свалку, куда нередко самосвалами свозили с карьеров утиль. Оттуда, отбрасывая по пути разный хлам, пробирался ближе к середине кучи, перешагивая через обрезки некондиционных резиновых сапог, обломки лопат, кабельные обрубки, драные проволочные перекати-поле, выискивая всё, что могло с наибольшим приближением к оригиналу стать заменой холста в очередных его художественных опытах. Это был такой же утиль, недорваный, недорезанный, не дотёртый до дыр – робы из грубой кирзы, полагающиеся рабочим с меднорудного разреза. Их выдавали пару на год – дело было вскоре после окончания войны, – после чего отбирали и вывозили на свалку, чтобы, не дай бог, трудовой люд не поживился уже и так употреблёнными

до крайности обносками. Но для Адольфа это был клад, залежь, скважина с ничейным и полезным добром. Он утаскивал, сколько получалось, затем вырезал спиновую часть из более-менее уцелевших и выкроенные таким образом куски приводил в окончательный порядок. Уже под утро, незадолго перед новой сменой, вымачивал нарезанные квадраты и натягивал на сколоченные им подрамники, и грунтовал, раз и два, готовя под очередной пейзаж или натюрморт. И уже было неважно, что живёт он в гиблых местах, где днём и ночью воют ветры, а перед самым утром до ушей доносится звук лагерного гонга, от которого сжимается всё внутри.

Он писал степь, находя в ней красоты, которые даже его удивительным зрением, приспособленным видеть красоту неброскую и неочевидную, ухватывались не сразу. Скудная поросль, разнобойный, иссушенный солнцем и недостатком влаги травостой, пожухлый мелковатый ковыль с шелковистыми перистыми остями, прошлогодний бурьян, поникший, но всё ещё живой, недобитый зимней лютостью, с едва оживающими к весне молодыми ростками, с трудом пробивающими себе новую дорогу к жизни и свету… Но всмотришься и заметишь: там и сям вдруг прорастают голубые, синие и лиловые волошки, веселя своим бесцеремонным колером этот безрадостный, на первый взгляд, угрюмый и неохватный глазом степной ландшафт. И тут же – порыв ветра, сухого, острого, колкого… и вот уже над бесконечной равниной, застилая глаза, спирально закружилась пыль, мутя собою воздух и свет…

Всё это, будучи многократно умножено на художественное воображение Адольфа Цинка, чрезвычайно волновало его, будило в его болезненной, неравнодушно устроенной середине необыкновенную страсть, желание тот же час охватить всё это глазами, кистью, карандашом, углём, тем, что окажется под рукой… Оно имело над ним неодолимую власть, противиться которой не было ни сил, ни нужды. Наоборот, хотелось покориться, слиться с этой распроклятой чужой землёй воедино, стать частью этой равнины, этого непрозрачного воздуха, этого низко висящего над пустынной землёй неба, то ясного, видного, сильного, а то вдруг мутного, призрачного, пустого…

Он пытался выловить единственно нужный ему цвет, конечный, последний, и когда это получалось, у него начинало пульсировать в висках, слабо, едва ощутимо, и тогда он знал, что попал, что сошлось, совпало. Это был верный знак успеха, никем, впрочем, кроме него самого, не жданного. Затем шёл дальше… то добавляя белого, чистого… то разбавляя его же седым, пустынным, никаким… Наполнял пейзаж деталями, малыми и

редкими, не хотел перегружать композицию, уводя работу от изначально задуманной сдержанности, скудости… такой была и сама эта степь, эта наполовину выжженная земля, уже почти пустыня, но прекрасная, хотя и не ставшая ему родной даже после долгих лет жизни на ней.

11

Вообще он рисовал, сколько себя помнил. Рисовал, писал, даже при помощи пальцев, и всегда экспериментировал с цветом. В качестве основы в ход шло всё: бумага – пустотными промежутками меж газетных строчек, обрезки стекла – для пальцевой живописи, картон всякого вида, от упаковочного, листового, до выкроенного из пустых, как правило, подобранных в мусорных местах конфетных и прочих коробок, а также куски случайной ткани, заменявшие холст, которые он сперва тщательно отстирывал от грязи, разглаживал чугунным утюжком и разделывал на прямоугольные куски, чтобы уже после писать по ним, чем получится. Но главным материалом всё же служили мешки из-под картошки и угля. Они заменяли холст как есть, без учёта зернистости. Да и не знал он, вообще в ту сторону не думал, что бывает холст мелко или крупнозернистый, как не ведал и о текстуре его, тонкой или средней выделке, об узелках в ткани и разных видах плетения её нитей, о специальных вкраплениях в само тело этой ткани, потребных для пущей убедительности пастозных мазков кисти или мастихина. Никто не сказал ему, не открыл, что и пористость важна, и гибкость холста, и проклейка его, и грунтовка, и последующая шлифовка, и многое-многое другое, что позволяет чрезвычайно усилить воздействие руки и кисти человека на зрительное и эмоциональное восприятие его работы.

По обыкновению, он грунтовал их самодельным заменителем образцово составленной смеси и, руководствуясь исключительно нюхом саморощенного творца, тщательно перемешивал то, чем удавалось разжиться, – мездровый клей и растёртый в муку мел, добываемый отовсюду, где он только мог быть выпрошен или утащен, или же соединял, также на ощупь, глицерин с олифой, после чего добавлял туда желатин и цинковые белила, если подворачивалась оказия достать немного такого редкого богатства. Однако не понимал, не чувствовал поначалу, что добиваться следует не любого, а лишь нейтрально-серого звучания, – строгого, чтобы лучше видны были оттенки светлых тонов. Их он, кстати, любил много больше остальных, и потому работы его, из тех, что писались маслом, в большинстве своём тоже были ясными и радостными, словно излучали такую же светлую надежду, какой и сам он жил в те прекрасные годы в Спас-Лугорье, когда начинал открывать для себя этот неописуемо дивный мир красок, образов и откровений.

Открывать было что. Летом Адик просто исчезал, совсем, –

уматывал на природу, один, прихватив всё, что было нужно для пейзажа: самодельный подрамник, уже готовый к работе, с натянутым на него то хуже, то лучше очередным суррогатным холстом, кисти, – бывало, что и самые настоящие, время от времени добываемые отцом через свои часовщицкие знакомства, – треногу, самим же сколоченную, заменяющую этюдник, на которой шатко-валко крепился подрамник. Ну и остальное всё, включая банки, водичку, ветошь или тряпочки разной мягкости для оттирки кистей. А ещё не забывал очки, далёкие и близкие, в зависимости от нужды применения, такими уж непростыми были у него глаза. Жить в известной степени это мешало, но до настоящей беды всё же не доводило. Места он предпочитал таёжные, подальше от дома, но именно они и насыщали его глаза цветом, начинаясь от самого посёлка и протянувшись к югу. На севере же поселок окаймляла болотистая пойма реки. Однако и это было для Адика немалым подарком, поскольку болота эти, если внимательно всмотреться в тусклый блеск их матовой серебрянки, особенно перед самым закатом, местами сказочно пузырились, будто неведомая подводная сила, живущая в их густой, вязкой глубине, выталкивала на поверхность болотной воды свои редкие и мелковатые выдохи. Там ещё росли камыши, осока и узловатые тростники, самые разные, тонкие и толстые, серо-зелёные и седых оттенков. И получалось чудо, если удавалось схватить это разом, в красках и композиционно, чуть изменяя цвета: от едва заметных глазом бледноватых тонов, меняющихся в зависимости от источаемого небом света, до самых напитанных, спелых, наполняющих болото сильным устойчивым колером, разнесённым вширь и вглубь от мелкого кустарника и медленно истаивающего к самому краю разлива. Там уже зыбкие почвы заканчивались почти совсем, и завязывалось скудное, почти однотонное мелколесье.

Ну а зимой особенно далеко не стоило и выбираться, достаточно было поставить треногу у окна и через морозный узор на стекле в очередной раз выделить взглядом натоптанную тропинку, что ведёт к колодцу, и на ней – бабу с вёдрами, ту, что поинтересней, покривей, понерасторопней. С неё он вполне уже мог сделать карандашный набросок, успевая схватить главные черты: как гнётся она под тяжестью полных вёдер, как трёт рукавицей под носом, остановившись передохнуть, как морщит лоб и губы от холодного ветра и как мимоходом растирает себе красные щёки, выпуская пар изо рта. А если выпадали дни по-настоящему солнечные, яркие, блестящие, то уходил ближе к полю, втыкал треногу в снег и, стараясь делать это быстро, как настоящий умелец, писал белое по белому, чуть играя при этом

тонами, чтобы получалось, как видится, но ещё лучше, придуманней, с добавкой фантазии неизвестной самому ему природы. Просто так он чувствовал, понимая, что даже сейчас, когда и рука не набита, как надо, и мастерством невысокого даже уровня похвастать нет у него права, всё равно не следует достигать в пейзаже абсолютного сходства с оригиналом; не в этом, казалось ему, таится истинная красота, не в той похожести, что делает изображение и ландшафт неотличимыми один от другого, а, скорей, в самой игре света и тени, в этом дивном цветовом пятне, в моментальном взгляде, ударе, в самой фактуре грифеля или мазка, в почти случайном совпадении настроения, чувства и образа, пойманных кистью художника в силу лишь им одним изведанного чувства гармонии, пропущенного через сердце и глаза, через слёзы и собственную кожу – в экспрессии, в таинстве души.

Смотрят – все, видит – художник. Он понял такое не сразу, поначалу действовал по наитию, просто не сопротивляясь внутренним толчкам, исходившим из его незрелых, ещё совсем пацанских представлений о правильности и единственности собственного мазка. Его больше вело чутьё, интуиция, некий зов, что он беспрестанно улавливал в себе и чему следовал, не делая попыток противопоставить им «школу», классику художественного письма, о которых, честно говоря, больше догадывался, нежели знал нечто определённое.

Анализ того, что остаётся на бумаге, картоне или на холсте, пришёл уже потом, гораздо поздней, почти перед самым поступлением Адольфа Цинка в институт, когда война только-только началась, и он, вместо того чтобы ужаснуться вместе со всеми в ожидании неясных бед, стал думать о том, что и как он видит, и почему так, а не иначе. Именно таким было его настроение летом сорок первого, и ни о чём другом, кроме как о планах поступления в художественное училище, думать не хотелось.

Вышло, однако, совсем не так, как мыслилось. С начала войны в Томске осталось лишь несколько вузов, продолживших работу, да и те начали резко формировать учебные программы, перекраивая их под нужды обороны. Остальные институты просто перестали функционировать. Выбирать не приходилось, надо было действовать, отдавая долг стране, – ему успело щелкнуть восемнадцать. Однако сам Адик был непризывной по зрению, отец – по возрасту, так что семья, получалось, оставалась должна Большому кормчему за неучастие в деле обороны от врага.

Он поступил в Индустриальный, даже не слишком вникая в суть. Сказали, надо идти на маркшейдера: геология, геодезия,

топография, всё такое, без чего невозможна добыча кровно потребных стране ископаемых: медь, железо, цветные металлы, полиметаллические руды, откуда, кстати, извлекают цинк, – в курсе, абитуриент Цинк?

Он успел. Поступал бы на другой год, вряд ли вообще бы прошёл, и никакие баллы не помогли бы. В августе того же сорок первого, как только вышло Постановление то чёртово, резко изменилось отношение к этническим немцам, коснулось это и поступающей молодёжи. Впрямую не говорили, просто откровенно валили, не допускали до высшего образования, осуществляя негласную партийную установку. К тому же и разбираться было не рекомендовано, из новых переселенцев абитуриент или это свой немец, местный, из исконно прижившихся на сибирских землях.

Впрочем, Адольфа уже не коснулось, проскочил. И начал учиться как бешеный, пытаясь доказать свою нужность и преданность Родине вопреки любым идиотским слухам, гуляющим тут и там. В тот год все концы и начала в сознании его ещё окончательно не срослись. Не хватало запала докапываться, отчего всё так заворачивается против русских немцев: сибиряков, поволжцев, крымчан, да и всех остальных, чем провинились они перед своим могучим и щедрым Отечеством, что их, словно скот, вывозят целыми семьями на новые места обитания и погибели. Да и учёба, правду сказать, отвлекала, не давала собраться с мыслями, чтобы неспешно переварить внутри себя всё это путаное, мутное, неуклонно обрастающее раздражительной коростой. О том, чтобы выбраться на природу с этюдником, даже речи теперь не шло. Тем более что через год возникла она, Верочка с горнорудного факультета, будущий электромеханик наземных горных работ.

Их быстротечный общежитский роман, так и не успев перерасти в брак, закончился её беременностью. Само собой, со временем они собирались оформить отношения – когда закончится эта проклятая война и можно будет жить дальше, не думая о завтрашнем дне. В разговорах о совместном будущем она успела честно признаться, что по понятным причинам, когда наступит срок, хотела бы избежать смены девичьей фамилии, оставив её за собой. Он не возражал, внутренне понимая и принимая её резоны, но всё же нечто неудобное, неловкое, поселившееся в нём и с занудным упорством точившее чем-то тупым его серёдку, уже тогда не давало душе его спокойно поместить себя в загодя уготовленную нишу и разложить собственное будущее по понятным деталям. Однако, в любом случае, такое его согласие не пригодилось, просто не дошло до

этого. Адик успел лишь единожды свозить Верочку в Спас-Лугорье, показать отцу, накоротко продемонстрировать ей места своего детства и вытащить из чулана свои картины. До появления на свет их первенца оставалось чуть больше двух месяцев.

Она умерла во время родов, Вера. Девочку, чудо какую хорошенькую, беловолосую, с аккуратным, чуть вытянутым и скульптурно вылепленным личиком, будто образом своим сошедшую с православной иконы немецкого письма, спасли. Мать же – не смогли. Случай был тяжёлым, и не потому, что провальной в этом деле оказалась оперативная медицина. Просто раннее диагностирование довольно серьёзной наследственной болезни в условиях военного тыла никто не проводил. Потом, не пряча от него глаз, сказали, что это редкое сочетание пролабирования обеих створок митрального клапана с чрезмерно выраженной митральной регургитацией – как-то так или почти так. И это патология, добавили, довольно редкая и плохо поддающаяся лечению в критической стадии. Разобрались, но не тогда, когда было нужно умирающей на столе роженице.

Он поверил, потому что они глядели ему в глаза; он же, как художник, почти всегда умел по выражению лиц отличить, когда ему откровенно врут, а когда говорят искренне, с болью во взгляде. Тем более что скончавшаяся пациентка не была Цинк, и потому не было добавочной причины кривить душой, если бы у кого такая охота возникла. Она носила русскую фамилию своего русского отца-фронтовика, и врачи эти сокрушались о её смерти самым непритворным образом.

12

Так они оказались в Каражакале, Цинки: он, его крохотная Женечка и отец Иван Карлович. Перед этим Адольф пришёл в деканат, сказал: всё, отчисляйте, грудничок у меня на руках, жены больше нет, не потяну ученье в одиночку.

Оставалось немного, с полгода всего, а был-то из лучших, и все это знали. Но и причина тоже была настоящей, и точно так же все в курсе пребывали про него и его несчастную Верочку с горнорудного факультета.

Адик Цинк не стал просить никакого преждевременного диплома за просто так, за беду. Он немного подумал и сказал:

– Куда для дела нужней, туда и отправляйте. Я знаю, что пригожусь, я уже теперь в этом уверен, с бумагой или без неё. Подскажите, где не хватает кадров моего профиля, иначе просто потеряем время на поиски.

Потом, через какое-то время, уже оказавшись в Казахстане, он стал обдумывать это внезапное решение, пытаясь докопаться до причины своего явно неразумного поступка. Залегания и добыча полезных ископаемых, самых разных, от алюминиевых бокситов до железной руды, цинка, золота и сурьмы, одинаково необходимых стране, располагались и неподалёку, считай, под самым носом, в их же родной Томской области. Он мог бы с лёгкостью отправиться туда и был бы с энтузиазмом принят везде, для этого не стоило даже пробовать иные географии, чужие земли и отдалённые от родного гнезда новые места. Глядишь, и не сгорела бы вместе с домом память по Спас-Лугорью, и дочка дышала бы хвойными лесами и чистой землёй, а не тамошней бурой степью и пыльным репьём. И понял в какой-то момент, докопался: это он так искупает свою, Цинков, и таких, как они, вину – подспудно, не вытаскивая наверх из глубин живота, не обозначая её доходчивыми для себя словами, оставляя лежать там же, заживо захороненной, – чтобы не дать себе лишней вольницы размышлять об этом и дальше, чтобы остановить эти проклятые толчки внутри, чтобы хоть как-то уравнять себя с другими через этот свой идиотский подвиг, с нормальными, не немцами, с любыми, какие ни есть, тамошними или тутошними, – как и теми, кто сейчас на войне, рискуя жизнью, истребляет немецко-фашистского врага, если ещё не стал сам же врагом этим убитый. А ещё винил себя Адик Цинк в том, что не сумел отвести от своей женщины смерть, даже находясь тут, в глубоком тылу. Если бы на фронте было такое, то, наверное, не так непростительно было бы всё для него и не так ужасно для того, чтобы перенести несчастье

и принять всё, как есть.

Отец, разумеется, ехал с ними, хотя шаг этот сынов не одобрял. Адольф слукавил тогда, не сказал всей правды, дал понять, что распределился досрочно не по своей воле, что направляют в Казахстан в обязательном порядке, ссылаются на катастрофическое отсутствие кадров и, кроме того, обещают после войны диплом без доучивания. Если честно, не хотел делиться с Иваном Карловичем тем, что наболело и уже тянуло и гудело где-то под сердцем тревожным и больным паровозом.

Отец запер ставни, дополнительно к тому заколотил крест-накрест окна досками, перекрестился по-православному, как ему было привычней, собрал нехитрый часовщицкий инструмент, и они отбыли в степную неизвестность, заготовив для Женечки в дорогу подходящее питание.

Иван Карлович не вернулся, не сменил больше место проживания – там и остался, в этой полупустынной неприветливой земле. Старался забыть то, что увидал в сорок шестом, но так и не сумел до самой смерти подавить в себе горечь от утраты Спаслугорьевского дома, доставшегося ему от отца, а тому от деда, и так далее по всей фамильной цепочке. Чёрное пятно пожарища с лопнувшим от непосильного жара остовом печной трубы посреди бывшего обитания Цинков упорно стояло перед его глазами. Женька, не знавшая ни дома того, ни той благословенной земли, не нюхавшая за все свои детские годы аромата сильней горьковатого степного настоя с примесью карьерной пыли, никак не разделяла дедову тоску по этим неведомым ей головешкам. Ну сгорело и сгорело, плюнуть и забыть – что ж теперь целый век кручиниться, погорельцами себя числить да пепел из носу выковыривать?

Он слушал её, гладил по голове и молча улыбался чему-то своему, стариковскому. Иногда, бывало, поплакивал, уже ближе к самой кончине, в шестидесятом. Ухитрялся делать это тайно от своих, старясь не оставлять на лице мокрого следа и выбирая верный момент, чтобы отпустить сердце, дать ему побыть минуту-другую в полной слабости. Работал до последнего, уже плохо видя, но ещё имея нестариковскую твёрдость в пальцах, и это как-то возмещало ему использование сильнейшей лупы, вдетой в головной обруч, чтобы по-прежнему справляться с заводным механизмом ручных часов, даже самых миниатюрных.

Женька же училась в школе при горнодобывающем комбинате, училась легко и незатратно для своей светлой головы, а за неимением иного увлечения, кроме случайных, чудом доставшихся ей книжек, полюбила чертёжное дело. Она с удовольствием помогала отцу, когда тот зашивался со

сверхурочной работой и притаскивал домой бесконечные чертежи и эскизы меднорудных разработок. План гнали всегда, сколько он себя помнил, трудясь без роздыху в этих неблагодатных местах что до, что после войны. Сначала это было для простого выживания, потом – на победу, на слом фашистского хребта; сразу после победы – для наращивания индустриальной мощи и оборонного советского потенциала.

Она быстро схватила суть его дела и уже через какое-то время на раз и два справлялась с частью дополнительной отцовской нагрузки. Попутно научилась готовить карандаши, ловко вытачивая на кончике жёстких и мягких грифелей идеально прямоугольный торец. Именно тогда началось уже подростковое увлечение черчением, которое впоследствии привело Евгению Адольфовну в одно из царёвских КБ. Не светлая голова её, как ни странно, не умение схватывать всё на лету, а именно это вполне проходное качество привлекло внимание комиссии, отбиравшей выпускную молодёжь для работы на космос. Однако это было гораздо поздней: пока же она просто училась, набирая возраст, зрея мозгами и одновременно думая о том, что будет с ней дальше, когда она получит аттестат и надо будет определяться в жизни, продвигаясь к малопонятному пока самой ей будущему.

13

Он вернулся в Караганду на другой день после своего ужасного открытия. Добирался на перекладных, не спешил, намеренно оттягивал разговор с дочерью. Ему было сорок с лишним, и у него больше не было ни одной картины. Все годы, что провёл в казахской степи, он пытался, не отдавая себе в том отчёта, нагнать утраченное в том подлом пожаре, в их фамильном спаслугорьевском гнезде. Ему было чудовищно жаль своих картин, рисунков, эскизов, набросков, акварелей – всего, с чего он начинал когда-то свои первые опыты, открывая для себя удивительный мир этой земной и уже в каком-то смысле неземной красоты. Он словно расставался в ту пору с детством, обретая первый, ещё совсем молодой, но уже по сути сформировавшийся в художественном отношении взгляд на жизнь, на воздух, на воду, на небо, на таёжные перелески, на волшебные, будто сказкой сделанные сизовато-седые болота, на всю столь любимую им природу. Но только произошло всё не так, как должно было быть, по-доброму, во взаимном согласии с возрастом и умом, а иначе: больно, жестоко, несправедливо и необратимо.

Женька же… Он и так чувствовал уже, что Женька, родная и единственная его девочка, надежда и опора оставшихся лет его неудавшейся жизни, окунувшись с головой в своё беззаботное студенчество, постепенно отдаляется, всё реже и реже нуждаясь в нём. К тому же ей дали стипендию, маленькую, но всё же – при её неизбалованности, привычке экономить и соразмерять свои девичьи нужды с возможностями отца необходимость в нём не то чтобы отпала совсем, но как-то заметно обузилась. Конечно, теперь они жили в разных концах города, но дело было не только в расстоянии: одновременно с этим что-то и совсем другое, открытое им в дочери недавно, настораживало Адольфа Ивановича, не давая ровного покоя, на который он, как ему казалось, смел рассчитывать.

Потом понял, по прошествии нескольких месяцев, – виной тому прошлое убожество, всё это многолетнее беспросветно-одинаковое прозябание в запылённом степном захолустье, откуда при его каторжной работе и носа не высуни в большую и разноцветную жизнь. Тут же, в городе, дочь оторвалась, заискрилась, задышала свободней, веселей, привольней. И не стоит ей знать того, что произошло, решил он в итоге, вернувшись. Пускай радуется и учится, сам же он продолжит заниматься тем, чем занимался всегда, но уже без пыли, свалки,

без раздражительных звуков гонга к побудке и очередному лагерному построению – без всей этой чёртовой пустыни, окончательно умершей для него вместе с навсегда убитыми картинами. Тем более, подумал он, подводя итог своим печальным размышлениям, что так и так за годы, что занимался живописью, не удосужился заиметь мольберт, настоящий, а не кое-как приспособленный для любимого дела, сколоченный когда-то из грубовато обтёсанных, отодранных шкуркой палок и нескольких планок такого же неказистого сорта.

Свой Политех Евгения Цинк закончила в 65-м с красным дипломом, и это уже вошло у неё в привычку, сделавшись почти традицией, – быть первой, лучшей и в большинстве случаев знать о себе такое заранее. Учёба давалась легко: это было и там, в степной комбинатовской школе, так же стало и здесь, на факультете, – равно беззаботно и совершенно необременительно для её быстрой и ладно устроенной головы. Специальность – «Электрификация и автоматизация наземных горных работ», полученная в результате пятилетней учёбы, честно говоря, не казалась Женьке мало-мальски привлекательной и хотя бы в чём-то перспективной. Снова на разрез? Туда же, в тьмутаракань, где добывают уголь и руду? Когда поступала, выбирать не приходилось: она сначала пошла было на «экономику горной промышленности», но ей сказали – в бухгалтера метишь, понимаем, а только, если хочешь койку в общежитии заиметь, надо бы перевестись вот сюда, тут у нас недобор, а у страны – потребность, вот и думайте, Цинк, чего вам больше надо.

Отец не вмешивался, она просто не ставила его в известность обо всех этих перипетиях, опасаясь, что тот волевым образом отменит ей общагу, а вместе с ней мечту о ранней самостоятельности и, как следствие, глотке первой городской свободы. И вот учёба осталась позади вместе со всеми студенческими и городскими радостями; впереди же, судя по спискам, ждало распределение на Ковдорский ГОК, что в Мурманской области, – это где полгода ночь, беспросветная и безнадёжная, а вторые полгода – день, ясный, с солнцем, круглосуточно пасущимся в бодром зените, так что о том, чтобы уснуть, можно только мечтать.

Расстройство было просто ужасным: пока училась, не думала о таком исходе. Привыкнув быть первой, продолжала и дальше считать, что уж ей-то достанется нечто поинтересней, нежели снова вернуться к тому, от чего они с отцом сбежали когда-то и даже памятью не возвращались больше в те места. А быть может, всё окажется и ещё ужасней, раз и солнце не заходит, и тьма не отпускает.

Они появились в правильный момент, спасительный, как выяснилось чуть потом, – люди эти из комиссии, что объезжали вузы, подбирая толковых ребят-выпускников для комплектации Царёвских КБ. Смотрели дипломы, разговаривали в деканатах, отбирали очень серьёзно, а не по знакомству или связям. Женькин диплом попал к ним руки, можно сказать, случайно. Факультет, что она закончила с лёгкостью, но без большого удовольствия, ценности для них не представлял, они больше смотрели чистых автоматчиков, выискивая реально головастых: так велел сам Павел Сергеевич, организовав поиск кадров по стране.

Диплом произвёл впечатление, но не сам по себе: ни в какие расчёты они не стали вникать. Поразило исполнение: чертежная часть была выполнена идеально, словно при содействии некого механизма, настроенного человеком, но без участия самих рук. То было высокой эстетикой уже само по себе, классикой, не требовавшей поддержки инженерией и наукой, абсолютно органичной работой, с безукоризненно выдержанными линиями и безупречно выведенным шрифтом. Как инженер Евгения Цинк не была им нужна, её специальность не соответствовала задаче, ради которой был запущен этот широкий поиск. Тем не менее, её пригласили на разговор, и все остались просто очарованными этой Цинк: блондинка с вьющимися волосами, приятным лицом чуть-чуть нездешней породы, что также было многими отмечено, но вслух не сказано, и отсутствием критически непроходных данных. Отец – из рабочих профессий, техник-маркшейдер, матери нет, жили в Казахстане, при карьероуправлении, школа – тоже с золотом, как и диплом. Короче – своя, хоть всё же малость и чужеватая. Жаль, конечно, что немочка и что «Адольфовна», а не хотя бы «Генриховна» какая-нибудь более нейтральная, это и стало одной из причин того, что предложение ограничили должностью чертёжницы. Но лишь на первое время – с её явными способностями не исключено и продвижение, и это будет зависеть уже от неё самой, и, думается, неподходящее отчество помехой не станет. А что до такой же малопривлекательной фамилии, то не мужчина всё же, да и допуск невысокий, так что, скорей всего, преодолимо.

Она не раздумывала, сказала «да», это было спасительным для неё делом, даже если смириться с тем, что ехать придётся снова из Казахстана в Казахстан и снова на какое-то время забыть о большом городе. И всё же это было не Заполярье, убийственное в её представлении о правильном месте жизни человека на земле. И главное – закрытое конструкторское бюро, куда её зовут, напрямую связано с космическими исследованиями, а что же

может быть притягательней, чем такое удивительное дело? И, как они же сказали, платят там куда больше, с учётом секретности и всех остальных надбавок: можно со временем поддержать и папу, помочь с расходами по живописке и во всех его творческих рисовальных делах. Да и рядом, в общем, не так и далеко, если прикинуть, – столько же по километрам, как и раньше жили, но только в другую сторону: почти то самое место, откуда стартуют корабли, чудо просто, как совпало. И всё это, само собой, если отмотать обратно, лишь благодаря папе и его тогдашним маркшейдерским чертежам, его домашней школе, по случайности жизни выработавшей у неё твёрдость руки и не присущую возрасту аккуратность. Да и красот, кстати, тамошних никто не отменял. Папа ведь, помнится, так любил уходить в эту степь со своей тяжеленной треногой, от которой одни занозы да усталость. Зато она помнит, как он рассказывал ей потом про эти ковыли с пушистиками на кончиках стеблей, про волошки свои ненаглядные, синие, лиловые, всякие… про пылевые спиральки, которые так изумительно делают воздух непрозрачным, и как ему хочется писать всё это, схватывать кистью… И про что-то там ещё, такое же скудное и безрадостное, но такое прекрасное в своей уникальной неповторимости.

Узнав про такое дело, Адольф Иванович поначалу огорчился, и прежде всего из-за того, что его чрезвычайно способной к ученью девочке предлагают должность заурядной чертёжницы, наплевав на честно заработанный ею красный диплом. Но уже чуть потом, поразмыслив, он решил, что соглашаться надо было, и не только потому, что, возможно, разные интересные дела у неё будут, но и главным образом из-за близкого, по меркам здешней необъятности, расположения дочери к нему самому. Подумал ещё, что в условиях, когда у него, если уж откровенно, при отсутствии занятий живописью не осталось в жизни ничего, то шансы видеться с Женькой не так и малы: день туда, день обратно – вполне можно жить, не кусая локти от тоски. И ничего, что место закрытое, родному отцу всегда разрешение выпишут на въезд: в конце концов, не Гулаговские времена на дворе, не Джугашвили в паре с дуркнутым дедушкой Калининым. И тут же поймал себя на мысли, что никак не успокоится душа его от обиды, захороненной давно и глубоко, в самый низ его памяти и его боли. Что всякий раз, чего ни случись, даже самое заурядное, невольно ищет он повод для себя думать о *них* с неприязнью, так и не утихшей со временем: с недоверием ко всему, что делают и говорят, о чём звенят и что проповедуют. Нет, не немцы, не они, не этот работящий и преданный отечеству народ был врагом для людей, а сами чекисты и подлая власть. Это они хотели стать им

врагами и стали – русским немцам, испокон веков живущим на этой земле, сделавшейся им родиной, давным-давно первой и единственной. Не мог простить, не хотел забыть *им* Адольф Иванович всего, что учинила с его народом прошлая власть, не получалось, не сходились концы с началами, да только никому до всего этого дела не было, кроме него самого. И то, что сам по случайности уцелел, боли той не отменяло, а просто делало её чуть терпимей, избавляя душу от нехорошей ненависти, нелюдской, заводящей в окончательно невозвратные дебри.

А что до Женькиных дел, то, как ни посмотри, всё лучше будет, чем кольскую мошку собой кормить. Да и не поспишь нормально из-за этого вечного солнца – как и бодрствовать не получится из-за него же, коль скоро напрочь оно отсутствует. Но тайно прикинул, отъехав чуть в сторону предательской мыслью, как там, наверное, в тех сказочных географиях, чудесно всё устроено для его прошлого увлечения. Это только представить можно, какими сдержанными и суровыми красками наполнен тот неведомый ему полярный круг, все эти чёрные снега, поблескивающие случайно-белым, подпав под искусственный свет, заменяющий собой привычный луч натурального светила. Или тот же свет, но уже ставший на полгода неугасным, обливающим собою всё и вся, не дающий роздыху глазам: сколько он принесёт с собой неожиданных открытий для художника, высветив, высветлив в той суровой и, наверное, чрезвычайно скудной по растительности тундре свои неизвестные маленькие радости, – синие, лиловые и голубые волошки. Но только там – те, а тут – эти, но тоже свои. В общем, мотнул головой, соглашаясь с её доводами и думая в то же время о собственных резонах.

Вскоре пришёл запрос, персонально под Евгению Адольфовну Цинк, выпускницу Карагандинского Политехнического института, и, за пару дней собравшись, она убыла к месту будущей работы. Там ей дали комнату в общежитии, отдельную, как и обещали, сказав, что временно и что как понаделают во Владиленинске домов побольше, тогда и она сможет на отдельное жильё рассчитывать, если всё у неё сложится хорошо, если не подведёт тех, кто в неё поверил.

14

Павел Сергеевич Царёв оказался в её КБ не по прямой надобности, а скорее в силу неугомонности своего характера, чтобы лично проконтролировать ход выпуска рабочих чертежей под ИСЗ «Полёт-6», контрольный пуск, носитель РН УР-200, испытание военного спутника-перехватчика. Перехватил заодно и Женечку Цинк, сотрудницу, чертёжницу от Бога. Словно собственная рука на ключе “Пуск” оказалась вдруг и сама же ключ тот повернула, разом, одним решительным поворотом. Просто понял – она. Почему понял – не стал вдумываться.

Её привезли к нему, как и было договорено, сразу после работы. Она даже не успела переодеться, поскольку не точно знала, в какой из дней он с ней свяжется. Знала бы – отказалась, наверное, от унылого жакета серой масти, или хотя бы сменила бы под ним блузку на чисто белую вместо этой ошпаренной. И голову сделала бы по новой, навернув в ночь бигуди вместо того, чтобы остаться один на один со вчерашней, уже не самой подходящей волнистостью.

Царёв, получив её согласие, тоже, разумеется, знал всё наперёд: что будет у них и как, поскольку принял для себя решение окончательно. Так у него было с ракетами, так было и со всем остальным. У него были большие права, и даже слишком: для своего дела он мог привлечь любого гражданина, и не было бы ему в том отказа. Сейчас ему нужна была Евгения Цинк, чертёжница.

Спорить и не соглашаться с ним пробовали с переменным успехом все, вплоть до номера Первого, которого гений Главного конструктора отправил туда, где никто до него не бывал. Уже начиная с номера Второго, последовавшего вскоре вслед за Первым, желающих оспорить любое его решение не находилось, даже в так нелюбимом им ЦК. Для них он был знак, символ, прорыв. И в то же время – непробиваемый щит и остро отточенная алебарда. Без него страна уже не могла обходиться, как обходилась раньше, теперь она зависела от Павла Сергеевича Царёва в самом прямом смысле. Он был *им* нужен, и он как никто другой это знал. Как и в той его главной жизни, всё, чего хотел, он добивался и в этой, и потому решение соединиться жизнями с Евгенией Адольфовной зависело уже не от обоих, а лишь от него одного. Как бы он к себе ни относился, как бы порой ни недолюбливал в себе свои ужасные недостатки, реально оценивая их пронзительно умной и ясной головой, он хорошо понимал в то же время, что победит любого или любую. Сейчас – конкретно её,

свою будущую жену, подругу на оставшуюся часть жизни.

А ещё хотел детей. И каждый раз сам себе говорил – нет. И не только потому, что за все предыдущие годы не мог себе позволить сложить жизнь свою и ещё чью-то в единое целое, – просто одолевали сомнения иного порядка, зародившиеся ещё до тюрьмы, владимирской шарашки, в лагере, на магаданской каторге, куда он, пройдя репрессии, испытав на себе жестокие пытки и формальный суд, длившийся чуть больше двадцати секунд, был отправлен собственной страной. И где сумел выжить лишь благодаря поддержке таких же зэков, поверивших в его мечту о космических полётах на Марс. Там он не умер и не был замучен лишь благодаря очередной случайности, которые преследовали его повсюду, но каждый раз оказывались для него счастливыми. Так было, когда он опоздал на последний в навигации теплоход, который погиб вместе со всем экипажем и пассажирами. Так было, когда сумел выжить, страшно болея цингой и перебиваясь случайными заработками, в Находке, откуда с великим трудом, через год мучений, добрался, наконец, до Большой земли.

С этой молодой женщиной, по существу, недавней студенткой, он хотел иметь детей – именно так сразу себе назначил. Девочку для начала, чтобы никогда не призывалась и не воевала ни с кем и чтобы не довелось ей испытать того, чего не положено испытывать живому человеку, особенно мужчине. Заодно понимал, что она, по сути, его последний звонок. Ему шестьдесят, и вряд ли он ещё встретит в жизни, уже неуклонно набирающей обратные обороты, человека, который станет для него единственным: просто не наткнётся на нужное, не совпадёт фазами, звёздами, самой этой чёртовой непредсказуемой судьбой.

За день до того, как позвонить Жене, Павел Сергеевич переговорил с Настасьей, накоротке, но предельно внятно. Сказал, пока завязывал галстук и одеколонился:

– Настюш, завтра у нас в гостях будет молодая женщина, её зовут Евгения Адольфовна. Приготовь, пожалуйста, стол, достойный, сервируй по-праздничному, с крахмальчиком, как ты умеешь, и ещё, прошу тебя, раздобудь подсвечник. Если нет свечей – достань, чтобы получился вроде как Новый Год без ёлки. И ещё сделай так, пожалуйста, чтобы мне ни за что не было стыдно, потому что я собираюсь на этой женщине жениться в самом скором времени. – Уже в дверях бросил, не оборачиваясь: – И постель перестели, положи свежее и крахмальное, чтобы звенело. – И, не дождавшись ответа, уехал.

Она же осталась стоять, где стояла. И пробыла в этом состоянии ещё с десяток минут или около того, по новой

впитывая в себя его слова, одно за другим, в очередь. В голове немного кружилось, но она устояла, не оперлась рукой о стену и не присела на пол. Просто выбрала себе щербатую точку на этом навощенном ею полу в прихожей и долго смотрела на неё, ни о чём не думая и ничего, кроме этой щербины, не видя. Вчера у них ничего не было, она прекрасно помнила. А было позавчера – он позвал, когда она укладывалась у себя, расстелив у него. Сейчас она догадалась, что, когда покричал ей через всё их длинное жильё в её оконечность, то уже, наверное, представлял себе на её месте ту самую, какая придёт другим днём. Так он на ней готовился к встрече с той. Или же, наоборот, через неё, Настасью, отводил от себя будущую страсть, чтоб не усердствовать с той, что явится, и не желать её пуще нужного, коль впервой у них случится это самое. В общем, если понятней, то отобрать у себя же мужского лишнего, чтоб не поломать и ей, и себе нежного и красивого. Не то чтобы Настя доподлинно знала, как там с этими делами у мужиков заведено, и чего они, сердешные, желают больше прочего, но именно такую чудную и нехорошую догадку подкинуло ей в эту минуту её женское устройство, так и не вызревшее до конца в отдельную самостоятельность.

Больше она ни о чём думать не стала, пошла исполнять порученное, готовя себя под этот непредвиденный крест. Свечей, каких она думала, в хозяйстве у них не оказалось, зато остального, включая поесть и крахмал, было вдоволь. Но она знала, где достать, если что, видала в одном совсем маленьком хозяйственном заведении. Но не пошла туда: подумала вдруг, что ведь вполне могла про такое и не знать, и тогда какой с неё спрос. Это был первый неосознанный протест домработницы против новой хозяйки той жизни, какая сложилась за десять лет верного служения Павлу Сергеевичу, отцу и господину, в счастливую, удобную и единственно возможную для неё привычность.

Женщину эту Настя ненавидела уже теперь, ещё не донеся и не коснувшись её своей нехорошей ненавистью, хотя головой-то понимала, что нельзя так, что не по Богу это, не по-людски: нет в том вины никакой и ничьей и нет у неё никакого права ни любить хозяина больше нужного, ни ненавидеть его женщину ни за что.

Женю доставили в квартиру Царёва точно по расписанию. Завели, представили ей Настю, а не наоборот, уже догадываясь, кто тут есть кто, и кто кем будет, и оставили дожидаться Павла Сергеевича, сказав, что он просил извиниться, но уже совсем скоро подъедет. Прежде чем пройти в столовую, она осмотрелась. Всё необходимое для удобной и качественной жизни в этом большом, чисто убранном пространстве имелось, это было ясно с

первого взгляда. Одно лишь сразу бросалось в глаза – отсутствие во всём этом чьей-либо заинтересованной в элементарном уюте руки. Впрочем, это было понятно: самому было не до того, тем более что жилище это никогда не рассматривалось в качестве основного. Женщина же эта, добрая, судя по виду, и хозяйственная, вряд ли озадачивалась соображениями иного порядка, кроме как вычистить, выгладить и подать. Сейчас она стояла перед Женей, не очень понимая, что надо в таких случаях говорить, но всё же, преодолев неловкость, решилась и вежливо, растянув ладонь, махнула рукой в глубину жилья:

– Проходите туда вон, присядьте, что ли, пока хозяин не приехал. И звать как не знаю вас. Я-то Настасья буду, если чего. Настя.

– А я Женя, – отозвалась гостья, – Евгения Цинк. Очень приятно, Настя.

Эта молодая женщина явно не вписывалась в картину, какую Настасья сочинила себе, ожидая её прихода. Всё не складывалось, даже вдвойне, туда и сюда: и в хорошую сторону, и во все остальные. Если начистоту, то вообще-то ей понравилась эта её приветливость, простота в манерах, хорошая улыбка. И даже отсутствие сколько-то заметного испуга или общей настороженности сыграло в пользу этой Адольфовны. Конечно же, она не забыла её чудно́го имени-отчества, но просто не пожелала с первого раза именно так её назвать. Может, подумала, сама чего скажет про себя, попроще, не такое, чтоб ртом не выговорить. Та и назвалась, как думалось ей, удобней и попроще.

А с другой стороны, поразила молодость: несмотря на строгую, без лишней вольности, одёжу и лицо без особых хитростей и затей, тем не менее, выглядела эта Женя почти как натуральная девчонка – такая, что хоть в крик кричи от досады и обиды. И не только потому, что и ладная, и кудрявится аккуратно белыми волночками, и присела на диван красиво, подобрав под себя ножки тонюсенькие. Больше из-за того, может, что подумала вдруг о Павле Сергеиче, глянув на его затею совершенно новым зрением. Как же так, он же умрёт на ней, поди, не потянет, не по годам ему молодую брать, она ж с него потом верёвки повьёт, когда к себе приучит и совсем уже приманит. И как понять, где тут доброе лежит в этих делах, а в каком месте лукавый притаился. И спросила, решилась:

– Трудитесь вместе, наверно? – и соорудила нечто наподобие ласковой материнской улыбки. Всё было на столе, накрытое под орех, остальное наготове, по приказу. Всё, кроме свечки. Подсвечником она всё же разжилась и демонстративно поставила его пустым, на самом виду, чтобы знал, что старалась и не

забыла: полдела – лучше, чем никак. Кровать тоже застелила свежую, как просил. Хотела иголку под подушку сунуть, с той стороны простыни, но в последний момент передумала, не решилась пакостничать, хотя и подмывало сделать с ней такое, с этой самой. Подумала, а вдруг и его заденет, и на здоровье отразится, не дай бог. Не рискнула.

– Не совсем так, – отозвалась гостья, – но, в общем, в одном направлении работаем, не так чтобы слишком далеко друг от друга. Правда, по разную сторону от основных дел. Но познакомились всё же по работе, так у нас получилось.

После этого общих тем уже не осталось. И тогда, преодолевая Настасьину неловкость, Женя поинтересовалась сама, больше из вежливости, имея в виду уточнить для себя некоторые детали хозяйского быта, не более того.

– А сами вы давно с Павлом Сергеевичем?

Вот тут Настю и перекосило, резко, от какого-то утробного, целиком охватившего её страха. Она уже знала, чувствовала уже, что всё у них получится, всё срастётся. Такое знание подсказало ей беспокойное жжение, исходившее из того места, где помещался желудок или какой-то соседний с ним орган жизни, смерти и боли. И она ему верила. Вопрос Евгении Адольфовны, не имевший под собой ничего, кроме учтивого интереса, Настя восприняла как единственно возможный способ её разоблачения перед лицом будущей хозяйки, если в ней теперь вообще останется нужда, и эта молодая не решит отлучить её от дома. Никакого другого дома в её жизни не было всё равно, и это означало бы смерть в подворотне или возвращение бетонщицей последнего снизу разряда без места понятного проживания. Она только собралась открыть рот, чтобы признаться в том, что гостья ошибается, и ничего такого сверх как убраться, погладить и приготовить, не было промеж них, даже если она в эти слова её и не верит. И если в том признался ей Павел Сергеич, очищая себе последнюю совесть перед законным браком, то скорей всего, это он просто так с ней пошутил, и шутка эта нехорошая, злая и невозможная дальше для разговора.

Однако ничего такого не понадобилось. Царёв энергичным шагом вошёл в столовую, склонил голову перед Евгенией Цинк и поцеловал ей руку. Всё было кончено, даже не успев начаться, прелюдия была сыграна, и финал её, не успев прозвучать, уже соединился с основной частью симфонии, минуя стадию плавного перетекания одной темы в другую. И теперь оба они знали это совершенно определённо, достаточно было лишь взглянуть друг другу в глаза.

– Руки мыла? – бодрым голосом поинтересовался он и

протянул Жене ладони, приглашая уцепиться за них и подняться с дивана. – Лично я – нет. Пошли мыть? А то у нас Настасья в этом смысле сильно неуступчивая, любит чистоту и порядок. – И засмеялся.

Глаза его лучились, улыбаясь уже окончательно по-свойски, без пустой игривости и любого лукавства, и сам он весь будто помолодел, подобрался, расцвёл. Ему показалось вдруг, что за прошедшие несколько дней эта девочка Цинк стала ещё лучше, ещё привлекательней и естественней, хотя не успела даже произнести и слова. И он ей нравился, но уже по-настоящему, по-честному – не как снизошедший до неё Бог, а как сильный, с совершенно неземным обаянием мужик, с крепкими плечами, умной и сердечной улыбкой и на удивление родными интонациями в голосе, давно, казалось, и хорошо знакомом ей.

Она ничего не знала про него: женат он или ещё недавно состоял в браке, и что означают те самые слова про «взаимность» в его письме: что конкретно имеется в виду, если понять из этого можно всё что угодно, когда у женщины хватает фантазии. И есть ли у него дети, и чего он хочет от неё, если отбросить всё ветреное и случайное, и желает ли он этого вообще или это, возможно, прихоть, игра, каприз или причуда выдающегося человека, знающего, что не откажут, что нет такого права у земных человеков отказывать небожителям, чего бы те ни возжелали.

В тот вечер они просидели долго, наверное, значительно дольше того времени, которое по обыкновению отводят умные и самодостаточные мужчины на то, чтобы, добившись полного подчинения, красиво соблазнить женщину. Про свечку эту он даже не вспомнил, чем немного огорчил Настасью, которая всё то время, пока Павел Сергеевич беседовал со своей гостьей, подавала им, следя за холодным, горячим, запивочкой, испытывая волнительное беспокойство насчёт того, что вот-вот ей прикажут свечечку эту несуществующую запалить. Однако он так и не спросил, и это лишний раз кольнуло её далёкой обидой. Стало быть, подумала она, так уже повело его, что ни до огней застольных, ни до чего ему теперь, кроме этой чёртовой Цинки.

Он, пока ужинали, ничего не рассказывал Жене о том, чем сейчас занимается конкретно, да она и не спрашивала – оба всё прекрасно понимали. Разве что упомянул о предстоящих в скором времени очередных запусках, сказал, кто, когда и в каком составе – так было можно. Относительно фактов личной жизни просто дал понять, что никогда не был серьёзно женат, что мечтает о детях, для начала о девчонке, а там как Бог даст. Она в ответ кратко поведала о своём детстве в каражакальской степи, об отце-

маркшейдере, о сгоревшем дотла спаслугорьевском родовом гнезде, которого она никогда не видела, но о котором не перестаёт думать её отец, художник-самоучка. А ещё сказала, что немка по крови и что именно так себя и ощущает, русской немкой, – помня, однако, про то, что сделали с её народом в сорок первом, хотя лично её семью то ужасное событие не затронуло, им повезло, если не считать пожара. Потом пригубила вина и добавила:

– Я хочу, чтобы вы об этом знали, Павел Сергеевич, иначе получится, что я вам чего-то недоговариваю, а мне бы этого не хотелось. И вам, мне кажется, тоже.

Он тоже сделала глоток.

– Спасибо, что упомянула об этом, правда. – Чуть помолчал и спросил: – Ты ведь останешься, да?

– Да, – просто ответила она, уже зная, что именно так, именно такими словами он её об этом спросит, – останусь.

– Знаешь, что ты нужна мне надолго? – снова спросил он её. – Навсегда?

– Знаю, – отозвалась она. – Я это знаю с того дня, когда ты заставил меня высунуть голову из-за кульмана, чтобы сейчас оказаться здесь.

Он подал ей руку, и они синхронно поднялись. И, не разрывая рук, пошли в его спальню.

Потом была ночь. Их ночь, его и её, будущих супругов, Павла Сергеевича Царёва и Евгении Адольфовны Цинк: первая из тех, что они провели в его служебной квартире в закрытом для рядовых граждан посёлке Владиленинске, расположенном недалеко от полигона, откуда стартуют в космическое пространство носители, ракеты, спутники, космонавты и корабли. Всё, что отрывалось от земли, ища себе путь к звёздам, принадлежало ему, невероятному человеку, впустившему этой ночью в свою жизнь русскую немку Женю Цинк, чертёжницу, дочь своего отца, про которого она только думала, что знает всё.

Утром он сказал ей, когда они завтракали:

– Наверное, приличия требуют, чтобы ты известила отца о наших планах?

– Да, конечно, – ответила Женя, всё ещё с трудом переваривая в себе потрясения прошедшей ночи. Слишком уж неправдоподобным казалось ей теперь то, что ждало её впереди. Однако она старалась не выказывать волнения, оставаясь рассудочной и спокойной. – Через два дня я в отпуске, съезжу к папе, поговорю с ним, так и так собиралась в Караганду. Иначе, ты прав, неудобно как-то получится, отец имеет право знать обо всём заранее, даже если я всё решила сама, без его

благословения.

– Поезжай, – сказал он, – я дам машину, туда и обратно, скажи только, когда, ладно? – И улыбнулся, одновременно проговорив по слогам, шутливо, но серьёзно: – Я лю-блю те-бя, Цинк.

– Я лю-блю те-бя, Пав-лик, – прошептала она в ответ, тоже по слогам, но так, чтобы он услышал. Он услышал и вновь отыграл это лицом.

Для неё было довольно непривычно и даже странно обращаться к нему, шестидесятилетнему, в такой манере, но ей казалось, что он этого хочет, что он соскучился по близости, и не вообще, а именно той, которая установилась теперь между ними: чувственной, доверительной и ничуть не притворной ни с какой стороны.

– Кефиру принеси, Настась, – бросил он через плечо, заметив боковым зрением домработницу, осторожно сунувшую нос в столовую в ожидании хозяйского распоряжения.

– И чистые стаканы, если можно, – уточнила Женя, – лучше тонкого стекла, если у нас такие есть.

– Несу, – угодливо отозвалась та и исчезла, поджав губы, однако сделала это так, чтобы не заметили.

15

Ей выделили газик с водителем, полигоновский, из числа ещё не окончательно убитых местным бездорожьем, и она поехала к отцу, как и рассчитывала, недели на две. Хорошо бы, подумалось ей, папа на это время тоже добыл себе отпуск и мы смогли бы всё это время провести вместе. Она скучала по отцу, по-прежнему его любила, несмотря на то, что годы, пока она училась и жила отдельно, заметно отдалили их друг от друга. Правда, для этого существовали вполне понятные причины: она жила студенческими заботами, и навещать его ей удавалось не слишком часто, разве что заезжала по воскресеньям, да и то не каждый раз. Она быстро взрослела: сказывалась, вероятно, школа подростковой жизни в меднорудном посёлке, когда для того, чтобы тамошняя жизнь не сделалась окончательно тусклой и беспросветной, ей приходилось устраивать самой себе уроки выживания, выискивая какие– никакие удовольствия в этой забытой цивилизацией степи.

Пробовала то и это: одно время увлекалась стихами, читала всё подряд из того, что удавалось добыть, но в основном всё начиналось и заканчивалось тем же вечным Пушкиным, годами одиноко пылившимся в скудной поселковой библиотеке, не имея спроса среди местных. В объёме свыше школьного были ещё Некрасов и Лермонтов. Выучила, помнится, «Вот парадный подъезд, по торжественным дням…», а потом «Но я люблю – за что, не знаю сам – её степей холодное молчанье, её лесов безбрежных колыханье, разливы рек её, подобные морям…». Холодное молчанье… – тогда она впервые задумалась и даже в какой-то мере поняла, почему папа так часто ходит в эту пустошную степь и часами остаётся там, рисуя все эти травы, пыльные бураны и синюшные волошки.

И правда, если прикрыть глаза, то представляешь себе разом всю картину, со всей её холодной сдержанной красотой, с потайной, почти невидной, даже если пристально всмотреться, жизнью её обитателей, про которую, если не знать, то никогда и не увидишь. Папа же видел всё, не упуская самой малой детали, она про него это знала и потому искренне любила и его главное дело. Честно пыталась вникнуть в его работы, ухватить саму суть. Она подолгу всматривалась в эту притушенную, разбелённую маслом степь, уже чуть другую, не ту, которую знала сама, а ещё более скудную, бесцветную и оттого довольно безрадостную.

В этом и есть красота, считал отец – не в похожести, не в попадании в истинный цвет и свет, близкий к натуральному, а в

том, как устроена у человека голова, как умеет он воспринимать окружающий мир: что может человек домыслить и вообразить, видя реальное, ощущая биения своего сердца, унимая дрожь в коленях, чувствуя холод, расползающийся по хребту. Говорил, нужен лишь художественный намёк: зрачку, душе твоей, сердцу – повод к самовыражению, а дальше уже включается талант, он и поведёт, куда нужно. И вовсе необязательно, чтобы путь этот, как и конечная цель, совпадал с чьим-то ещё представлением о прекрасном и вечном; для художника это не так уж и важно, однако если такое произойдёт, то счастлив он будет вдвойне оттого, что кто-то понял и разделил с ним способ его художественного видения. Тогда же она и написала, в тот год, когда начала уже более-менее серьёзно вникать в отцовские работы: «С какой начать, с которой/ из тайн, что геометрий,/ кругов, квадратов, линий/ и всех законов вне – / что рождены опорой,/ подвластной только ветру/ да поднебесной сини,/ но не подвластны мне…»

В книжках, относившихся к поначалу надоедной классике, что ей приходилось читать, каждый герой непременно являлся типичным представителем чего-нибудь, и, кроме самой обычной человеческой, тащил на себе ещё дополнительную нагрузку, каждый раз странным образом совпадающую с линией партии и правительства. Это утомляло, заставляя, в отсутствие настоящих, выдумывать себе собственных героев. Дед Иван, кстати, был для неё такой герой: молчун, неутомимый трудяга и безропотный помощник отцу в деле воспитания её, маленькой Женьки. А главное, он, будучи для неё просто хорошим, добрым дедушкой, не предлагал никакого образа, кроме своего собственного, настоящего, пахнущего тёплым, вкусным и пожилым запахом рубашки, рук и бороды. Он и рассказал ей про сгоревший в пожаре спаслугорьевский дом, про их удивительную, ни на что не похожую сибирскую природу, про разливные реки, которых она никогда не видала, про заливные луга… Наверное, те самые, из лермонтовского стиха?

Эти нескончаемые мысли одолевали её, пока их космодромовский, с брезентовым верхом газик трясся по удушающей жаре, пересекая казахстанскую равнину, минуя условно населённые пункты и делая редкие остановки, чтобы они напились и подышали уже не таким запылённым воздухом в том месте, где эта всепроникающая пыль от выжженной земли, поднятая и мотаемая по низу степи здешними неугомонными ветрами и просачивающаяся в их автомобиль через какие только возможно щели, несколько оседала и не так набивалась в рот и глаза.

Ехать предстояло чуть больше семисот километров, и она, подумав, поначалу отказалась, слишком уж длинный путь, решила, лучше на поезде и на перекладных. Однако Царёв настоял, сказал, за день доберётесь, я распоряжусь, чтобы лучшего водителя дали, самого опытного, и машину подберут поновей, так что не капризничай, девочка моя, езжай. И позвони оттуда, когда обратно присылать, а, может, ещё и вдвоём вернётесь? Я насчёт пропуска позабочусь, дам команду.

В общем, поехали они, хотя и паренёк оказался не так чтобы опытный, всё больше путался и в растерянности чесал нос. Да и газик, что дали, считай, на ладан дышал. Она тогда, уже мало чему удивляясь, сделала для себя ещё один промежуточный вывод, что, как ни велик он сам по себе, её Павел Сергеевич, будь хоть золотой и платиновый, а только всё равно выйдет любое дело не по уму и не по приказу: попутают чего средние звенья или переиначат по-своему нижние – таков закон нашей жизни. Наверное, в силу этой причины, несмотря на всю власть и данные ему права, Царёв изжигал себя больше нужного, психуя по мелочам, не доверяя никому и перепроверяя всё лично. Когда она осталась у него снова, уже на другой день, он приехал прямо с площадки, а до этого был в сборочном цеху, смотрел, что там у них с подготовкой к запуску. Так прямо на его же глазах сваркой обшивку корпуса пропороли; сборщик, из лучших, самый-самый, а вот взял и промахнулся – на неделю запуск пришлось отложить.

Он вернулся совсем поздно, уставший, издёрганный, несмотря на то, что с утра был на подъёме, просто летал, всех в тот день удивил какой-то своей новой лёгкостью, непривычной весёлостью, какую в нём давно не замечали. Обнял её, прижал, в лоб поцеловал и в темя. В тот день её снова привезли к нему после КБ, она так и не доехала пока ещё до своего общежития, даже не могла переодеться, но он настоял, не хотел, видно, расставаться даже ненадолго. Мимоходом Настасье слабо глазами сделал и кивнул, поприветствовал, но не больше. Потом как бы отстранился, ноздрями подышал, как бык перед броском, и ни с того ни с сего заорал вдруг, как безумный, но только слишком для сумасшедшего отчётливо разделяя слова и рубя этими словами воздух со всего размаха и до упора, будто не она была перед ним сейчас, его Женька, а начальник смены сборочного цеха:

– К чёрту! К чёртовой матери всех их, полудурков! Сколько раз говорил им, этим идиотам, никакой сварки на сборке, ни-какой и ни-ког-да! Так нет, плевать хотели на слова, им дыру прожечь лучше, чем под сверло, понимаете! – он выдохнул и, уже приходя в себя, с извинительной интонацией в голосе пояснил, –

так они говорят мне: ошибся, бывает, мол, Пал Сергеич, и жена у него опять же на сносях, третьего ждут, и жильё на подходе, восемь лет по углам маялись, ждали, и коэффициент уже вот-вот почти набрал. И людей не хватает, сами знаете, кому охота комарьё в пустыне нашей кормить за так. – Он снова обнял её и снова прижал к себе. Сказал уже почти нормально, как разговаривал всегда: – Ну и скажи мне после этого, как с ними в космос летать, а? Разве что позориться в очередной раз?

Она не знала, что он имел в виду, произнеся последние слова. Зато уж точно понимала, что мало кто пребывал в курсе разных его бед, кроме посвящённых. Могла предполагать лишь, что не всё было гладко там, не всё и не всегда. То, что знали все, когда трубило радио и призывными заголовками пестрели газеты, когда из каждой дыры и с каждой сцены пелось и вещалось про космические достижения и победы, про незнакомые миры и пыльные тропки далёких планет, куда вот-вот вступим уже по-хозяйски… Когда с игривым пионерским задором взбадривали по утрам народ, с цветастой улыбкой вплетая в уши его бойкие куплеты из чёрно-белого телевизора, синхронно покачиваясь влево-вправо всем мужским квартетом с общим, нацеленным в звёздную даль, лукавым взглядом… «Корабль считает метры по спирали, сегодня космос тот же, что вчера, нас помнят на земле ещё едва ли, но возвращаться всё же не пора… О-о-у-о… Ау-ау-а-а…»... Всё это вовсе не означало, что в этот же самый момент не взрывался на старте очередной ракетоноситель, не валились обратно на стартовую площадку разрушенные ступени, разбрасывая горящие обломки на километры вокруг, не задыхались живые люди, не отказывало трижды проверенное оборудование, не измерялись десятками, если не сотнями, аварийные запуски баллистических ракет и летательных аппаратов всех видов и назначений…

Потом была вторая их общая ночь, и Женька снова ощутила, как бешено он её желает, как не насытился он ещё её телом, её молодостью, её жизнерадостностью и чистотой, её ответной к нему страстью. Ему нравилось смотреть, как она раздевается, он этого не скрывал, смотрел молча и неотрывно, а она стеснялась, ей было неловко, она ещё не успела привыкнуть к нему, к его дому, к этой постели, к тому, что за ними исподволь наблюдает его домработница и, скорей всего, осуждает её про себя, однако не смеет показать виду. И что вообще могло такое случиться в её жизни, но, несмотря ни на что, случилось. Она дёрнулась было погасить свет, но он остановил её движением руки, как бы призывая своим жестом продолжить делать при свете то, что она, испытывая стеснение, и так делала. Однако, догадавшись, что

доставляет ему этим ещё одно удовольствие, Женя стала делать это медленней, тормозя своё же нетерпение, приглашая тем самым Царёва разделить с ней её волнение, начавшееся в тот момент, когда они поднялись из-за стола, оба зная уже, куда сейчас пойдут и что станут делать.

Ему ужасно нравились изгибы её тела, её стройные, уже освободившиеся от чулок ноги, каких он не помнил уже чёрт знает сколько лет, её лёгкая, двумя славными колышками трогательно вылепленная грудь с крупными тёмными сосками, её тонкая шея, с маленькой родинкой сбоку, которая была заметна, когда она, нагибаясь, отбрасывала в сторону волны своих светлых кудрей. Ему нравилось, что она всё ещё смущается его, как бы невзначай прикрывая грудь ладонями и семеня к его постели, не изменив позы, вполоборота к нему. Она была его женщина, он сразу понял это, как только её увидел. Сам же он, пожилой и бесстыдный майский жук, утративший всякую способность ухаживать за женщинами, теперь лежал перед ней голый, на спине, распахнув жёсткие створки своего панциря, со взведённым в боевое положение курком, не делая даже слабой попытки прикрыться хотя бы на то время, пока она не приблизится к нему и они не обнимутся. Потом уже всё станет неважным.

Она гладила пальцами эти трогательные светло-рыжие конопушки, обильно, словно весенним солнцем, рассыпанные по его широкой спине, она касалась редких седых волосков на его груди, она навивала их на пальцы, после чего отпускала, выдёргивая мизинец, и они тут же распрямлялись обратно. Он млел, это было видно по тому, как не хотелось ему, проснувшись рядом с ней, отрывать её от себя, чтобы в очередной раз, миновав процедуры привычного, похожего одно на другое утра, вновь затянуть на шее первый попавшийся под руку галстук, наодеколонить голову чем придётся и ехать к месту главной жизни. Что бы ни было, но Павел Сергеевич знал, что она есть и всегда будет для него главная: не эта, а та, какие бы чувства ни мешали ему теперь думать о ней именно так. Да и не думал, если уж на то пошло, никогда. Просто жил, истово занимаясь делом, к которому его привёл его личный Бог. Сам же, атеист до мозга костей, не стал он тому Богу противиться: откинул всё неважное и двинул вслед указке, которая, прежде чем привести Царёва сюда, к этому последнему берегу, сначала немало покружила его по дебрям и глухоманям, затем, ударив с размаху, столкнула в обочину, после чего вытащила обратно и вновь указала перстом на главное дело жизни.

Евгения Адольфовна прекрасно об этом знала и потому сомнениями не терзалась, ко всему была готова. Он был гений, и

это надёжно означало, что Богу было Богово, остальным – что осталось от него. Но кто была сама она, если оглянуться и посмотреть на себя новым зрением? Почему он, мученик, баловень судьбы и практически небожитель, выбрал её, а не другую? Сколько сама себя помнила, и насколько эту её особенность подмечали другие, Женька всегда отличалась повышенной толковостью. Точней говоря, своей удивительной, универсальной способностью к любому ученью. Светловолосая голова её, завитая или нет, имела свойство схватывать ученье налету и походя раскладывать предмет по косточкам, размещая каждую из них в отдельно устроенной мозговой ячейке. Дед, Иван Карлович, всегда говорил, что виной тому не сама голова, внучкина или любая другая, а исключительно немецкий подход к делу, зависящий прежде всего от аккуратности и порядка. Ну и сам труд, конечно. Только после этого уже идут мозги, которые без надлежащего уложения в какой-то момент могут просто с лёгкостью перестать подчиняться добрым и правильным сигналам, начудив всякого, о каком бы пришлось сожалеть и раскаиваться весь остаток жизни. Приводил примеры из своих, часовщицких, дел. Смотри, говорил он Женечке, выкладывая перед ней бесчисленные малипусьные колёсики, винтики и пружинки часовых механизмов. Вот, даже если и понимает голова твоя, как сложить их, чтобы всё это, разрозненное и рассыпанное, заработало, затикало и побежало по кругу, не отклоняясь ни в какую неточность, это вовсе не означает, что человек знает, как, в какой последовательности, с каким нажимом и чего не упустив из виду, добиться правильного хода. Опыт, моя хорошая, чистота самого дела, внимательность к своим же собственным рукам, забота о том, чтоб получилось у тебя надолго, на века, – только это может дать мастеру добрый результат, да и то лишь когда одно сложится с другим.

Женечка с дедом соглашалась, кивала, с недетской серьёзностью морщила лоб, выражая таким манером своё понимание, согласие с дедовым наставлением, однако применить на практике любое придуманное ею начинание было негде. Жизнь в степном месте, в отрыве от людей и по-настоящему больших дел не приводили дедушкины советы ни к каким практическим последствиям, и об этом она потом жалела не раз. В частности, о том, что, не пересилив своё недоверие к книжкам, про которые им вечно долдонили в школе, она не попробовала вникнуть в их содержание, в суть, и даже хотя бы в форму, отбросив пустопорожние слова про типичных представителей. И оттого, наверно, те колёсики и пружинки, из которых она, бывало, в порыве сочинительского приступа иногда собирала свои

несовершенные рифмованные строчки, в итоге рассыпались, и время, которое с их помощью она рассчитывала узнать, оказывалось таким же пустым, как и вся её изначально ветреная задумка.

Пушкина она читала уже потом, когда училась в карагандинском Политехе, – взахлёб, практически всё, что могла добыть. Глотала строчку за строчкой и думала, какой же дурой была, что не пыталась постичь этого раньше: глядишь, давно бы, наверное, сочиняла и сама, и не те, по сути, случайные вирши, какие удалось ей накатать в промежутке между другими делами и просто бездельем, а нечто серьёзное, глубокое, большое, что затронуло бы ум, душу, что, возможно, заставило бы и прослезиться, соединившись с ней так, как отец её умел соединять себя с природой и своим самостроченным холстом.

«Капитанская дочка», перечитанная и переосмыслённая, привела её даже не в восторг – скорей в некое замешательство. Оказалось, что можно теми же русскими словами описывать красоту природы, людей и всю остальную жизнь совершенно иначе, нежели выходило у других, кто также брался за это дело. В какой-то момент ей даже показалось, что пушкинский текст напоминает чем-то картины отца: ни одного ненужного штриха, ни одной лишней детали, предельный художественный лаконизм, точность, отсутствие пышных эпитетов и рыхлости текста и изображения, максимальное сжатие фабулы у одного и сдержанность, немногословная выразительность композиции у другого. Она даже читала потом, в мыслях невольно сравнивая и приставляя одно к другому, затеяв своеобразную игру ума, что ей самой чрезвычайно нравилось.

16

Потом она всё же уступила доводам Павла Сергеевича, когда окончательно собралась к отцу, а заодно и придумала себе, если получится – завернуть по пути в Каражакал, коли сделается им попутный ветер и поедут они хорошо, без приключений, да подышать часок-другой воздухом детства, заглянуть в свою школу и, если повезёт, встретить кого-нибудь из прошлого соседства.

Паренёк-водитель, и так виноватый больше некуда, круг этот невеликий сделать согласился, тем более что и отдохнуть немного обоим им было не во вред, сделав передышку от тяжёлой дороги.

Нашли на этот раз быстро, долго плутать не пришлось. Сначала она увидала перед собой макушку комбинатской трубы, затем они миновали указатель на колонию строгого режима, после чего через десяток минут глазам её открылся Каражакал, посёлок детства. Там уже она ориентировалась легко, память кратчайшей дорогой вела её к месту прошлой жизни. Барак, стоявший на отшибе, в котором у них с отцом и дедом была квартира, – если так можно обозначить отведённую для семьи маркшейдера Адольфа Цинка торцевую часть коридора, отгороженную от остальной его части тонкой, пропускающей даже малые звуки и наспех сколоченной стенкой, и дальше уже столь же рукотворно выполненными перегородками внутри пространства – на этот раз выглядел совсем ужасающе. Он был просто забыт и заброшен. Крыша его провисала на догнивающих деревянных стропилах, шифер истлел, раскололся, затянулся ржавым налётом и наполовину провалился внутрь образовавшихся в перекрытиях зияющих дыр. Какие-то окна были заколочены крест-накрест, какие-то безрадостно смотрели пустыми глазницами на иссушённую степь. Вдоль целиком просевшего фундамента тянулись скудные степные ковыли, пробившиеся наверх меж осколков битого стёкла и отдельных островков повсюду рассыпанного щебня и бетонной крошки.

– Приехали, мать твою, – не смог удержать удивления водитель. – Как же вы жили тут, говорите? Тут не жить, тут стреляться впору, где ж мы теперь отдохнём-то с вами – под завалом этим, что ли? Даже водички – и то нету никакой, не то чтоб полежать хотя бы.

– Подожди здесь, – сказала ему Женя, не обернувшись, и, приподняв низ платья, осторожно шагнула за порог барака. С того момента, как они навсегда покинули это место, минуло с небольшим довеском всего-то около пяти лет, однако картина

эта, напоминавшая собой остатки полигонного строения после испытания на устойчивость к ядерному взрыву, никак не укладывалась в сознании, не желала соединяться ни с какой частью её прошлого. Честно говоря, она рассчитывала зайти, вежливо улыбнуться новым жильцам, сказать, что жили тут, что практически здесь она и родилась, выросла и выучилась на медаль. Затем попить под это дело чаю и выяснить, как лучше добраться до поселкового кладбища, чтобы навестить могилу старого Цинка.

Для того, чтобы добраться до торца барака, надо было миновать этот длинный коридор, вернее, то, что от него осталось. С трудом преодолев завалившиеся балки, перешагивая через ошмётки дранки, куски оборванных обоев, изувеченные двери, сорванные с петель и брошенные тут же вместе с другим мусором, она кое-как наконец достигла места расположения их бывшей квартиры. Входной двери не было, как не осталось внутри этого когда-то жилого помещения ничего, кроме… кроме того, что предстало перед её глазами, от чего она вздрогнула и взялась рукой за дверной откос соседнего проёма – просто, чтобы удержаться на ногах. Повсюду, в хаосе и беспорядке, изгаженные, смятые и обожжённые, где придавленные мусором, в раскуроченных рамах, а в большинстве своём вовсе без них, валялись останки когда-то написанных или нарисованных Адольфом Ивановичем работ. Евгения стояла и молча смотрела на них, едва удерживая равновесие, у места их прежнего обитания в конце этого длинного, переломанного и изгаженного пространства, служившего когда-то барачным коридором.

Она пробыла в неподвижности ещё какое-то время, добирая последние кадры этого варварского разорения. Затем она тем же путём, но ещё более неуверенно переступая через мерзость, вернулась обратно. Парень сидел на замусоренной земле – всё было лучше, чем пережидать порученную ему даму в душной серёдке своего газика. Не дожидаясь вопросов, она коротко бросила ему:

– Заводись, на кладбище поедем.

Парень вопросительно вскинул глаза.

– Какое ещё кладбище? Тут, считай, кругом сплошной могильник, сами не видите? Живых кругом никого, это ж брошенное место, ясное дело, мёртвое. И чего ехали только, лучше б уж на Караганду напрямую, без этих заворотов.

– Рот закрой, – сдержанно сказала она, сама себе удивляясь. Раньше она такого позволить себе не могла, да и не было никогда в её жизни нужды изъясняться в подобной манере. Но теперь это было можно, потому что из этого знойного, наполненного мелкой

пылью воздуха, который сдавливал голову, выкачали, как ей теперь казалось, весь кислород, оставив для дыхания лишь один углекислый газ.

Но в тот же момент до неё дошло, достучалось, и на какое-то время слова паренька, как и собственная, незнакомая ей прежде невежливость, заставили её выйти из анабиоза, в который вогнала картина увиденного. И на самом деле, пока ехали, она не встретила никого из тех, кто раньше, так или иначе, обитал на краю их посёлка. Признаков жизни в отдельно раскиданных неподалёку домах, с которых начиналась старая застройка, тоже особенно не наблюдалось. Кладбище – она хорошо это помнила – отстояло от посёлка не так далеко, разместившись в открытой степи. Туда и указала ему, по объездной дороге, короткой, чтобы не через посёлок. Впрочем, того не ведала ещё Евгения Адольфовна, что истощившиеся в этих местах меднорудные залежи вскоре после того, как Цинки оставили Каражакал, сделались причиной всего, свидетелем чему она теперь стала. Но только получилось не сразу и не абы как. Сначала, как водится, элементарно ошиблись в геодезии, зондируя недра, и, базируясь на ошибочных данных, решили расширять разрез, для чего и было принято решение о перенесении кладбища, подпадавшего своим расположением под будущую вскрышу. Ну а после, когда разобрались окончательно и подсчитали, прикинув и сравнив расходы по транспортировке до ГОКа остатков руды с убытками по содержанию посёлка, то вопрос закрыли, насовсем. Кто успел – перетащил останки на другое место, кто не чухнулся, или же так об этом и не узнал, как Цинки, остался с тем, что им оставили: недавнее захоронение, не успевшее даже обратиться в прах, было погребено теперь под одним из отвалов пустой здешней породы.

Пока добирались до следующей точки, думала об отце. Только теперь Женя поняла, что именно увидел тогда Адольф Иванович, вернувшийся забирать остатки их семейного имущества. И что испытывал, когда, преодолевая себя, врал ей, что нашёл превосходное место неподалёку, уже после их переезда, для складирования творческого наследия. При этом давил из себя улыбку, не хотел её огорчать, не желал двойного ужаса, опрокинул беду лишь на себя. Она поняла это, и у неё сжалось сердце: от жалости к своему неприкаянному отцу, от своей же к нему любви и ещё от того, что за те годы, пока училась, живя отдельно, отстранилась от него, пускай и невольно, без всякого нехорошего расчёта, а просто по молодому недоумству, сложенному с вечной нехваткой свободного времени.

Следующий по очерёдности удар ждал её в том месте, куда Евгения Адольфовна намеревалась добраться и добралась-таки.

Но только ни самого погоста, ни каких-либо признаков того, что он вообще когда-либо располагался на этом месте, не осталось. Посёлок, видневшийся неподалёку, казалось, всё ещё был, хотя и не чадил больше своей комбинатовской трубой. Кладбище же исчезло, будто и не начиналось. На месте его, перекрывая собой бывшую топографию, тянулась карьерная вскрыша, тоже, как видно, начатая и брошенная. Всё. Больше ничего и нигде не было, кроме покалеченной степной почвы, разодранной вскрышным работами, местами где-то собранной в отвалы пустой породы, а местами переросшей в небольшие неровные холмы, уже успевшие затянуться репейником, тощим мхом и кое-где пятнами случайного для их местности степного карагана. Под ними, судя по всему, и догнивали не перезахороненные останки её деда, Ивана Карловича Цинка, русского сибиряка древних немецких кровей.

Этого отец ещё не знал и не мог знать. Оба они, конечно, собирались со временем навестить дедову могилу и не раз об этом говорили. Но в то же время отец с дочерью понимали, что сделать это теперь будет не так просто, учитывая личные несовпадения по времени и принимая в расчёт сложность преодоления этого непростого пути. Перекладывали на потом, правда, не забывая вернуться каждый год к разговору о покойном Иване Карловиче и насущности этой поездки. Но теперь уже и не придётся, подумала она в тот момент, когда они снова тронулись в путь, покидая этот бесповоротно умирающий посёлок её детства. Но тут же, когда проехали с десяток километров, она поняла вдруг, что именно ей, а не кому-либо, предстоит сообщить отцу о деде. Он же, папа, выбрал тогда для себя вариант утаить, отмолчаться, закрыть в себе свою боль, умять в самый низ и никогда больше не вытаскивать.

17

Он и на самом деле необычайно тосковал последние пять лет, особенно если порой сравнивал получившуюся жизнь с той, на степной ещё земле, рядом с отцом и взрослеющей на глазах дочкой. Та его жизнь, довольно скудно устроенная и, в общем, такая же невесёлая, была, по крайней мере, оплодотворена художественным занятием, заботами о Женьке и опекой над стареющим отцом. И эти хлопоты, так или иначе, но всё же удобряли собой его унылое житьё, отвлекали от разных дум, нередко счищая наслоения того постороннего, что не давало ему забыться и простить, вынуждая вновь и вновь возвращаться памятью к прошлому. Иногда он думал о том, почему это так, ведь ни самого его, ни членов его семьи, если не считать спаслугорьевского пожарища, по существу, не затронули антинемецкие настроения и репрессии. Все они, Цинки, вполне успешно сумели их избежать, к тому же ни от кого не хоронясь и никак не оберегая себя, как это делали иные соплеменники, чувствуя злокозненное отношение к себе власти и отдельных граждан.

«Война ли тому виной, – спрашивал он себя, – или же это всего лишь заурядная людская низость, людское недоверие, само устройство человеческой ненависти и человеческой природы? Почему одни не любят и не признают других лишь за то, что те родились с непохожей фамилией? Или же дело не в ней, а в той глупой, бездарной, ничуть не оправданной зависти к превосходству немцев в духовном и нравственном отношении, несмотря на их же известную всем жестокость, деловитость, целеустремлённость и предпочтение порядка всему другому? Но ведь те, кто родились здесь, были вскормлены и взросли под русским солнцем, будучи уже по природе своей, за редким исключением, православными русаками, самыми обыкновенными, как все. Они и крестятся тайно от власти справа налево, а про другое даже не задумываются. Или, быть может, просто всё дурное ненавидит всё хорошее, и так было всегда? Но тогда отчего же так, что русский – это всё хорошее, а немец – плохое, и никакое больше; кто такое про них напел, какой чёртов мыслитель вынес подобный вердикт? Или ненависть к ним лежит глубже, и искать её следует в собственных недостатках тех, кто просто слепо ненавидит, в силу скудости убогого ума?

Я не хочу, – продолжал думать Адольф Иванович, – чтобы меня любили, я просто хочу, чтобы они оставались ко мне равнодушны, всё остальное пускай зависит только от меня, от

нас, от любого человека, с даром или без него, с сердцем, с душой или совсем без них. Я русский, размышлял Адольф Иванович, русский немец и больше никакой, но только я не признаю плеть и не терплю барина, но я же и не готов взяться за дубьё. А себя, если им нужно, пускай восхваляют, как кому нравится, мне до этого дела нет».

После того как он отказал себе в занятиях живописью, покарав, за неимением реального объекта, самого же себя, жизнь его окончательно выложилась в череду вяло текущих один за другим и почти неотличимо схожих дней. Особенно чувство собственной неприкаянности усилилось с отъездом дочери. Та, уезжая, сказала на прощанье, что будет писать и звонить, его же приезд к ней всё ещё пока неясен из-за того, что место для въезда закрытое и она пока не знает, каких усилий будет стоить получение нужного разрешения. Сама же приедет не раньше, чем через год, в свой первый отпуск. Он даже снова пожалел, что не стал возражать и отговаривать её от того решения, да еще не на инженерскую ставку. Дочь-инженерша, как ни посмотри, звучало куда убедительней, чем дочка-чертёжница. Однако было поздно, он остался в этом городе один.

Работал там же, в проектном институте, будучи, при отсутствии законченного высшего, всё тем же старшим техником, однако выполняя при этом работу ведущего специалиста. Иногда находили способы доплатить ему, то так, то сяк, через завышенные, насколько удавалось, разовые премии, или по итогам квартала, но больше разводили руками, оправдываясь, что закон не на их стороне и выше копчика не прыгнешь. Зато ценили чрезвычайно, всячески намекая, что без него теперь уже никуда, без его светлых мозгов и так ловко, по делу набитой руки.

До пенсии оставалась ещё уйма лет, и в каком-то смысле это обнадёживало, избавляя от мысли о том, что последует вслед за этой самой пенсией, когда она таки случится. Безрадостная перспектива проводить целый день одному в коммунальной девятиметровке на первом этаже с вертикально вытянутым, нестандартно обуженным и вечно зарешёченным окошком с видом на тусклую, безрадостную стену, заставляла его сжиматься и тут же искать быстрого повода подумать о другом. Например, почему его комната, хотя и было обещано, так и не превратилась в отдельную однушку. «Быть может, – думал он, – всё это оттого, что и там, где выписывают ордера, смотрят на фамилии будущих жильцов. Или ещё по той причине, что так и не удосужился повоевать против немецко-фашистской гадины? Не убил и не поранил ни одного немецкого оккупанта, ссылаясь на свои нетипично толстые линзы? За это же самое, может, и пожгли, и

изорвали, предварительно изгадив?»

Иногда снились сны. Всякий раз очередной сон его начинался с какой-нибудь картины, но только не из числа когда-то написанных им, а с другой – той, в которой он себе когда-то отказал, и потому теперь она уже не обязательно была цветной. Но зато в этом сне его никто не знал и не ведал, что в жилах бывшего художника Адольфа Цинка течёт кровь вражеской немецкой закваски, и потому он устанавливал здесь другие правила, подчиняя их лишь себе одному и соизмеряя лишь с собственной художнической прихотью. Это отчасти спасало по утрам, после мутного тягучего забытья, и немного оттягивало голову, придавая ей давно забытой лёгкости, и тогда, раздёрнув слипшиеся веки, он мог долго ещё лежать, не шевелясь и глядя в протекший потолок с неизменной желтизной и густо-рыжей обводкой по краям пятен в углах или, найдя себе грязевую метку на штукатурке заоконной стены, думать о том, какую композицию можно взять за основу будущей картины при том, что метка эта уйдёт левей, а перед стеной возьмет и внезапно вырастет тополь, и будет уже июль, и тополь этот укутается в свой роскошный пух, целиком, как не бывает наяву, но именно это его нереальное качество сделает всю будущую композицию годной для экспрессии, что уже изначально заложена во всей этой дурацкой фантазии.

Сны были чёрно-белыми, почти никогда не писанные маслом. Его и самого теперь больше устраивало, что были они выполнены в графике: карандаш, перо, уголь, акварель. В этом, как ему казалось или, вернее, снилось, у него снова было больше свободы, ничто не сдерживало руки его от того, чтобы сделать рисунок, эскиз, акварельную отмывку, которую так же, как и всё остальное, Адольф Иванович старался оставить двуцветной. Но если для графики это подходило как нельзя лучше, то в те ночи, в тех снах, когда, начхав на все осторожности, масляные краски, сразу же, минуя тюбики, крупными до непривычности разноцветными мазками ложились на поверхность холста, выдуманного и выкроенного из ношеной робы неизвестного работяги с каражакальского карьера, ему приходилось, принимая такой неожиданный оборот, перекрывать их другими, не менее крупными, но уже исключительно чёрного и белого масла. Такие картины получались у него почти всегда, хотя сами по себе эти чёрно-белые ночи случались довольно редко. Но зато на них удачно, в два цвета, ложились любимые чёрно-белые краски. Холсты эти были печальны и унылы, но именно они приносили короткое облегчение в те минуты, когда он просыпался и мог ещё какое-то время удержать перед глазами плоды своего очередного

падения в безмерную чёрно-белую пропасть.

Эти пять одинаковых лет, однако, не сделали его старше, так он чувствовал. Тело его оставалось практически тем же, он никак не наблюдал в нём зримых изменений в любую сторону. Цинк как бы законсервировал его, ввергнув в привычный и неизменный ритм событий и вещей, столь мелких самих по себе и столь внутренне неглубоких, что всякое движение его не приводило к усталости и не вызывало болезненных ощущений, присущих возрасту. И это, казалось ему, было много хуже и неприятней, чем если бы он ощущал сам ход времени, течение этих пяти лет и их живой след – так, как привык испытывать раньше: неровными ударами за грудиной, нервным потом желёз, душой своей, отрывающейся ввысь и парящей над степью, остужая себя после, когда всё сошлось и композиция состоялась.

Прошлое жило, никуда не деваясь. Оба они жили в нём: его нынешнее тусклое время, успевшее тоже сделаться прошлым, и то, канувшее, уничтоженное вместе с истребленными картинами. И именно в том, но никак не в этом прошлом, беспамятном и никаком, когда-то вызревала его мудрость, которая теперь, как казалось ему, остановилась уже навсегда, схлопнулась, прекратив набирать любые, самые незначительные или даже вовсе бессмысленные обороты.

Женя позвонила отцу в Караганду накануне отъезда, вечером, из квартиры Царёва: Павел Сергеевич сам же и настоял. Узнав, что у неё нет ключей от жилья, наказал непременно известить отца заранее, иначе, сказал, разминётесь и останешься бичевать на улице. Шутил, конечно, но и мужскую заботу проявил. Такой был во всём, даже в незначительных, самых проходных делах. «Наверное, поэтому и летают его аппараты, – подумала Женя, – что всё сам, всё через себя, и ничего не умеет забывать, просто сама его природа, само устройство мозгов не позволяет, так уж сделан».

Адольф Иванович, получив звонок от дочки, не то чтобы по-отцовски обрадовался, он просто взвился от радости – подумал, как это интересно с человеком происходит, когда забытые чувства оживают вдруг картинкой, причём без всяких посторонних снов, а вполне наяву: в красках, образах и даже звуках. Он ждал её, волновался и, прикинув по времени, решил, что она появится к моменту прихода его с работы. Готовился. Ухнул для праздничного стола кое-что из отложенного от последних зарплат, не стал экономить. Всё с рынка, всё свежее, на главное блюдо раздобыл три тушки саджи, у охотника, из-под полы, браконьерские – такая степная птица, по типу рябчика, но побольше и покрасивей. Сам же ощипал их загодя, поражаясь

красоте мёртвого оперения: верх охристый, с тёмным поперечным рисунком на спине, зоб бледно-серый, грудь желтоватая, отграниченная от зоба узкими прерывистыми чёрными полосами на белом фоне – опять же сочетание из печального сна, куда ж без печали? Зато кончики крыльев сизые-пресизые, чёрного нет вовсе.

И вина купил, сладкого, как она любила. Подумал о ней в прошедшем времени, но тут же мысленно поправился – «как любит», конечно же. И хорошо, что суббота, не вставать на другой день, вволю можно будет наговориться, не спеша.

Когда-то он написал её портрет, темперой. Она тогда уже, как ему запомнилось, начала есть обычную человеческую пищу, взрослую, перестав питаться одними кашками и молочками, которыми они с Иваном Карловичем, чередуясь в приготовлении, кормили её с ложечки. Тогда же – и это тоже никуда не делось из той, главной, памяти – лицо его Женечки обрело иные черты, разом сменившие первые, грудничковые. Она стала маленький законченный человечек, и личико её внезапно для него тоже стало вдруг другим, человечьим, непривычным его глазам. Носик с крошечными ноздрями, губы, веки, брови, лобик, сами глаза – всё вдруг стало лепным, скульптурным, с внятно очерченными, утратившими предыдущую размытость линиями; взгляд же обрёл иную осмысленность, также непривычную и удивительную ему. Он не стал больше вникать, сразу начал писать. Перед этим усадил дочь на стул, подложив под неё подушку, сунул кисточку, чтобы чем-то занять ей руки и на время отвлечь, прихватил её ремнём к спинке стула, чтобы не завалилась, и тут же увидел, разом понял, что всегда искал в портрете, но до этого дня не мог ухватить. И снова был удар, моментальная экспрессия, всплеск, пятно, образ, где скупыми крупными мазками схвачено самоё существо его маленькой модели, его крохотной Женюры: настроение, характер, эмоции, мимика… Три цвета, четыре краски – всё: коричневый, розовый с серым, чёрный. Плюс белила, особняком, чтобы уже работать с каждым цветом в отдельности.

Он тоже остался там, в Каражакале, этот портрет дочери, из самых любимых. Отцу он его тогда даже не стал показывать: знал, что всё равно не угодит ему подобной мазнёй; тот, даже если и глянет, лишь из вежливости скажет чего-нибудь, но к сердцу не примет, не поймёт. Однако и это была память, его и ничья больше, которую отняли, но до конца не убили.

18

Был поздний июльский вечер, уже переходящий в ночь, когда газик, на котором Евгения Адольфовна и её паренёк-водитель, порядком измученные последним перегоном, занявшим у них не меньше пяти трудных часов, достигли, наконец, окраины Караганды. Нервозность, испытываемая ею на протяжении всего этого дурного, необъяснимо изгибистого пути, сложившаяся с горечью от истории с дедовой могилой и уничтоженными отцовскими картинами, вынула из неё все силы. Однако остатка их хватило, чтобы сосредоточиться и определить верную дорогу, уже ставшую к финалу их путешествия более-менее человеческой. К тому же всё ещё грела мысль, что вскоре она встретится с отцом, по которому на самом деле соскучилась, и что они обнимутся, что он поцелует её в голову, как делал это раньше: она же, выдержав сюрпризную паузу, расскажет ему о них, о ней и о её Павле Сергеевиче. А горькое, про деда, и разговор о том, что до этого знал лишь папа, и отчего не поделился с ней, она оставит на завтра, иначе выйдет перебор.

Они пересекли город, от южной его окраины до северной, и вскоре Женя указала водителю на отцовский дом, пятиэтажную блочку, за которой уже начиналась промзона.

– Ну, я посплю тут часиков до шести, думаю, а после уж стронусь обратно, – сообщил ей водитель, заглушив движок, – так что давайте, Евгения, удачи вам с вашим папой, ну, и отпуск весело провести, а то у нас там какое веселье, сами знаете, дороги эти дурные да степь с туманом, как в песне поётся.

– И тебе счастливо, – тоже попрощалась она, – и спасибо, что терпел и меня, и всё это безобразие. – На прощание улыбнулась. – Когда обратно, будет видно, думаю, недели через две поедем, если ничего не случится, тебя заранее известят, так что не робей, крепче за баранку держись, шофёр, тоже как в песне поётся.

Несмотря на чудовищную усталость, Женя ощущала лёгкий прилив сил, настроение снова сделалось бодрым, потому что через пару минут ей предстояла долгожданная встреча с отцом, и им надо было много сказать друг другу, хорошего, очень хорошего и всего остального. Она поднялась на второй этаж и позвонила в его звонок. Дверь открылась почти сразу, Адольф Иванович уже давно её ждал, испытывая нетерпеливое волнение. Они обнялись там же, в прихожей, и постояли так с минуту. Затем он, подхватив её фибровый чемоданчик, прихватил за локоток и увлёк в комнату.

Она вошла и осмотрелась. Всё было так же, как и прежде, на

девяти отцовских метрах ничего не изменилось, за исключением того разве, что на комоде рядом с её фотографией студенческих времён добавился чёрно-белый телевизор марки «Рубин» с рогатой антенной.

– Ты ополоснись покамет с дороги, брызни на лицо хотя бы, и сразу же садимся. А я сейчас, только на кухню и обратно, – сказал он ей и ушёл разогревать еду. Внезапно ей стало жалко его, одинокого, никем не опекаемого мужчину, для которого её приезд явно стал событием. И больше радоваться отцу, по большому счёту, было нечему. Тем более, если ещё добавить сюда то самое, о чём ей стало известно этим днём. К тому же, как она успела заметить, ни малейших следов его прошлых занятий живописью в комнате не обнаруживалось. Но сейчас ей такое было уже понятно, в отличие от тех лет, когда он объяснял ей про «другое помещение» для работы, а она его словам верила, – правда, не особенно вникая в них.

Когда она, сполоснув лицо, вернулась в комнату, всё уже было готово к маленькому семейному празднику: вино, полусладкое, откупорено и налито в два простых фужера, овощи, самые разные, художественно нарезаны и неровными кусочками выложены на блюдо, вперемешку со свежей зеленью. Сыр, домашнего по виду изготовления, белый и пористый, напластанный толстыми ломтями, уже выпускал наружу первую прозрачную слезу, хлеб, местный, с лопнувшей посреди буханки коркой серо-бурого оттенка, тоже присутствовал на отцовском столе, соседствуя с керамической маслёнкой. В самом же центре расположилась чугунная сковорода на подставке. Из-под крышки просачивался ещё горячий пар, наполняя воздух дивным запахом жареной птицы. Ну и скатерть, стерильно белая и тщательно выглаженная, столь непривычная Женькиному глазу в отцовском интерьере.

– Саджа, – кивнул на сковороду отец и приподнял крышку, – местная дичь, довольно редкая штука, к слову сказать. Сейчас будем её с тобой пробовать, девочка моя дорогая. – С этим словами он наколол тушку вилкой, всю целиком, и скинул её на дочкину тарелку. – Давай, милая моя, хрусти, а то вон уже ночь на дворе, а ты у меня всё ещё не евши.

Она увидела вдруг, что, несмотря на немолодой возраст, отец своим видом совсем не напоминает ей пожилого человека; и если удалить из его глаз следы житейской усталости и хотя бы долю непроходящей печали, неизменно сопровождавшей папу все его последние годы, то он бы запросто потянул на прекрасно сохранившегося мужчину, моложавого и вполне крепкого на вид, с обаятельной улыбкой и привлекательной внешностью. Цинк

заметно поседел, однако седина не только не состарила его, наоборот, необъяснимым образом высветлив голову и лицо, придала его наружности благородства, обозначив некую загадочность облика и мужскую притягательность.

Теперь он носил усы и бороду, коротко подстриженные, смыкающиеся с аккуратно ухоженной небритостью, доходившей до середины щёк и поднимающейся ещё выше, к вискам. Там отцовская растительность уже плавно перетекала в волосы, образуя вместе с ними новый, прежде незнакомый Женьке образ Адольфа Цинка. Она хотела ему сказать об этом сразу же, в прихожей, охватив первым взглядом, но просто не успела. Теперь же, при комнатном освещении, уже не столь рассеянном и тусклом, рассмотрев его внимательней, она не могла не отметить для себя этих удивительных изменений. Заурядную пластмассовую оправу отцовских очков с толстыми минусовыми стеклами сменила металлическая, круглая, тонкая, явно сделанная на заказ. Женька ещё подумала, что сейчас папа больше похож на земского врача без определённого возраста или же на городского учителя-интеллигента, непременно гуманитария, тоже неопределённых лет. Но вот только никак он не походит на старшего техника из отраслевого проектного института. Его облик ей явно нравился.

– Может, для начала по глоточку, пап? – улыбнулась она. – Птичка эта подождёт, а то мы с тобой за этими делами забудем про главное – отметить нашу встречу и всё остальное приятное.

– О, извини, милая! – вздёрнулся Адольф Иванович, с досадой покачав головой, – конечно, конечно, чего это я творю, сам не ведаю. – Тут же улыбнулся хорошо, счастливо: при этом глаза его заметно увлажнились. Он взял фужер, стукнул краем о дочерин. Сказал, не спеша, с расстановкой, взвешивая слова и глядя прямо перед собой:

– Я тебя очень ждал, Женюра моя. Я очень, я ужасно тебя люблю, моя милая, и я хочу теперь, чтобы ты знала об этом и всегда это помнила, потому что ты уже стала взрослой, умной и самостоятельной, и мне, человеку давно не первой молодости, вовсе не совестно в этом тебе признаться. Хотя раньше… да ты, впрочем, и сама знаешь, не слишком часто я тебе подобное говорил, о чём нынче искренне сожалею. Не подобает нам жить в суровости, неправильно это, не по-людски, тем более, мы с тобой одни, больше у нас никого, по крайней мере, на сегодняшний день, как я понимаю, и это значит, что держаться нам надо ближе, чем было прежде, один к другому. Сегодня ты ко мне приехала, завтра я тебя навещу, если, конечно, не станешь возражать. – Он пригубил вино и поставил фужер на стол. Она поступила так же,

но, в отличие от папиного, свой фужер выпила почти до дна. И сказала, утерев рот салфеткой:

– Разумеется, не возражаю, папочка, что ты такое говоришь. Мы тебе пропуск сделаем на въезд в Владиленинск, он ведь у нас закрытое место, ты не забыл? Павел всё решит, для него трудностей не существует. – И улыбнулась, вопросительно уставившись на Адольфа Ивановича в ожидании очередного вопроса. Он и последовал, само собой, тут же. Отец приподнял бровь, повёл чуть в сторону верхней губой и, почесав в лёгкой задумчивости лоб, поинтересовался:

– С кем, ты говоришь, с Павлом? Это с каким Павлом, позволь полюбопытствовать?

– С моим, папуль. С Павлом Сергеевичем, который скоро станет моим мужем. И вообще, я хочу, чтобы ты приехал к нам, когда мы распишемся, я заранее скажу когда. Слава Богу, есть где остановиться, места просто море, у нас с ним огромная жилплощадь. И прислуга имеется, очень приятная тётушка, так что в обиде не оставим, можешь быть уверен.

Пару минут Цинк молчал, переваривая новость. Он пока не решил для себя, как к ней отнестись. Поставил перед собой фужер и решил всё же уточнить:

– Значит, влюбилась, говоришь? А почему же ты его в таком случае по имени-отчеству величаешь? Он что у тебя, такой важный?

– Да вовсе он не такой, – улыбнулась Женя, – просто он ответработник, и у него большие права. А по сути Павел Сергеевич хороший и добрый человек. Мы любим друг друга, пап, и я сама этого очень хочу, он как бы тоже жертва в каком-то смысле, так что мы вместе этого хотим.

– И как давно вы с ним этого хотите? – отреагировал на её слова Адольф Иванович. Спросил и тут же подумал, что к такому разговору с дочерью он вряд ли готов. Быть может, по той причине, что, иногда звоня ему оттуда, или же в своём недавнем письме она ни разу не упомянула о таких изменениях в своей жизни. Всё больше про соседок по общежитию разговор шёл, так и не ставших ей подругами, про вечно недобрую ветреную погоду и в общих словах о работе чертёжницей в КБ. Интересовалась, как там у него по службе, что дома, не обижают ли коммунальщики-соседи. И всякий раз не забывала спросить, как ему пишется, чего новенького наваялось, в каком стиле, и каковы нынешние предпочтения в любимом деле. Он отвечал: правдиво про свои бытовые дела и врал про картины каждый раз, если не удавалось избежать этой больной темы. Женька же, интересуясь его занятиями живописью, не так мечтала при случае на них

посмотреть, как просто лишний раз пыталась подбодрить отца, напоминая ему, что уж как минимум один страстный почитатель его искусства у него будет всегда. И навсегда, само собой, останется, чего бы там ни вышло.

– Как давно? – переспросила дочь. – Не так чтобы слишком, пап, если уж всю правду сказать, – и снова на лице её образовалась хорошая улыбка, – но уже три дня мы с ним вместе и, надеюсь, они не последние в нашей жизни.

– То есть, хочешь сказать, познакомились, и ты сразу к нему переехала? – не понял Адольф Иванович. – Вот так сразу взяли и соединились, не успев даже проверить чувства? Не дав себе даже короткого разгона?

– Папочка, милый мой, хороший, ну так уж получилось, так всё само сложилось, и я даже счастлива, что именно так, а не по-другому. Мы с ним взрослые люди, и мы точно знаем, чего в жизни хотим. Прежде всего, сам он, Павел Сергеевич, ну и я, конечно, тоже. Хотя… не дам себе соврать, он всё же первый и всегда им будет, и для меня и вообще. Это тоже правда, папа. – Она подвинула к себе тарелку. – Кстати, мы сегодня есть будем или как? – И сунула в рот половинку редиски. – А то улетит твоя суженая, или как её… суджа, ты сказал?

Адольф Иванович пребывал в задумчивости, теребя в руках салфетку. Что-то, чему он не мог, как ни пытался, противиться, подталкивало, подсказывало ему продолжить задавать дочери эти незастольные и не слишком своевременные вопросы. Нечто изнутри, где обитала его больная и горькая сердцевина, словно запрятанный в это же самое место чёрт, пробивалось наружу, желая затеять никому не нужный конфуз, ненавистный всему его устройству. Тем не менее, он продолжил, так и не приступив к еде:

– Взрослые, ты сказала? А сколько ему лет, кстати говоря, Павлу Сергеичу твоему? Он что, настолько старше, что ты его, я смотрю, и по имени-отчеству величаешь, и сама же первым для себя назначила?

Она откусила от сырного ломтя и зажмурилась от удовольствия. Была уже крепкая ночь, степная, казахстанская. Почти что бессветный вечер, тянувшийся всё то время, пока она, миновав городскую черту, добиралась до отца, медленно перетёк в уже довольно светлую ночь, вытащившую вслед за собой в чёрное небо месяц, но тут же округлившую его до размеров круглобокой ночной планеты слабо жёлтого колера. Эту их карагандинскую луну Женьке, сидящей лицом к незашторенному окну, было отлично видно, и она отметила про себя, дожевав сыр и подцепив вилкой другой такой же ломоть, насколько это всё же

удивительное дело – красота природы, и как ей невыразимо жаль того, что случилось с папиными картинами. Она указала отцу глазами на окно, призывая разделить её восторг от явления в небе луны, и весело отозвалась вопросом в ответ на интерес к её будущему мужу.

– Смотри, красота какая за окном, папуль, просто Куинджи да и только. Не пробовал писать прямо отсюда? Довольно удобно, согласись, всё на месте, всё готово, ставь треногу и вперёд. – Он молчал, ждал продолжения. Что ж, она продолжила, была к тому готова. – Сколько лет? Ну, он постарше, конечно, не стану этого скрывать, пап. Но он совершенно чудесный человек, умница, невероятно увлечён своей работой. Больше ничего сказать про него не могу, прости, пожалуйста, просто не имею права, ты же всё понимаешь.

Он отреагировал не сразу, сначала отложил в сторону салфетку и налил им обоим вина: наполнил её почти опустошённый фужер, себе же на этот раз налил до самого края. И молча выпил, не чокаясь, до дна. Только после этого заговорил:

– Стало быть, постарше, ты сказала? – Она, всё ещё не очень понимая его резко изменившегося настроя, ответно кивнула. – И на сколько, если конкретно?

– На пятнадцать лет, – ответила она, не выразив особенной эмоции, поскольку уже предчувствовала его реакцию. Адольф Иванович огорчительно хмыкнул:

– Но ведь это просто ужасно, Женюр, это же у вас с ним огромная разница получается, пятнадцать лет – это не год и даже не пять, как же так, дочь?

– Нет, – так же спокойно, как и в прошлый раз, не согласилась Женя, – на пятнадцать – это он тебя старше, а меня на тридцать шесть. Ему шестьдесят, папа, как раз в этом году.

Затем была пауза, обоюдная. После паузы Цинк, преодолев смущение точно так же, как и лёгкое недоверие к словам дочери, всё же спросил:

– Стоп, стоп… то есть ты считаешь… что разница в тридцать шесть лет – это нормально? Нет, я спрашиваю, Женя, это что, в порядке вещей? Еще бы пяток лет, и он вполне бы мог стать тебе дедушкой, чего уж там.

Она сделала глоток и поставила фужер на стол. Честно говоря, того оборота, который принял этот разговор, она не ожидала. Нет, ясное дело, всякого родителя подобное известие поначалу может несколько напрячь, но только не её отца, свободного, в общем, человека, рано выпустившего её в самостоятельную жизнь и никогда не проявлявшего прежде интереса к её амурным делам. Которых, кстати, считай что и не

было.

– Но, видишь ли, папа… – протянула она, пока подбирала подходящие слова, чтобы не задеть и не поранить его отцовских струн, – я не считаю, что, когда между людьми возникает настоящее чувство, то разница в возрасте играет решающую роль. Мне кажется, главное в этом деле – понимание того, что этот человек для тебя единственный, и никакой другой тебе не нужен, вообще. И неважно, где он работает и кем, хотя его работа… – она снова улыбнулась, но на этот раз улыбка её вышла уже не такой естественной, – его работа… она… там, – Женя ткнула пальцем в потолок, – а не тут, – и провела рукой по воздуху, слева направо, обозначая этим неуверенным жестом пространство отцовской комнаты. – Больше сказать не могу, не имею права, извини, пап, но всё это так просто и понятно, зачем нагнетать, чего и в помине нет?

Она всё ещё пыталась отвести от себя и от папы этот медленно назревающий скандал, остановив никому не нужные раздоры на тему предстоящего брака. Ей просто нужно было донести до Адольфа Ивановича всю несостоятельность его слов, он ведь даже представления не имеет, о ком идёт речь, но если бы знал, – именно так она мысленно успокаивала себя – то непременно понял бы и одобрил её шаг.

– Единственный?! – вдруг резко вскочив со стула, вскрикнул он, – единственный, говоришь? – Ему уже было ясно, что это не розыгрыш с её стороны, и это меняло всё, совершенно всё. – А кто он вообще – единственный этот твой? Комитетчик какой-нибудь или начальник ваш по секретному ведомству с «большими правами», как ты его обозначила, какой и пропуск выпишет, и на жилплощадь не обижается, и прислугу, как сама же говоришь, имеет! – Он выкрикнул это и сел. Но тут же снова встал. Однако опять перебрался на стул. И налил вина, только себе, её фужер так и оставался нетронутым. И выпил залпом. Обратился к дочери, уже чуть спокойней: – Ты пойми, Евгения, ты сама не знаешь, чего творишь, наверняка ты просто не в курсе всей правды, кто он и что. Это если не говорить о том, чего ему от тебя надо. А я скажу чего, скажу, послушай меня, своего отца – малинки ему на старости лет захотелось, калинки-малинки молодой, видно, недолакомился, пока невинных людей сажал и переселял другие земли осваивать, лес рубить и дороги бессчётно прокладывать!

Она видела, что он завёлся, и уже думала о том, как весь этот неожиданно разгоревшийся и совершенно идиотский спектакль, ни с того ни с сего затеянный отцом, обратить в шутку или же отменить совсем. Она понимала, что невольно задела какое-то

ужасно больное и всё ещё саднящее место в его душе, но только не знала, какое именно, какую незаживающую рану. Сам же Адольф Цинк уже не мог успокоиться, хотя краем головы, наверное, и понимал, что всё, что происходит сейчас за семейным столом между ним и его любимой Женюрой, – недостойно и не имеет права быть. Однако добавил ещё керосина, и вновь на повышенных тонах: – А теперь он, настрелявшись и насажавшись, ищёт себе тёпленькую гавань, с уютной пристанькой, чтоб подыхать было приятней ему, дедушке этому. У тебя уже был один дедушка, спасибо, они же самые не успели заморить его только благодаря случайности, всего лишь дом сожгли, а вполне могли бы и самого в расход пустить, как и твоего отца, кстати, не к столу будет сказано!

Это уже был явный перебор, тот самый, которого она, хотя и по иному поводу, но не хотела допустить в этот первый их совместный вечер. И она не сдержалась, хотя пыталась по возможности контролировать ситуацию и не повышать голос.

– Да, – довольно спокойно ответила своему отцу Евгения Адольфовна, – у меня действительно был дедушка, Иван Карлович Цинк. Именно такое имя я рассчитывала увидеть на его могиле, когда навещала её. Но только я её там не обнаружила. Нет больше могилы, и дедушки никакого нет, получается. Стёрли память о дедушке Иване вместе с могилой. Он теперь не в могиле, он в отвале покоится: сверху пустая порода, и со всех остальных сторон такая же пустая. Снесли, папа, кладбище, и тебя об этом спросить забыли, потому что ещё один карьер решили открыть, новый. А после решение своё же отменили и всё там бросили, включая посёлок твой родной и любимый, вместе с домами, собаками и людьми. Но только ты не знал этого, отец, ты так и не доехал до Каражакала за все семь лет после дедовой смерти, хотя каждый раз собирался, я знаю. А я доехала, извини. И увидела то, что увидела, но уже без тебя – нравится тебе это или не нравится.

Он сидел молча, уставившись в пол. Слушал, не перебивал и не задавал вопросов. Потом вздрогнул, будто очнулся после провала. И стал говорить, поначалу едва слышно, но затем всё больше и больше придавая голосу звучания.

– Они мне всю жизнь испоганили, такие, как твой Павел Сергеич… Ну нет от них убежища на этой земле, как же ты не понимаешь, нету… И деда твоего, выходит, даже в могиле догнали, чтобы всем нам память осквернить, вдогонку. Они же нелюди, звери, они же простые убийцы, и что страшно, не обязательно кровавые, они умеют и по-другому, по-своему, по-уродски, между делом, равнодушно, как деда нашего после смерти его. Они мои картины… – он поднял на неё глаза, и Женя

увидала в них тоску, какую прежде никогда не замечала. Нет, он не плакал, это было нечто более сильное и пронзительное в своей безнадёге, чем обычные проходные слёзы. – Они их даже красть не стали, они взяли и убили их, насмерть, и не просто, а с мучениями, с издёвкой, изощрённо, чтобы ни памяти, ни следа не осталось – ничего. Я уехал от места нашей общей жизни, а вернулся в чумной барак! Лучше б сожгли, как спалили наш дом в Спас-Лугорье, а так… – он обхватил голову руками и на этот раз заплакал, не сдерживая себя больше: не было у Цинка сил хранить в себе столько лет это страшное, ненавистное ему, мерзотное, изъедающее его изнутри, не дающее роздыху уму, сердцу и его изношенным нервам.

Он резко перестал плакать, снова вскочил и уже заорал, на этот раз так громко, что в стену слева от стола замолотили кулаком, призывая прекратить бесчинство. А только Цинк, не обращая внимания на стуки, орал и орал, не прерывая себя и уже не обращая внимания на дочь, ему было важно выкричаться, выпустить из себя накопившуюся ненависть и отчаяние, избавиться от этого душного воздуха, и потому он выкрикивал, мешая в кучу всё, потеряв над собой контроль и не отслеживая никакие соседние смыслы. Он не хотел отдавать дочь *этим,* будучи совершенно уверен в своей правоте, потому что иначе просто не могло быть никак.

– Вы поймите, проклятые, – кричал он, – я ведь с Богом разговаривал, когда писал их, с Богом нашим, про которого вы, свиньи, ни сном, ни духом, ни рылом! Я же жил этим, страдал, я наслаждался, мечтал о добром, я искал гармонию, я хотел видеть мир лучше, ваш и мой, добрей, свободней, а вы мечту эту взяли и растоптали вместе с картинами моими! – Он снова опустился на стул, но соскользнул с него и оказался на полу, откуда продолжал безостановочно говорить: – Кто я был, кто? Я был художник, я трудился, я радовался жизни, тайно от вас, вы же всегда стояли у нас на пути. И кто я теперь, кто? Обычное ничтожество, без рук и без глаз, без любимого дела, без желания жить и творить! Мне вот сорока пяти ещё нет, а я уже старик, понимаете? Чувствую, что задыхаюсь, будто держите вы меня своим железным хватом, дышать не даёте. И мир вроде, и войны никакой нет, живи себе, трудись, зрей снаружи и изнутри, улучшай себя, люби людей, что вокруг тебя. Ан нет, не будет такого, не позволите, отыщете и снова сунете головой в грязь, по-любому. И не вырваться, не продохнуть от вас, от вашего могильного хвата простого света не хватает, всё сплошь сизое да серое, и больше никакое, будто закрыли вы собой этот свет, чтобы не пускать кого и куда вам не надо.

Он хватанул ртом воздух, как это делает выброшенная на берег большая и добрая рыба, и продолжил, не давая себе сделать другой вздох: – Вы только немцев одних миллион, наверно, на смерть послали, тоже наших, русских, своих, таких, как вы, только лучше, и только потому, что решили, что не ваши, что у них своя душа, и тоже не ваша, а она такая же самая, просто это вы, бездушные твари, не хотели этого знать, вам всегда было проще найти себе врага, а враг в вас самих, в вашем подлом беспамятстве, в вашей тупости, в вашей злобе! Где нет таланта, где нет света и добра, там темнота, там душно, там селится бес, так и знайте! А вы и есть тот бес, и дочь мою туда же хотите забрать, к себе, в свою бесовскую жизнь! Не заберёте, не отдам, не пущу её в ваше негодяйство, так и зарубите себе, мерзавцы!

Женя словно замерла: всё то время, пока Адольф Иванович вымётывал из себя эти бешеные искры, она не могла пошевелиться. Лишь когда он остановился и уже совершенно без сил опустился на стул, прикрыв голову ладонями, она сделала последнюю попытку образумить отца, объяснить про Царёва. Правды о нём она и на самом деле не могла говорить, никакой, даже в проброс и даже людям близким, как и упоминать его фамилию, – тоже было строжайше запрещено, и она это помнила, находясь при допуске, под которым поставила подпись. Остальное же плохо понималось: кто такие *они*, и почему папа ставит им в вину утрату своих картин, и для чего он кричал про русских немцев, про то, как *они же* над ними издевались и гнобили. Она тоже была немка, почти такая, как её дед и её отец, но над ней никто никогда не глумился, не уничтожал и не заставлял её строить дороги и корчевать лес. Ну, бывало, подразнивали в школе, не без этого, там ещё, в Каражакале, особенно когда химия у них началась, в седьмом, что ли, классе, но всё было вполне беззлобно, без гнобёжки, кто Цингой, кто Цынькой, Цынькухой называл, одна девочка даже Углекислой за глаза называла, а по учёбе завидовала. А кого, скажите мне, не дразнили в детстве? Не было таких. Ну, а в Политехе вообще мимо денег: Цинк и Цинк, никто даже не морочился, ни по нации, ни по фамилии, немного на слух чудаковатой: все дружили, учились и влюблялись. И потом – проверяли, конечно, но в КБ взяли, хоть и чертёжницей.

Всё это было ужасно и в то же время чрезвычайно странно, ненормально, неестественно как-то, и чего было теперь больше в овладевшем ею двойственном чувстве – опасения за отца или искреннего изумления от его чудовищной истерики, до конца понять не получалось. Однако её всё ещё трясло от этой ночной сцены в девятиметровом прямоугольнике с тощим окном, куда

она, такая счастливая предвкушением будущей встречи, неслась сломя голову, рассекая эту пыльную, душную и бескрайнюю степь. Возможно, говорила она себе, я просто чего-то не знаю, важного, скрытого, заветного – того, что знает он, но не договаривает. Но тогда отчего – так? Почему он не доверяет мне, почему не делится своими страхами и своей болью? Зачем он загнал их в себя так глубоко, что не видит пути обратно – ради чего?

Она приблизилась к отцу, положила руку ему на плечо и негромко произнесла:

– Послушай, папа, я хочу, чтобы ты, наконец, понял, что не все…

Он прервал её, не дав закончить фразу:

– Не надо, прошу тебя… ничего уже не надо, всё и так ясно без лишних слов, – и, не отрывая ладоней ото лба, добавил уже спокойней, почти окончательно придя в себя: – Или я, или он, этот твой пенсионер-энкавэдэшник, выбирай. Другого разговора у нас не будет, Евгения, этот – последний, тебе решать.

Это тоже был край, но уже с другой, противоположной стороны. На какую-то секунду ей даже стало чуть легче, поскольку после этих слов терзать друг друга и дальше было уже бесполезно. Для неё, во всяком случае, это было так, и больше никак.

– Я поняла тебя, папа, – хладнокровно ответила она Адольфу Цинку, удивившись сдержанности собственного голоса, который теперь уже принадлежал и ей, и как бы не ей, разделившись на прежний и нынешний, – я выбираю мужа и хочу, чтобы ты знал, что с этим решением я не мучилась ни единого момента. – Отец не отреагировал, он продолжал сидеть, где сидел, только чуть вздрогнул мизинец на его правой руке: – И ещё я хочу сказать, что уезжаю, прямо сейчас. Прощай, папа.

С этими словами она встала, подхватила так и не распакованный чемоданчик и, не оборачиваясь, вышла из комнаты. В дверях, тормознув на секунду, добавила: – Провожать не надо, меня заберут. – И вышла из комнаты. Затем он услышал звук прикрываемой входной двери и слабый щелчок язычка раздолбанного квартирного замка. Спустя пару минут раздался шум запускаемого двигателя, который сначала пару раз чихнул, попутно забросив в комнату Цинка шмат сизого выхлопа, но тут же встал на устойчивые обороты, после чего машина тронулась с места, и звук её, угасая по мере того, как Евгения Адольфовна Цинк удалялась от родительского дома, вскоре окончательно растворился в тёплом воздухе ночной карагандинской окраины.

19

Той ночью, растолкав своего паренька, она попросила отвезти её на вокзал. Сказала: доспишь после, а я на поезде и перекладных сама доберусь. Тот глаза протёр, удивился такой её странности, но спорить не стал, сделал, как просила, – тем более что, как он понял, в другой раз не придётся ему уже сюда пилить, чего-то они там с папой её не поладили, – что ж, бывает.

Пока добиралась до Владиленинска, Женя думала о том, что и как сказать Павлу насчёт этого досрочного возвращения обратно. О том, чтобы поведать истинную причину, ту самую, ужасную и совершенно для неё невозможную, и речи быть не могло. Однако она понимала, что новые отношения, которые после этой поездки установятся между ней и отцом, всё равно, рано или поздно, выйдут на поверхность. Хотя, подумала, какие теперь уже отношения, уж скорее – всякое их отсутствие. От этого на душе у неё было больно, дико и непонятно. Мысли путались, наезжая одна на другую, сталкивались, разлетались и вновь, не угоманиваясь, собирались в тяжёлую кучу, которая всей своей тяжестью почему-то давила на затылок. Не похоже, что отец её был болен, подобный вывод совершенно не напрашивался, она бы непременно заметила, если бы хоть раз столкнулась прежде с проявлением в том или ином виде его душевного нездоровья. Наоборот, в сравнении с другими он всегда в её глазах выделялся какой-то разумностью, что в поступках, что в оценках происходящего. Разве что недоговаривал кой-чего, наверное, не подключая Женьку к вещам, не слишком для неё важным и держа их в отношении дочери за второстепенные.

Адольф Иванович и на самом деле, насколько получалось, старался отвести от дочери всякое дурное, что самому ему порой мешало спать и не давало отрешиться, чтобы с головой окунуться в любимое занятие. И, тем не менее, раньше у него это получалось, когда все они жили в Каражакале. Там он писал, его картины были с ним; иногда, когда оставался в бараке один, он расставлял их перед собой в тесный ряд, прислонив к стене, и долго смотрел на них, представляя, что находится на выставке изобразительного искусства, но лишь как посетитель, забредший туда по случайности. И вот он, этот совершенно незнакомый ему человек, смотрит на его картины и видит то, чего, возможно, не видел он, автор, художник, творец и создатель живописного чуда, думая о красоте мира, но исходя при этом лишь из единственно своего понимания её, отталкиваясь лишь от собственного видения всех её причуд.

Со временем он научился видеть своё чужими глазами. Особенно удачно это получалось, когда проходило время, и работа, та или иная, постепенно угасала в памяти: краски, и без того по обыкновению сдержанные, тускли и просаживались ещё больше, перемешиваясь и сливаясь со всем остальным не художественным миром. Впечатления, которыми была заряжена его голова, когда видел и писал, медленно растворялись в спёртом воздухе и вечно недосвеченном пространстве барачного жилья, так же как и утекающие со временем воспоминания о том, почему хотел писать это, а не другое. То, как он строил композицию, как перемещал вглядом наполняющие её отдельные части, прищуриваясь, крутя очки так и сяк, чтобы стало виднее его слабым глазам, как пробовал потом повернуть обратно, когда убеждался в единственности изначального решения… всё это уже существовало в некотором отдалении от него, питаясь лишь остатками его памяти, но вместе с тем становясь и лучше, обретая совершенно новые, порой даже вовсе незнакомые звучания, обрастая несуществующими ранее деталями, о которых он, оказывается, не знал, хотя сам же их когда-то и породил.

Часто Цинку нравилось то, что наблюдает не сам он, а видят они, другие, случайные визитёры. Те, кто смотрел и оценивал, как бы транслировали ему свои ощущения от увиденного, намекая на их с автором единство, передавая мысленно то удивление, которое испытали они, вникая в сущность его работ, извлекая из них ту близкую их душе эмоцию, что не была похожа на его, но заставляла сопереживать его переживаниям и думать одинаково про разное, включая и то, что так и не стало со временем понятным ему самому.

Женька была его первый зритель и оценщик. Она же – последний, поскольку дед, как концевой участник семейного трио, отстранился от этих дел с самого начала, дав понять, что как отец он уважает сынову привязанность к этим рисовальным вылазкам в степь, однако результат в его окончательном виде не особенно одобряет, потому что могло бы быть и поаккуратней. На отца Адольф, разумеется, не обижался, полагая, что абсолютно здоровый в нравственном отношении, доступный по замыслу и просто нормально добрый человек, каковым и был Иван Карлович, к тому же ещё и коренной сибиряк, не обязательно должен воспринять его труды так, как бы хотелось сыну. Его даже больше удивлял не тот факт, что отец искренне мало чего любопытного мог извлечь для себя из его художественных опытов, а то, что дочь с самых ранних лет проявляла неутихающий интерес к его работам. Потом, правда, интерес этот резко угас, уже после их переезда в Караганду, но всё то время, пока они

жили бок о бок, деля на троих пространство барачного тупика, Женька как умела участвовала в этом самодеятельном отцовском художественном предприятии. Всматривалась, прицокивая языком, бормотала себе под нос чего-то малопонятное, но в итоге выносила свой дочерний вердикт, всегда неглупый, несмотря на малые годы, и часто даже на удивление своеобразный, не присущий детскому уму. Говорила:

– Ну смотри, пап, ты ведь задумал для себя увидеть небо как просто ничего, как пустое, которое есть где-то там, что живёт само по себе и никак не думает про твою картину, верно?

– Верно, – удивлённо соглашался Адольф Иванович, – именно так я и хотел его увидеть – отстранённым, чужим, не занимающим внимания, не берущим на себя композиционной нагрузки, потому что в противном случае оно сделается слишком привлекательным для тебя, и ты уже не сможешь заметить тонких всплесков сине-голубых волошек, что расположены по низу, а не там, где небо. Всего должно быть очень мало, запомни, – во всяком случае, если речь о степи, иначе всё потеряется, уйдёт, превратится в сельпо, станет перенасыщенным и пошлым, утратив очарование этой скудости и этой неизбывной тоски. Это и есть твоя эмоция, твоё настроение, когда то, что живёт внутри тебя, – быть может, даже где-то в животе или вблизи него, – подсказывает тебе, что или совпало нечто с чем-то ещё, или же нет, не сошлось, не состыковалось. И тогда тебе, по большому счёту, становится безразлично и скучно, ты понимаешь, что это не картина, а мазня, подмена, холостой выстрел заранее и в никуда. Это ясно?

– Ясно, – отвечала его маленькая Женька, между делом ковыряя в носу. – Это всё понятно, но вот только не ясно, почему этот случай – противный, и для чего небо нужно вообще, раз его нельзя как надо повесить над нашей степью? – И оба они смеялись после таких или других её слов.

Уже потом, по прошествии лет, она смотрела на его работы серьёзно, подолгу, вдумчиво, даже когда он отсутствовал, – от него это не могло укрыться – и нередко потом что-то говорила ему, часто по существу. А если и не говорила, то спрашивала, предварительно отсмотрев, и вопросы, что задавала, чрезвычайно нравились ему своей необычностью, какой-то неповерхностной простотой.

Именно тогда ему в первый раз пришла в голову мысль о том, чтобы научить самого себя смотреть на свои картины чужим зрением – затем, чтобы видеть ещё больше, учитывая и остальные, не его лишь персональные, ракурсы восприятия.

Поначалу он, признаться, не слишком прислушивался к

дочкиным советам. Но потом – стал, когда та заметно повзрослела и окончательно поумнела. Она вообще была умной, с самого начала, и не только потому, что всегда хорошо и легко училась. Цинк даже не так часто в этом себе признавался, но отчего-то ему казалось, что устройством головы Женька пошла именно в него, не в мать. Отсюда получалось, что умная она уже как бы на автомате, по факту простой наследственной принадлежности к отцовской крови. Это было приятно осознавать, это грело и ласкало внутренность, заставляя ответно любить её так, что иногда хотелось схватить дочь, прижать к себе и не выпускать долго-долго, насыщая душу этим их совместным притяжением один к другому. Она тогда, запомнилось ему, когда резко поумнела, стих ещё написала, первый свой, и пришла к нему. Показывать. Он почитал, похвалил, покивал многозначительно, выдавая тем самым отцовский аванс и попутное благословение на это дело. Но через неделю совершенно забыл об этом её свежем увлечении, как и вообще про то, о чём она сочинила свои первые строки. Через пару лет это вспомнилось, но было уже поздно: скорей всего, к тому времени он уже потерял в её глазах опору в этом смысле. Он даже не знал, продолжила ли она свои опыты или всё это было лишь разовым всплеском детской мечтательности, порождённой исключительно подключением её впечатлительной головы к его живописи. И сообразил, что он просто законченный эгоист, которым то ли стал, то ли был всегда, не размышляя никогда в эту сторону…

20

Женя добралась до квартиры Царёва во Владиленинске к вечеру того же дня. Ей удалось сесть на самый ранний поезд, следовавший до разъезда Тюра-Там, откуда она, два раза пересаживаясь с одной попутки на другую, прибыла кое-как к месту нового обитания. Измучена была безмерно, и не только потому, что обратная дорога, без сна и нормальной еды, вновь чудовищно вымотала её, отняв последние силы, но главным образом из-за этой истории с отцом, совершенно необъяснимой и оставившей самое отвратительное послевкусие. Что с ним было такое, с её папой? Что заставило его так внезапно измениться, выплеснув из себя такое количество яда и затаённых, незнаемых ею ранее обид? На кого конкретно, почему, за что?

И всё же она не думала, что первостепенной причиной этого буйства стал Павел Сергеевич. Скорее факт их будущего соединения сделался для Цинка неким катализатором давно назревающей реакции, в какой-то момент оказавшейся взрывной. Впрочем, так или нет, но теперь ей следовало как-то объясниться с Царёвым, предложив тому удобопонятную версию произошедшего. Возможно, она бы и не стала этого делать, по крайней мере, сейчас, но тогда, если по уму, ей следовало бы задержаться в Караганде, не приезжать так скоро, а остановиться у кого-то из старых друзей или подруг. «Хотя, с другой стороны, ну что бы это так уж изменило, – думала она, заходя в квартиру, – надо сказать ему всё как есть и поставить на этом точку. Павел всё поймёт – кто же, если не он, в конце концов».

Она зашла, у неё были свои ключи, охрана у дома была уже в курсе дела, их с самого начала по поручению Главного предупредили относительно новой проживающей. Была ночь, такая же неотличимо схожая с предыдущей, карагандинской, вытащившей в чёрную высь сабельный лунный край, почти незаметно для глаза перетекший в полновесный жёлтый круг. На звуки вышла Настасья, накинувшая наспех байковый халат. Она подозрительно окинула Женю взглядом, поёжилась неизвестно отчего и спросила, стараясь придать голосу надлежащую уважительность:

– Прибыли уже, я смотрю? Чегой-то рано, вроде б, или так оно просто захотелось вам?

– Да, – ответила Женя, скидывая туфли, – прибыла, только так не хотелось. – И тут же, меняя тему, задала вопрос: – Павел Сергеевич спит или… как?

– Нету Павла Сергеича, улетел он, – отозвалась Настя, – вчера

ещё отбыл, сказал, я слыхала, в Евпаторию полетит, на новый ихний ЦУП-Е, на открытие и проверку на готовность.

– Куда-куда полетит? – не поняла Евгения Адольфовна, – на какое ещё цупъе?

– На какое, я не в курсе, а только помянул, что теперь он часто туда станет отлетать, и, может, подолгу будет там задерживаться, так он пояснил. – Она кивнула на столовую: – Покушать или чего?

– Кефиру дай, – попросила она, – и если есть, то сыра ещё нарежь, а хлеба не надо. И воды напусти, погорячей, полную ванну. Дико устала, хочу полежать в воде.

Домработница понятливо кивнула и пошла выполнять. А Женя, проводив её взглядом, подумала вдруг, что та жизнь, в которую она неожиданно для самой себя шагнула, пожалуй, ей нравится, хотя и стыдновато думать об этом именно так, с этой бытовой, третьестепенной стороны. Но от этой мысли ей вдруг стало легче и спокойней. Особенно когда из белокафельной ванны раздались звуки наливающейся воды и она представила себе, как сейчас опустит тело в чистую горячую воду, от которой поднимается прозрачный пар, как напустит туда зеленющего бадузана, как взболтает его рукой, и пышная пена, что моментально образуется в её ванне, поднимется вверх и достанет ей до самого подбородка, а какая-то часть даже попадёт в рот, но она, сложив губы трубочкой, просто выдует её обратно вместе с любой своей прошлой заботой, вместе с не дающими расслабиться мыслями об отце и со всей своей предыдущей жизнью в этих двух пустынных казахстанских степях, прошлой и настоящей.

Он прилетел лишь через четверо суток. Всё это время проторчал в Евпатории, где в составе комиссии принимал в сдачу новый ЦУП при Центре дальней космической связи. Раньше приходилось делать это тут же, на месте, контролировать запуски, оставаясь в подземном ЦУПе, расположенном на территории стартового комплекса, чуть поодаль от стартовой площадки. Иногда он, давая себе такую вольницу, наблюдал запуски из укрытия, что на третьем километре. То, ради чего безжалостно расходовал себя, попутно доводя и остальных до предела человеческого терпения, он хотел видеть собственными глазами, предпочтя их объективу перископа – то, как его вновь рождённое детище, плавя бетон площадки вырывающимся из сопел носителя жаром, отрывается от земной поверхности и, плавно набирая скорость, уносит в космическое пространство свою очередную ношу. Шутил про такое пристрастие своё к живой картинке, говорил: как же сами вы не понимаете, ведь это то же

самое, что предпочесть живописному оригиналу разглядывание печатных репродукций, даже если они и отменного качества.

Укрытие представляло собой довольно короткую траншею под лёгким навесом, с заделанными на скорую руку откосами – место для любопытных и неотказных визитёров, какие, кто по прихоти, кто по смежному делу, с известной регулярностью посещали космодром. И всё же сам он, хотя и нравилось, позволял себе такое довольно редко – по большей части, когда приходилось в силу необходимости сопровождать значимую фигуру, чаще кремлёвского звучания, или, на крайний случай, шишку из Министерства обороны.

Женя не слышала, как он вошёл в спальню, вернувшись глубокой ночью. Она проснулась, лишь когда ощутила его руки у себя на груди и прикосновение губ на своём животе. Она всегда спала голой, как бы ни было прохладно. Пижама, ночная рубашка, всё, что прилегало к телу во время сна, ей мешало, создавая ощущение чего-то лишнего, душащего тело и поэтому необязательного для крепкого и здорового сна. Он рассказала ему об этом в их первую ночь. Он улыбнулся в темноте и пошутил насчёт того, что, по крайней мере, имеется хотя бы одно надёжное подтверждение их сходства, если не родственности, в этом занятном смысле – даже если в дальнейшем между ними и обнаружится некая интеллектуальная пропасть. И к сведению её добавил, что перешёл на «голое спаньё» сразу же, как только освободился от *той их* одежды. Она не стала тогда допытываться, что он имел в виду, ей было достаточно того, что он обычный гений, и что они лежат сейчас рядом, в его постели, обнажённые, и каждый из них понимает другого с полуслова.

Оказалось, что это не совсем так, интуиция отчасти подвела её в тот момент, когда она не придала значения этим его словам, пропустив их за ненадобностью мимо ушей. Когда папа говорил про *них*, она, раздражаясь, просто не понимала, что и кого он имеет в виду. Когда же Царёв упомянул приблизительно то же самое, выразившись, правда, другими словами и в иной коннотации, она этого не услышала. В противном случае, вполне возможно, теперь не имела бы места вся эта дикая ситуация с её отцом.

Потом они были вместе, соединившись и долго не размыкая объятий: он уже успел вновь соскучиться по ней, и она не могла в это не поверить по тому, как он брал её, как ласкал её молодое тело, как гладил всю её от мочки уха до пальцев ног. Он был её, окончательно, он решил это для себя сразу и бесповоротно. Она же с самой первой минуты их знакомства уже принадлежала ему, и это не могло теперь зависеть от любых её видов на собственное

будущее – так им было назначено.

Только потом, насытившись ею, спросил:

– Что случилось, моя хорошая, почему ты здесь?

– Мы не поладили с папой, – честно призналась Женя, – он решил, что ты из органов, которые, как выяснилось, он ненавидит, хотя раньше мы никогда с ним об этом не говорили.

Царёв хмыкнул:

– А что за органы, не говорил?

– НКВД, – отозвалась Женя, – и комитетчики. Так он сказал почему-то.

Павел Сергеевич закинул руки за голову, втянул ноздрями воздух и, подержав его в себе пару-тройку секунд, шумно выпустил обратно.

– Что ж… – сказал он, – у тебя умный отец. Я, кстати говоря, тоже их ненавижу, милая, и думаю, что не меньше твоего папы.

– Как это? – искренне не поняла она, – за что? Сталина нет давно, его же когда ещё разоблачили, в 56-м, вроде, чего же теперь дуться-то на пустое? – Она пожала голыми плечами и коснулась пальцами волосков на его груди. – Тем более тебе, герою Отечества, первопроходцу, отцу советской космонавтики, которому всем впору в пояс кланяться.

– Герою? – он ласково придавил её руку своей, и она ощутила биение его сердца, – Ну да, герою, конечно же, как не герою… Но только после того, как они сняли с меня все обвинения и вынужденно реабилитировали. А до этого подержали в Магадане, в лагере строгого режима, три самых страшных года. И ещё успели добавить таких же шесть, между делом, но уже на тюремном режиме.

Она приподнялась на локте, не веря услышанному:

– Паша, это как? Это что, правда? Такое разве возможно?

– Знаешь, мой случай особый. Как только они меня головой в дерьмо, я каждый раз оказывался с лопатой. У меня всё наоборот было, не по Антону Павловичу: тот говорил, если вас в околоток ведут, благодарите, что не в тюрьму, ну а коль в тюрьму – спасибо, что не в геенну огненную. Так вот меня они, минуя ненужный промежуток, сразу же в эту самую геенну и окунули, с неё и начали, чтобы время даром не терять, а только после этого в тюрьму. Ну, а потом при околотке подержали ещё, до самого 57-го, если так уж считать. Вот об этом и нужно было рассказать своему папе, а не обижаться на него и не создавать не нужного никому семейного скандала, – расслабленным голосом отреагировал Царёв, всё ещё находясь под воздействием любовного дурмана, – глядишь, и не заподозрил бы меня в этой гадости. Мало того, что довелось в жизни по самое оно

нахлебаться, так теперь ещё и перед родителем твоим придётся отмываться как перед будущим тестем… – он улыбнулся невидной улыбкой, но она её всё равно почувствовала, как и ощущала теперь движение каждой частички его большого тела, – а ведь вполне могли бы мирно разойтись, по-родственному, а? Как сама считаешь?

– Но я же ничего такого не знала, – смутилась Женя, – честно. Может, кто-то, конечно, у нас в КБ и в курсе, но только мы никогда про это не говорили, у нас каждый знает, что вылетит в ту же секунду, если только рот откроет про что не надо, они перед тем, как брать, с каждым беседовали, – она развернулась к нему и придвинулась ближе, всматриваясь в крупные черты его лица, уже слегка освещённые начинающимся рассветом, медленно наплывающим на них из-за окна рассеянным предутренним светом, – разве ты этого не знаешь, Паша?

Он хмыкнул:

– Я ещё знаю, что Адольф Иванович Цинк – немец по национальности, что он превосходный маркшейдер, хотя и без диплома, что слабовидящий и что живёт в коммунальной комнате на краю Караганды. До этого семнадцать лет работал на меднорудном карьере, не помню, в каком посёлке, ближе к Джезказгану, – и театрально развёл руками: – Меня же за это не увольняют, верно?

Пока Женя, необычайно удивлённая подобной осведомлённостью Царёва насчёт её семьи, держала паузу, он пояснил:

– Это мне те самые комитетчики и доложили, которых не любит наш Адольф Иванович. И которых сам же я заодно с ним тоже не люблю. Просто я хочу, чтобы ты понимала – у каждого своя работа, даже если она отвратительная и не подпадает под чьё-либо представление о предназначении человека в этом земном пространстве. И именно поэтому выход у нас какой?

– Какой? – переспросила она, уже не очень понимая, как ей после этого всего следует себя вести.

– А такой, – хохотнул Павел Сергеевич. – Улететь отсюда к чёртовой матери, с нашей старушки Земли, и построить себе жизнь на другой планете, без чекистов, без кремлей этих и без любого вида человеконенавистничества. – Он снова артистически вздохнул, и у него это опять получилось отменно. – Вот и приходится по этой причине заниматься тем, чем мы с тобой занимаемся: я – побольше, потому что знаю про конечную цель, ты – поменьше, поскольку пока ещё просто не в курсе дела.

Его игривый тон несколько смущал Женю, как бы сбивая настройку на серьёзность и уводя её мысли в сторону от

проблемы, связанной с отцом, которая всё ещё по-прежнему не отпускала её от себя, держа голову в напряжении.

– Он маркшейдер только по необходимости, – ни с того ни с сего вдруг вставила она, желая вернуть их разговор в прежнее русло, – а вообще он художник, замечательный, самый настоящий, хотя тоже нигде и никогда не учился. Он живописец, экспрессионист, совершенно неизвестный и абсолютно несчастный. Все его картины уничтожили, пока мы были в Караганде, я думаю, после этого с ним что-то такое случилось, чего я пока сама не могу объяснить. Всё остальное – попутно, все его ненависти, страхи, вся его нервозность, всё это обличительство и самоедство. Плюс, конечно же, многолетнее одиночество, хотя он к нему, мне думается, давно уже привык.

– Женщина? – коротко сформулировал Царёв.

– Никогда, – с уверенностью в голосе откликнулась Женя, – по крайней мере, сейчас ни малейших следов, а в той жизни просто её негде было взять, разве что написать самому, а потом смотреть на неё и тихо сходить с ума в этой нашей пустыне.

– Позвони отцу, – посоветовал он уже довольно серьёзно, оставив игривый тон, – скажи, что он антисталинист, сам прошел всякое такое, ну и намекни, что, мол, о 58-й знает не понаслышке. Ну а по работе, скажи, инженер, учёный-технарь в чистом виде, как-то так, но не больше, надеюсь, это понятно, да?

Ей было понятно. Всю следующую неделю Евгения Адольфовна провела дома, почти не выходя из квартиры. Она провожала Павла Сергеевича на службу и встречала его после всех его утомительных и никогда никем заранее не знаемых рабочих часов. Разве что попросила один раз машину, чтобы перебросить из общежития на квартиру свой скромный скарб. Главное дело, нужно было перевезти дедов столик, что пропутешествовал сюда вместе с ней, когда она оставляла Караганду.

Она неотрывно читала книги, которые были в доме, поражаясь диапазону интересов будущего супруга. У него было всё, начиная с трудов Циолковского и «Диалогов» Платона до научной фантастики, в основном переводной, хотя на видном месте лежал и Иван Ефремов. Тут же находились, где с закладкой, а какие с загнутой страницей, рассказы Чехова, Бунина, «Бесы» Достоевского, его же дневники, опубликованные письма. Гоголь, тот просто покоился в углу спальни, раскрытый на половине «Мёртвых душ» и обращённый страницами в паркетный пол. Тут же громоздилась стопка чего-то на немецком языке, Женька даже не стала вникать, бесполезно, из немецкого знала только «Битте-дритте вас ис дас» и «Гитлер капут». Рядом – книги по

планеризму, по истории авиации, почему-то «Три мушкетёра», придавленные сверху «Дон Кихотом». Там же, в их огромной спальне, куча пластинок, в ряд: записи органной музыки, гитарный курс и отдельно, во всех вариантах: Бетховен, Бах, Верди, Рахманинов, Вивальди, Моцарт.

Она рассортировала всё как сумела, разложив в удобном для Царёва порядке на свой палисандр, чтобы хотя бы минимально проявить уважение к классикам. Вряд ли, подумала, Павел её рассердится на такое самоуправство, за то, что любимые книжки его и на самом деле стали теперь «настольными».

Пытаясь с толком использовать остатки отпуска, заодно попросила Настасью помочь сделать перестановку в доме. Со спальни и начали, переиначив и остальное по её вкусу. Теперь их постель располагалась так, что утреннее солнце больше не било в глаза, зато свет его, ставший отныне боковым и не таким раздражительным и резким, будучи равномерно рассеянным в пространстве новой спальни, словно немного помягчал и подобрел, оберегая их сон и раннее пробуждение.

Столовой от этой незваной невесты тоже досталось немало. Обеденный стол, который, сколько Настасья помнила себя в этом жилье, всегда числился у них с Павлом Сергеичем главной мебелью, уехал в самый край помещения, прямо под окно, и теперь возможность сесть как люди вокруг него исчезла напрочь. Одна его сторона, длинная, теперь зажатая оконной стеной, улетала навсегда, не принося никакой пользы. Всего сторон оставалось три, и этого, как ей казалось, было явно недостаточно для жизни такого человека, как Царёв. Зато теперь, освободившись, сделалась совсем пустой середина, будто танцевать на ней хотел кто или кувыркаться. В опорожненном отныне центре столовой она по заданию этой Евгении расстелила ковёр, какой прежде висел у них на стене, придавая своим видом уютность и красоту всему жилью. Она, конечно, ничего не сказала, удержала при себе, пошла и сделала: там сняла, тут постелила. Но запомнила, испытывая при том некоторое тайное злорадство – подумала, вернётся хозяин, увидит, чего она тут без него наворотила, и скажет, чтобы обратно всё переделать: тут – назад скатать, там – снова привесить. И то правильно: как же так, ковёр такой красоты, новый, считай, ни разу не тронутый никем, кроме пылесоса, и – под ноги. Ну и по мелочи, разное: картинки настенные поменяла, какие просто местами меж собой, а под которые гвоздики новые попросила вделать. И всё поперевешала. До этого, пока уже совсем не успокоилась, отходила к другой стене, щурилась, нос себе чесала, молчала подолгу… потом возвращалась, просила подержать так и сяк, то повыше, а то чуть-

чуть левей и вниз на полпальца. Короче, почти всё у неё сдвинулось или поменялось местами. В конце концов, чаю попросила, и сели пить с ней, вместе. Сказала:

– Спасибо тебе огромное, Настенька, за помощь. Мы с тобой большое дело сегодня сделали, Павлу Сергеевичу непременно понравится, вот увидишь.

Ну, Настасья покивала, соглашаясь, но только видом своим, а не головой; подумала, придёт хозяин, вот тогда держись, невестушка, узнаешь, кто тут у нас главный и чего скажет ещё на такое самоуправство, коль не по нраву ему окажется. А на словах поинтересовалась вежливо, намекая на похвалу:

– И откуда ж знаете про всё такое, куда надо и чего и обязательно на полпальца?

Женя пожала плечами, улыбку произвела тоже нормальную, непритворную. Она вообще всё время вела себя как-то не так, очень уж подозрительно естественно, будто по заказу. И это не могло в первое время постоянно не настораживать Настю. А Евгения тогда ответила ей, насчёт мебели:

– Не знаю, если честно, Настенька, у меня папа пишет, он чрезвычайно строгий в смысле композиции.

– Композитор, что ли? – не поняла та, – иль писатель? Пишет-то чего, про что?

– Да нет, ты не поняла, Настя, он художник, превосходный живописец, от Бога. А пишет в основном маслом, – на мгновенье она замялась, но тут же уточнила: – Я хочу сказать, писал раньше.

– А теперь чего ж, болеет? – участливо поинтересовалась домработница, – сам-то он где? В каком месте прописан-то, в здешнем каком или с далёка сами?

– Мы изначально сибирские, – улыбнулась новая хозяйка, – правда, я там пока ещё не была. А вообще, из Караганды, он у меня там работает, молодой ещё совсем, твоего возраста, наверное.

Исходя из этих слов Евгении снова выходила неувязка. «Вроде и похвалила, что молодая, как батя её, а вроде б и в матери ей же гожусь…» – подумала Настасья и всё же решила больше уйти в тайную обидку, нежели оценить комплимент по достоинству и существу.

21

Все эти дни, пока новая жиличка безвылазно обитала в их с Павлом Сергеичем квартире, Настасья, уже окончательно разуверившаяся в собственной незаменимости, не находила себе места. В этих резко изменившихся жизненных обстоятельствах место это, напрочь теперь обнулённое и ставшее совершенно иным, следовало вразумительно для себя же самой определить с учётом новых малоприятных реалий. Девчонка эта сама по себе вроде б и ничего, не гадина и не сволочь, какой вполне могла бы оказаться, присушив Павла Сергеича своими молодыми прелестями и безотказными совместными ночами. Про это Настасья знала и понимала, что Женя накрепко зацепила его собой. Ночью, не самой первой, а уже потом, чуть спустя, она, преодолевая страх и отвращение к самой себе, неслышной мышью пробралась под дверь хозяйской спальни и вслушалась в звуки, что шли оттуда и достигали её настороженных ушей. Правда, быстро осознав, что за дверью той для неё происходит наихудшее из того, что могло быть, она сразу покинула точку своего преступного нахождения, так же неслышно ушмыгнув в свой конец жилья. После плакала: недолго, но с болями, физическими, настоящими, с пружинной прищепкой изнутри грудины – первыми за все годы её верной службы.

Ей было сорок пять, и жизнь её кончилась. Конечно, никогда не надеялась она ни на какую близость с хозяином свыше той, поразовой, случайной, накатывающей на него в дни его небесных удач или просто по накоплению мужского желания. Но нечто очень далёкое, женское, изначально посеянное в душе её в тот самый день, когда он сказал ей, давай, мол, погрей меня, Настён, так и осталось незабытым, так и зажилось в ней, прикипев липким краем памяти.

И всё же девка эта была ей опасной, чужой, посторонней. Не могла Настя не понимать той простой вещи, что, коли не угодит она будущей жене, то попросту вылетит в один проворный миг из дому звонкой шампанской пробкой; не станет Павел Сергеич тратить на неё своё ценное время, разбираться да испрашивать, кто кого был у них неправей. Приворожила, хитровка, ясное дело.

В общем, было то, имелось и это. Всякие мысли теперь одолевали её, то борясь меж собой и сталкиваясь, а то уступая путь третьим, мирным, хорошим, какие подсказывали не дурить и не злобничать, а принять жиличку, как положено: угождать ей, как угождала самому, и подлаживаться, как делала это все годы, верно служа и не угодничая. Ей и самой хотелось бы, чтоб не

жгло в серёдке, чтоб лишь доброе командовало в ней, не допуская до головы пакостных и завистливых дум, и чтоб и по дому, как прежде, делалось всё, будто б пелось и звенело – от души.

Но наступала ночь, одна, а за ней другая, и, если он не уезжал, то оба они уходили ночевать на своё почти уже супружеское ложе; ей же мечталось, чтобы не было их совсем, ночей этих ненавистных, хотя каждый раз оба желали ей спокойной ночи с самой обходительной и самой что ни на есть неподдельной улыбкой на лице. А главное и самое дурное, что в улыбку ту она верила, но только вера эта не помогала, а лишь добавочно раззадоривала, повергая в новую горечь и приводя к другому всплеску отчаянья и борьбы с самой собой.

А как отбыла Евгения к папе, то стало полегче, ощутимо, по прищепке было понятно – ослабился прихват, рассупонилась, отпустила на сколько-нисколько. А только коротким вышел перестой – тут же вернулась, как и не отбывала никуда. И сам в отбытии, с глазу на глаз остались с ней: одна отрада – спать идёт сама, без него. Ещё Настя обратила внимание на странную штуку, раньше не теребившуюся в голове. Ведь, если честно, в стараниях своих угодить хозяину в постельной надобности, порой забывалось главное, чуткое, живое для женской ответности. Отдаваясь Павлу Сергеевичу, она думала лишь о том, чтобы сделать ему как можно приятней и слаще, подставляясь так и эдак, угадывая по глазам его, по дыханию, по усталости или же по неутомимости, с какой, бывало, брал её, чтобы, отпуская, оставался ею довольный и сытый, как будто и покушал, и понравилось. И чтобы помнил, что в любой миг, только кликни, придёт и подчинится. Сама же брала себе по остатку, если получалось чего подобрать. Со временем вообще разучилась думать в эту сторону, да и чувствовать заодно чего-ничего, будто смирилась с тем, что нет потребности в ней как в живом, трепетном и ответном существе, а есть одна лишь телесная нужда, да и то когда подступит. Однако и такое устраивало совершенно, целиком, безо всяких ненужных голове отвлекающих помышлений.

Теперь же, с появлением этой немочки-Цинки, многое поменялось в её прикорнувшем на годы женском устройстве. Будто проснулось что-то, разбудилось, сделавшись недоброй медведихой, раздёрнувшей спящие присмотры после долгого провала. Вспомнила не то своё, а это, с чего началось у них, когда тело ещё трепетало, а мысли окончательно не улеглись, прикидывая про жизнь так и по-другому.

Теперь же прикидывала не она – другая, законная, от которой зависело дальнейшее, будь оно проклято. А и знала ведь, знала,

что напрасно всё, что не дозволено думать так и злобничать, несмотря, что и сам – старик, и сама – сопля безрогая, а честно всё там меж ними, достойно, по согласию и без оглядки на любые разности и остальное.

Так и маялась Настасья с разнопеременным успехом: то отдаляя себя от этих невесёлых метаний, то вновь на короткий промежуток подойдя на расстояние плевка к непотребству, какое вершилось на её глазах в святом для неё доме, где проживал наместник Бога на этой выжженной солнцем и истёртой ветрами степной земле.

Царёв в тот день вернулся как всегда, уже ближе к полной темноте – большой, добрый, улыбающийся, с цветами. Букет был дивный, он состоял из невиданных прежде Женей цветов, явно не произрастающих в здешних местах. Каждый довольно короткий стебель заканчивался маленьким белым пушистым созвездием, в центре которого, прижатые один к другому, располагались мягкие шарики, видом своим напоминавшие миниатюрные подушечки на лапе льва. Сами же лепестки были словно связаны из белых меховых волосинок и раскинуты во все стороны вокруг этой лапы.

– Боже мой, какое чудо… – прошептала Евгения Адольфовна, едва придя в себя от изумления и опустив лицо в букет, – что это, откуда? Как это называется, Паша?

– Это ясколки. Их называют еще крымскими эдельвейсами, – явно довольный произведённым эффектом, ответил Главный. – Только что из Крыма, я просил собрать букет для тебя, знал, что попаду в самую точку, дочь художника не сможет не оценить.

– Из Крыма? – удивилась она, – но как, каким образом?

– На самолёте, – пожал плечами Царёв, скидывая пиджак, – нашим, служебным рейсом. Теперь туда часто придётся летать, ЦУП окончательно переводим в Евпаторию, я разве тебе не говорил?

– А разве это не тайна? – шутливо отбилась она, всё ещё не отнимая лица от эдельвейсов, – может, теперь с меня ещё одну подписку возьмут, с другой степенью допуска?

Павел Сергеевич расхохотался:

– Единственная тайна, которую тебе не следует знать, моя хорошая, это что крымские эдельвейсы занесены в Красную книгу, и потому их категорически запрещено собирать. Впрочем, теперь и ты об этом знаешь, о нашем маленьком совместном правонарушении. Хотя… – на мгновенье он задумался, после чего соорудил смешное лицо, напустив на него притворную строгость, – если взвесить другие преступления, тоже маленькие и побольше, то всё же думаю, в конечном итоге выиграют не они,

не запретители этой небольшой радости. – И, не дав ей никак отреагировать, добавил: – Вот смотри, – вытянув один цветок, он ткнул в него пальцем, в самую серёдку меховой звёздочки, – недавно узнали, что эти тонюсенькие волоски полностью поглощают ультрафиолет и так защищают эти нежные лепесточки от горячего горного солнца, от опасных для растения ожогов. Каково, а, Женюра?

– Здорово, – ответила она, – меня папа так называл, таким именем, особенно когда хотел дать понять, что он меня любит. А я, между прочим, люблю тебя, ты у меня сам из Красной книги, как редкий экземпляр человеческой фауны. – И засмеялась.

– Ты ему так и не позвонила? – ответно улыбнулся Царёв, одновременно подгоняя глазами Настасью, суетившуюся насчёт стола.

– Завтра позвоню, – отозвалась она, – обязательно, я уже решила, просто для этого мне нужно собраться. Теперь, думаю, я уже готова к разговору. – Потом она чуть осуждающе посмотрела на него, отведя взгляд сначала вправо, затем влево – А тебе что, не понравилось? Почему ты ничего не сказал?

Он крутанул головой туда-сюда и только теперь заметил произведённые ею обновления.

– Оп-па! – воскликнул он и притянул Женю к себе. – Вот это я понимаю! Вот жена так жена! Красиво нечеловечески, нет, правда: замечательно всё получилось, никогда бы не подумал, что таким простым вмешательством можно так радикально изменить мир к лучшему, пускай даже в масштабах одной квартиры. – Он обернулся к Насте, заканчивающей накрывать на стол. – Насть, а тебе-то самой как? Небось, тоже радуешься, смотри, места теперь сколько свободного у тебя, летай не хочу!

– Радуюсь, – выдавила из себя Настасья, стараясь прикрыть очередное расстройство занятостью, – чего ж и мне не порадоваться, раз вам от этого тоже радостно.

– Ты ещё спальни не видел, – добавила масла Женя в Настасьино пламя, – поедим, потом продемонстрирую тебе, на месте. – И оба понимающе улыбнулись чему-то своему. В этот момент Настя уже тихо начала ненавидеть обоих, однако всё ещё продолжая выказывать внутреннее уважение и почтительность к Павлу Сергеичу, но только если брать его в отдельности, без неё.

Утром он уехал. Женя же, выждав пару часов, заказала разговор с отцом, продиктовав телефонистке его рабочий номер в проектном институте.

Их соединили через полчаса, Цинка подозвали, и он взял трубку. Она начала разговор сходу, решив, что лучше будет для обоих, если не брать долгий разгон и сразу же объясниться, как

отец и дочь, без всех искусственно надуманных причин и прочего наносного идиотизма. Он и на самом деле получился коротким, их разговор.

– Папа, – сказала Женя, – я хочу, чтобы мы помирились, мне неприятно то, что между нами произошло. Мне кажется, всё это абсолютная чепуха и твои немного расшатанные нервы, которым ты позволил себя одолеть. – Адольф Иванович слушал молча, не делая попытки прервать дочь, впрочем, возможно, ему было просто неудобно разговаривать на эту деликатную тему на работе. В любом случае, это был скорее добрый знак, нежели плохой, и она решила чуть добавить напора: – Павел Сергеевич и я, оба мы хотим лишь одного, чтобы ты приехал к нам в гости и вы бы с ним познакомились, хоть предварительно. И вообще, нам есть чего тебе рассказать. Он может выслать за тобой машину, без проблем. – На той стороне, однако, всё ещё была тишина, и это её озадачило. На всякий случай Женя пару раз дунула в трубку и спросила: – Ты меня слышишь, папа? Ответь что-нибудь.

– Я тебя слышу, Евгения, – раздался в ответ голос Адольфа Ивановича, – ты просто ответь мне на вопрос, а потом уже отвечу я.

– Ну, конечно, пап, конечно, спрашивай, что ты хотел уточнить?

– Всего одну вещь – отозвался негромко он, – свяжешь ты с этим человеком свою жизнь или не свяжешь, больше я ничего не хотел узнать.

– Папа! – едва владея собой, закричала она в трубку, – о чём ты говоришь?! Мы с Павлом Сергеевичем хотели, чтобы ты приехал на наше бракосочетание и заодно пожил с нами какое-то время. Если у тебя нет отпуска, то он его тебе организует, договорится с кем нужно, ты об этом, пожалуйста, не беспокойся! – В какой-то момент ей стало вдруг казаться, что виной всему заурядно плохая слышимость, дурная связь, и главная причина вовсе не в том недопонимании, которое зародилось между ними в тот раз, а именно в этой недостаточной слышимости, портившей сейчас всё дело ему и ей, его любимой единственной дочери. А ещё успела подумать, зацепив самый край быстрой мысли, что – о, Господи! – при чём тут всё это вообще: сидел – не сидел, зэк – не зэк, любит – не любит – плюнет – поцелует – все эти смешные аргументы, которые накидал ей Павел для разговора с собственным отцом, таким же любимым и таким же единственным родным ей человеком на этой большой земле. И она снова крикнула туда, в микрофон казённой чёрной трубки: – Ты не думай о плохом, папочка, нет его, плохого этого, и никогда не было, просто перестань забивать себе голову

ерундой и приезжай к нам, мы очень будем тебя ждать!

После непродолжительной паузы на том конце раздался лёгкий шорох и голос её отца произнёс:

– Ты свой выбор сделала, Женюра, а я сделал свой, и другого не будет… У меня была дочь, теперь её нет… У тебя был отец, но вместо него теперь будет муж… Пускай каждый из нас останется при своём…

Слова эти докатились до сознания не сразу: сначала они недолго постояли в воздухе, возле самого уха, не проходя в голову, и только после этого стали медленно заползать вовнутрь, так же неспешно обращаясь в смыслы, слово за словом: сказал – отрубил, ещё сказал – ещё отрубил. И только когда последний из них достиг её рассудка, Евгения Адольфовна, вздрогнув, вновь собралась с мыслями… она пока не знала, какими словами ответит отцу, но в любом случае, сделать это было теперь невозможно: из трубки доносились короткие гудки… Всё было кончено.

Разговор этот Насте довелось услышать целиком, от начала и до последнего слова, выкрикнутого на ту самую, отцовскую, сторону. Она бы, может, и не пришла послушать, кабы Евгения так не усилила голос, почти до вышнего крика, когда ей дали этот заказной разговор. А там, ясное дело, был отец её, раз «папа-папочка», тот самый художник от того самого Бога. Видно, не задалось у них, судя по словам её, разладилось что-то. Само по себе такое дело не было для Насти ни плохим, ни хорошим – вопрос чисто семейный. Одно кольнуло – про бракосочетание. Она знала, конечно, что жиличка будет хозяину женой, это и не скрывалось с самого начала. Но всё же потихоньку надеялась, что затея эта пустоголовая как-то разладится сама, рассыплется через время общего проживания, вернётся к прежнему упорядоченному виду, и всё пойдёт, как шло раньше: в тихости, строгости и верной службе до конца дней. Но, услышав, что уже приглашают, закручинилась конкретно, имея верный факт. Просто так болтать не станет Женя эта, если отцу родному такое промолвила. Значит, правда, конец близится привычной жизни и надеждам на достойную старость при доме.

Обождав с полчаса, пришла к ней, присела на стул возле её стула, спросила, сделав скорбное выражение:

– Всё там у вас в порядке, Евгенечка? А то вы так волновались, что мне показалось, случилось чего. Может, в аптеку надо? А то я сгоняю, только пошлите.

– Спасибо, милая, ничего не нужно, – выдавила из себя Евгения Адольфовна, и Настасья поняла, что даже эти слова дались ей с трудом. – Идите к себе, пожалуйста, я пока одна

побуду, ладно?

Ну она и пошла, не зная, огорчаться хозяйкиной беде заодно с ней, или же пустить беду её на самотёк и жить, не замечая, что она есть.

Вечером горечь Женина несколько поутихла. Вернулся Павел, она ему рассказала, почти дословно. Тот помолчал, потом сказал, обняв:

– Не печалься, обойдётся. Дай срок. Его, видно, крепко задела моя личность: наверняка придумал себе, что его дочь вступает в сделку с дьяволом, не меньше того. Давай пока оставим это, потом будет видно, нельзя загонять себя в безвыходный тупик. А отец твой, Адольф, или очнётся рано или поздно, или… так и не проснётся. А раз так, стало быть, и пускай. Не расстраивайся, милая, тебе нужно иметь хороший цвет лица, у нас послезавтра свадьба, нас распишут – негромко, правда, – но всё уже договорено. А потом улетим на три дня в Евпаторию, покажу тебе наш новый ЦУП – Е, тебе как жене Главного конструктора теперь по рангу положено знать, что и как творит твой благоверный, иначе будешь думать, что вроде как от безделья мотаюсь туда, цветочки запрещённые собирать и раздаривать их потом посторонним дамам.

Жене и на самом деле после того, что ей сказал Царёв, стало полегче. Хотя никогда и не сомневалась, что намерения с его стороны самые серьёзные: так уж устроена была, про всё хорошее угадывала лучше, чем про плохое, к тому же успела проскочить, не столкнуться с гадким. «А вот папа, наверное, не успел, – подумала она, – в какой-то момент жизни заразил себя чем-то ужасным, отвратительным, неизживным, какое до сих пор простить не может *этим*».

22

Ни свидетелей, ни платья белого, невестинского, не было в помине. Да и не было для обоих в том нужды. С этим человеком всё было не так, как бывает у других, она это прекрасно сознавала. Он уже изначально сделан был из иных, неземных каких-то материалов, не предполагающих соединения в одном объёме размером с человеческую личность такого количества химических и умственных элементов сразу. Сказал, к чёрту все эти холодцы, хрены, звоны, давленые улыбки, бодрые слова напутствий – просто улетим отсюда, а там уйдём в горы, к эдельвейсам, и будем смотреть в небо, нам оттуда должны подмигнуть, точно знаю. Это и будет наша свадьба. А захочешь, оставлю тебя потом на любой срок у моря, только скажи, а соскучишься, устанешь отдыхать, пришлю за тобой самолёт. И плевать на остальное, я заслужил и тебя, и самолёт этот.

Их подвезли на чёрной машине к расположенному особняком неприметному зданию без вывески, проводили по неглавной лестнице на второй этаж, после чего завели в небольшой зал для конференций и оставили одних. Через пару минут появилась тётка серьёзной наружности, в крупных роговых очках и костюме джерси. На голове у неё возвышалась сложносочинённая башня, исполненная из туго обвитого фальшивой косой шиньона. Пока тётка шла к столу, где уже были разложены необходимые для регистрации брака атрибуты, башня смешно покачивалась, и оба они не смогли сдержать улыбки. Сама же тётка вид имела торжественный. Наверняка ей дали понять, что церемония эта особенная и чтобы не затягивала с ней. А уж о присутствии посторонних речи вообще не идёт – всё по специальной процедуре, кратчайшей. Заодно попросили, чтобы без дежурных напутствий. Она поначалу рот открыла от изумления, но ей сунули в физиономию удостоверение бордового сафьяна с золотым тиснением, и она тут же всё поняла. Сказали, привезём – увезём, будьте готовы, и вот вам все данные на брачующихся для подготовки свидетельства.

Всё прошло, как обещали. Тётка улыбнулась молодым вымученной начальственной улыбкой, на всякий случай, поскольку совершенно не в состоянии была даже прикидочно оценить, кто же они такие и каков их служебный ранжир, этого пожилого и его девчонки. Затем пригласила обоих к столу, покрытому алым для пущей торжественности. Они оставили каждый по подписи: кольца, решили, – потом, если такое вообще понадобится, – и поцеловались быстрым коротким чмоком: даже

такую малость не хотелось выносить на посторонних. Всё, на этом церемония завершилась. Загсовскую начальницу выпроводили за дверь, их же провели другим путём, снова неглавным. Их общий чемодан, заранее собранный, уже был в машине, и они оттуда же, не заезжая домой, уехали на аэродром, где их ждал его самолёт.

Они прилетели в район Симферополя, хотя могли приземлиться на военном аэродроме, ближе к конечной точке своего короткого путешествия. Оттуда на вертолёте оставалось бы уже совсем чуть-чуть: с десяток минут на всё про всё, и они – в Центре дальней космической связи. Однако Женя посмотрела на мужа так, что Павел Сергеевич сразу понял, и уже через пару минут экипаж самолёта был переориентирован. Те связались с аэродромной службой авиабазы «Гвардейское», им дали зелёный свет, и они сели в 13-ти километрах от Симферополя. Машина ждала их на поле. Женька, поражённая тем, как лёгким усилием её мужа, практически незаметным для окружающих, моментально решаются любые дела, всё же не забыла справиться и про своё:

– Так мы надолго сюда, Пашенька?

– У нас три дня, – отозвался Царёв, когда они, миновав примыкающую к аэродрому промзону, уже неслись по трассе от Симферополя в направлении Евпатории. – Один из них твой, целиком, два – мои, – он почесал нос и улыбнулся, – но если получится, отщипну от каждого ещё по кусочку в виде дополнительного свадебного презента.

– А с основным как? – не растерялась Евгения Адольфовна, засмеявшись. – Или основной – это ты сам, так следует понимать?

Царёв притянул её к себе, на этот раз слишком крепко и как-то совсем уж по-дружески. Но ей всё равно было приятно. «Хорошо бы стать ему ещё и другом, а не только женой, – подумала она, – это, наверное, было бы вершиной отношений с таким человеком, как Павел Сергеевич». Она, конечно, старалась называть его так, как обращаются к близким людям, но получалось у неё это неважно: имя в паре с неизменным отчеством рвались вперёд, подменяя собой короткие «Пашенька» или «Паша». Пропасть, с самого начала существовавшая между ними, всё ещё давала о себе знать всякий раз, когда она, преодолевая смущение, демонстрировала на людях их узаконенную отныне близость.

– С основным? – переспросил он. – Будет и основной, но несколько позже, когда вернёмся домой.

Вскоре после того, как они проскочили курортное местечко Саки, по левую руку открылся долгожданный вид на море. Женя увидала и ахнула. Она, впервые за всю свою провинциальную жизнь в казахстанской степи по-настоящему вырвавшаяся на

свободу, долетевшая, наконец, на огромном, совершенно пустом самолёте Главного конструктора до этого фантастического Чёрного моря, задыхающаяся от счастья, от того, что всё это случилось с ней, к тому же не во сне, а совершенно наяву, и что рядом он, гений и одновременно любимый муж, и что теперь так будет всегда, пока смерть не разлучит их, смотрела из окна ставшей уже привычной чёрной «Волги» на красоты, раскинувшиеся перед её глазами, и продолжала не верить всему, что сейчас окружало её: этой безумной в своей нереальности морской панораме, этим звукам южной жизни, этим чумовым, неведомым ей прежде запахам солёного свежего ветра, этому светлому безоблачному небу, так не похожему на их степные небеса… – всему, с чего начиналась теперь для неё новая, полностью другая жизнь.

Прежде чем устроиться в служебной гостинице, он провез её чуть дальше, в приморский равнинный район, ему страшно хотелось, чтобы она своими глазами взглянула на чудо, на их радиотехнический комплекс.

Всего их было три, этих громадных параболических антенн, каждая площадью в тысячу квадратных метров. Супруги вышли из машины, и он указал рукой на ближнюю, центральную. Две другие торчали не менее футуристическими сооружениями примерно в километре от этой.

– Смотри, Женюра, может, такое больше никогда не увидишь.

– Это ещё почему? – удивилась жена, театрально закатив глаза, – я что, завтра умирать собираюсь?

– Дело не в этом, – совершенно серьёзно ответил Царёв, – просто вполне вероятно, что когда-нибудь, быть может, не в таком далёком будущем, их просто снесут за ненадобностью, порежут на металлолом и…

– И отольют тебе памятник? – она просто не дала ему закончить мысль, её вновь переполняли чувства, она всё ещё не могла успокоиться, всё ещё не верила происходящему, голова её совершенно отказывалась подчиняться любым разумным сигналам. В этот момент она чувствовала себя обычной дурой, довольно милой, и это ей самой ужасно нравилось.

– Нет, Женюр, не хочу. Я другого хочу.

– Какого другого? – не поняла она, вскинув на мужа глаза.

– Они наверняка меня сунут потом куда-нибудь вроде кремлёвской стенки или вроде того. В смысле, порошок этот, золу.

– Ты о чём, Паша? – снова искренне не поняла Женя и чуть напряглась, на минуту оставив игривый настрой.

– Ты им не отдавай его, Женюр, ты скажи, что, мол, я так

велел. И всё, точка.

– Нам что, не о чем больше поговорить? – она и, правда, была удивлена такой внезапной переменой его настроения.

Он улыбнулся и сменил тему:

– У нас сегодня самый мощный передатчик в мире. Радиосвязь до трёхсот миллионов километров, – и посмотрел на неё, – нет, ты можешь себе представить, Женюр, мы с тобой здесь, а сигнал этот на том конце нашей галактики!

Она не представляла, но ей дико нравилось его удивление, и она с энтузиазмом развила его мысль:

– Вот именно, мы с тобой отсюда шлём им привет, а зелёные человечки на том конце получают его, расшифровывают и посылают нам обратно. Но только, когда мы его получим, ты будешь уже совсем старенький, а я всё ещё в расцвете сил. Так что спеши, пожалуйста, жить, Павлик, не то меня похитят эти человечки, и ты будешь горько плакать.

Потом он перевёз её ближе к Центру дальней космической связи, где располагался ЦУП – Е.

– Смотри, – сказал Царёв, – в прошлом году, когда мы запускали «Венеру-2» и «Венеру-3», то управление шло уже отсюда. Так что теперь будь готова к моим частым визитам в Евпаторию.

– Я буду скучать, – наморщила нос Евгения Адольфовна, – почему нельзя оттуда управлять, от нас, как раньше?

– Потому что, милая, тебя это больше не должно волновать, тебя там скоро не будет, так что нет и предмета для беспокойства.

– Как это? – удивилась она, – а где же я буду?

– На набережной, – совершенно серьёзно ответил муж.

– Это ещё где? – не поняла она.

– Потом объясню, – ответил он, – а сейчас я покажу тебе наш Центр связи с дальним космосом, потом ты поедешь размещаться и обедать, после чего тебя отвезут на пляж и заберут, когда скажешь. Я буду поздно, так что не жди меня, ложись и спи себе, дыши крымским озоном. Наш день – завтра, обещаю тебе, моя хорошая.

23

Он и сам чувствовал, что всё ещё не успокоился, не насытился, не угомонился. Эмоции, которые некогда будоражили его мужское устройство, доставая пульсациями до сердца, кишок, до самой печёнки, проникая в самые мелкие капилляры кровеносной системы, требовали постоянного выхода в течение всех его главных лет, навсегда оставшихся в прошлом, как он теперь о них думал. Да и самого этого прошлого, после того, как окончательно истёк срок его несвободы, по существу уже не было. Никак и ничем не окрашенная связь с домработницей в расчёт не принималась. Пожалуй, если бы Павел Сергеевич Царёв спросил про это себя самого, то себе же и не ответил, не сумел бы провести сеанс такого несложного психоанализа насчёт того, чего в отношении его к Настасье было больше: жалости и сочувствия к ней, случайно возникающих всплесков собственной похоти, странного желания разделить подобным образом очередной успех в главном деле жизни или же – подспудной нужды в матери, которой он никогда не имел, но чьи неясные очертания отчего-то увидел в этой женщине, которую много лет назад нечаянно столкнул с дороги водитель его персональной машины.

В общем и целом, за неимением прочего Настя вполне его устраивала. И даже не сама, а, скорей, то, чем обладала, что при её безропотном содействии он всегда мог иметь под рукой. Да и «прочее» это уже само по себе не числилось в перечне первых жизненных необходимостей. Не думал бы иногда о ребёнке, когда невзначай про такое вспоминалось, что так и не заимел их отчего-то, то, наверное, это «прочее» не стоило бы и собственных упоминаний, коли нет на то специальной нужды. Если же говорить о Насте… в каком-то смысле такое дополнительное домашнее удобство никому из них не вредило. По крайней мере, он всегда знал, что эти их редкие соединения, имевшие место исключительно по его командирской воле, уже не вынудят его думать про всякое постороннее, что, не дай Бог, отвлечёт или уведёт голову в ненужном направлении мыслей. И сама она, женщина как-никак, причём хорошего бабского возраста, со скульптурно выделанным телом от кого-то из ренессансных мастеров второго плана, с чистой и гладкой кожей, скорей всего, случайно получившейся такой по факту рождения, с нескрываемым желанием угодить, где и как только возможно, и отсутствием всякой надежды на любой другой вариант близости с хозяином. Он же, принимая это в лёгкую, всё же рассчитывал, что и сам порой дарит ей минуты приятные и даже, в отдельные

моменты, незабываемые. Всё остальное оставалось вне его мимоходных размышлений на тему прислуги, разве что иногда, хотя и редко, несуществующий материнский образ, преследовавший Царёва странными наплывами, сливался с Настиным портретом, и в такие дни ему просто в голову не приходило позвать её в спальню, даже если и чувствительно подпирало изнутри.

Ему нравилось, как они жили с Настей. Она всегда знала, что и когда ему покушать и почему, просто по лицу угадывала, ото лба его наморщенного ловила нужные сигналы, от ухмылки или от того, каким движением и в какую от себя сторону отложил газету. Он и это ценил в ней, видя, как она старается и как это получается у неё самым нераздражительным для него образом. Правда, иногда он ловил себя на мысли, что рано или поздно связь эта закончится, разом, в один день, просто наткнувшись на какое-либо препятствие, о котором он и сам пока не знал. Быть может, просто охота его спадёт до никакой или же наоборот, сделается такой, что будет уже не до домработницы, и он не пожалеет об усилиях, потраченных на смену караула.

Поздняя любовь? Нет, этого не просматривалось за отсутствием правильного объекта, даже гипотетически.

Роман? Такое допускал, но надо, чтобы его нашли сами и грамотно втянули, а он бы при этом не устоял. Тогда он, возможно, вдогонку к главной температуре и занырнул бы в историю такого разогрева себя изнутри.

Его извечные эмоции всегда заметно мешали ему, не позволяя размышлять хладнокровно, а жить размеренно и планомерно. Однако основная нагрузка всё же пришлась на довоенный период, на годы до 38-го, когда его арестовали и закрыли, по сути, на 20 последующих лет, заменяя время от времени одну его несвободу другой, чуть более или менее отвратительной.

Он не был сиротой в истинном смысле слова. Скорей, Павлик Царёв был сиротой условным, живущим при материных родителях, так и не узнав её самой. Жили отдельно от неё, на Украине. Там же в пятилетнем возрасте и увидел его, человека, ставшего для него героем и вторым по счёту Богом после главного, которым, если сравнивать Его с этим, уже было можно особенно и не интересоваться. Этот же занял воображение впечатлительного Павлика на все подростковые годы. Он был лётчик, пилот, авиатор. Он был Уточкин. Через годы, в 1922-м, когда было объявлено о смерти поэта Велимира Хлебникова, Павел узнал, что название любимой профессии дал именно он. И принялся читать взахлёб, понимая, что тот, кто сложил шесть

букв в это изумительное слово, наверняка не хуже сложит и остальные. И наткнулся:

О, достоевскиймо бегущей тучи!

О, пушкиноты млеющего полдня!

Ночь смотрится, как Тютчев,

Безмерное замирным полня…

Это был готовый образ. Всего на свете. Или ещё, уже добившее: «Я победил: теперь вести/ Народы серые я буду./ В ресницах, вера, заблести,/ Вера, помощница чуду».

Оказалось, можно думать иначе, не так, как привычно уму, не как учат рассуждать и усваивать, беря за основу удобное, накатанное, пройденное не раз и не два. «О, пушкиноты млеющего полдня…»

Он понял разом, и это был удар, гром, сдвинувший что-то внутри мозгов, нарушивший понятные связи, поменявший местами главное и второстепенное, заново перебравший основные детали и узлы головы.

Оттуда и пошло: гидроотряд, механик, планерный кружок; понятно, что будущий лётчик – член Общества авиации и воздухоплавания Крыма и Украины; занятия по планеризму и истории авиации, книги на немецком. Плюс к тому Общество изучения межпланетных сообщений, созданное при подпитке фантастов, от Толстого до Циолковского и Цандера. Но только два последние, хотя и фантасты, но и реалисты. Следом – Киевский Политех, строительство первых планеров, работа в КБ, авиационный завод, МВТУ, Академический кружок имени Жуковского, лекции Туполева, ЦАГИ, первый собственный проект самолёта, рассчитанного на рекордную дальность, создание необычного планера и первые, практически самодельные, ракеты на жидком топливе в опытах под Москвой – это уже в начале тридцатых, приведшие к созданию Группы изучения реактивного движения.

Ракета тогда зашипела, как бешеная, огонь вырвался из-под неё, – первая его ракета, закреплённая для старта с помощью примитивной самодельной конструкции, сваренной из металлических прутьев, пары трубчатых колец и подстрахованная для пущей устойчивости растяжками из найденного не без труда мотка металлического троса.

Сама ракета была небольшой, трёхметрового, наверное,

роста, почти игрушечной, если сравнивать с теми, которые были после неё; он уже подумал было, что всё, провал, сейчас пошипит-пошипит, топливо выгорит, и она запрокинется на снег – хорошо, если не взорвётся. А та вдруг резко оторвалась от вытоптанной им в снегу площадки и унеслась вверх, выпуская из себя небольшой, но восхитительно прекрасный огненный смерчик. Всё это чудо продлилось ровно 18 секунд, она пролетела 400 метров в направлении неба, после чего иссяк её запал и она стала медленно заваливаться обратно. Однако это была победа. Он нёсся тогда как умалишённый к месту этого исторического запуска в миниатюре: добежал, упал, уткнулся лицом в вонючие следы керосина и спирта, и не было ничего прекрасней едкого запаха его первой, небольшой, но уже настоящей победы, как не существовало больше препятствий, чтобы двигаться дальше, от малого к великому.

Тогда же овладела им, всем целиком, от пяток до ушей, любовь к женщине – безумная, неохватная, испепеляющая снаружи и изнутри. Всё шло в ход, чтобы схватить её и больше не выпускать: ходил на руках, задирая ноги в небо, проплывал под баржей в открытом море, рискуя жизнью, делал стойку на руках на самом краю крыши морга. Получил в итоге – забрал её в свою жизнь, но от лозунга своего отказаться так и не сумел: «Дайте каждому жить, как ему хочется, уйдите и не мешайте…»

В результате расстались, не получилось совладать с бешеной энергией собственной жизни, со всепоглощающей страстью к ней, которая и была для него работой… – но и к прочим женщинам, бесконечным, сменяющим одна другую, питающим собой всё новые и новые его эмоции, дающие свежий импульс, чтобы творить, искать, добиваться побед, не думая о поражениях. Он ещё тогда, задолго до того, как стал подлинным гением, хотя таковым и не родился, уже предчувствовал своё особое место на земле и про всякую новую пассию уже знал заранее, что не откажет, просто не посмеет. Потому что он дарит ей себя авансом, он делает неприкрытый намёк, чтобы они догадывались и не могли сказать «нет». У него получалось, почти всегда без сбоев. Умел подавлять волю, особенно женскую, как того не умел никто.

Потом была переводчица, возникшая случайно, но сразу зацепившая, ставшая ему важней и желанней многих других в списке его проходных страстей. Его хватило на два года, без регистрации. Он ей вообще достойного внимания не уделял, этой подписи, предписывающей сторонам верность. Преданность не зависит от формы тела, полагал Павел Сергеевич, и не определяется бумагой. Такое качество в человеке может и должно

непременно и исключительно носить характер самый естественный, как в доведённой до крайнего совершенства красоте живой природы и взаимосвязи её отдельных составляющих. Так и тут: само тело, сам разум, всё, из чего собран организм высшего порядка, определяют для себя нужность в том или ином ещё одном организме, и, быть может, не только в одном…

И, наконец, Реактивный НИИ, должность, первые реальные достижения. И вскоре вслед за тем – 37-й, страшный, жестокий, смертельный. Арестован учитель, Туполев, как и другие: многие расстреляны.

Добрались и до него, Царёва: ясное дело – такой же враг, заговорщик, тратил народные средства на никому не нужные испытания чёрт знает чего. В сентябре 38-го он был включён в список лиц, подлежащих суду Военной коллегии Верховного суда СССР. И снова был он первым, как всегда, – шёл по первой категории, и это означало, что НКВД рекомендует расстрелять как врага народа. Список, попав в руки к вождю, был завизирован, не вызвав вопросов: тем самым расстрельный приговор был утверждён.

Однако чудо случилось и тогда, когда, казалось, просто уже не оставалось шансов на жизнь. Ему повезло, и никто так и не узнал, какая причина стала решающей. Расстрел, неминуемый и уже назначенный, внезапно был заменён десятью годами колымских лагерей строгого режима. Другое же чудо, ставшее судьбоносным, невольно произведённое руками самого Иосифа Виссарионовича и ровно противоположное предыдущему, тоже имело место, но уже поздней, когда судьба всех их, «шарашников», решалась уже Самим. Ему принесли список, похожий на тот, расстрельный, но чуть другой, с учётом потерь за время войны. Вождь почитал про каждого, не поленился, спросил:

– Какой лучший?

Ему сказали:

– Этот, – и указали на Грушко, однако тут же добавили, – но только больно уж сердитый, не признаёт критики. Хотя и соображает, как никто, научные статьи имеет по ракетному делу, одобренные Академией наук.

– Ещё кто? – справился вождь.

– Ещё вот этот, – ответили Усатому, – тоже нормальный, к тому же оценивается как неплохой организатор, годный для любого большого дела. Про голову его известно меньше, но плохого не говорил никто.

Дальше Он допытываться не стал, проставил красную галку на папке «Дело П. С. Царёва» и коротко распорядился:

– В приказ. Будет главным по изделию № 1…

Но пока он всё ещё отбывал во Владимире, и была Кира, всего три или четыре раза виделись с ней, если именно так описывать то, что имело место между ними. К тому же не добрая воля или разом вспыхнувшее чувство сыграло роль, а пустая случайность, всё то же недоглядство да разгильдяйство охранителей стало тому причиной, что, так или иначе, сыграло на руку любовникам по несчастью.

Царёв её потом почти не вспоминал. Он, впрочем, не был уверен, что, легко получив её на свободе, ещё до той ужасной части своей биографии, ему бы захотелось и дальше тратить время на соблазнение и короткий роман. Да и лицо не отложилось в памяти как нужно, всё больше сзади помнил картину, как она вибрировала под ним, издавая стоны, а он придавливал ей шею, чтобы звуки из камеры свиданий не могли долететь до вертухайских ушей. Единственное, что зависло на краю сознания, возникая обрывочно, чрезвычайно редко, на совсем короткие секунды и стремительно исчезая вновь, – те волосы её, светлые, волнистые, выпущенные на свободу одним точным движением её красивой руки с тонким запястьем, прикоснувшейся к стянутому на затылке пучку.

Быть может, именно этот участок его памяти, уже сам по себе больной и непрозрачный, к тому же затянувшийся со временем нечистым туманом, в какой-то момент высветлился и очнулся после многолетнего анабиоза, вернув себе прежнюю силу именно в тот день, когда он обнаружил в одном из своих КБ ту светлую свежезавитую голову чертёжницы Цинк. И наверное, именно по этой причине Цинк, Евгению Адольфовну, его жену, в настоящий момент везут в гостиницу, чтобы, дав ей время передохнуть и опомниться от полученных впечатлений, отвезти на городской пляж, где она, наконец, зачерпнув ладонью морской воды, поднесёт её к губам и осторожно прикоснётся языком к теплейшему черноморскому рассолу, испытывая его на вкус.

Но это было теперь. Тогда же, в тот послевоенный год, когда он освободился уже подчистую и с головой окунулся в работу, женщины со второго места в его житейской табели плавно перекочевали на третье, по остаточному варианту: что легко подворачивалось само, то и брал, не слишком затрачивая себя, – просто пользовался, ничего не обещая взамен и не выдавая пустых авансов. Решил, так будет честней для него и правильней для них самих. Тем более что теперь он много времени проводил в Германии, изучая по поручению высшего руководства техническое наследие изобретателей ФАУ-2. Он изучил, конечно, но и улучшил, создав баллистическую ракету с дальностью

полёта до 600 километров. И почти сразу вслед за ней – до 3000 км. Ещё спустя короткий срок его невероятные организаторские способности потребовались на новом направлении: в скором времени начиналось строительство посёлка «Зарница», со временем переросшего во Владиленинск – населённый пункт закрытого типа, и теперь ему приходилось постоянно мотаться в эту далёкую казахстанскую степь, чтобы лично контролировать свою часть – закладку основы будущего космодрома…

24

Они встретились лишь под утро, в гостиничном номере. Его привезли, вымотанного, после бесконечных предстартовых проверок: на 8-е августа намечен «Космос 127», он же «Зенит 4», всё нужно успеть выверить и подготовить – чёрта рогатого вместе с дьяволом. Не было ещё такого рода управления из евпаторийского Центра, всем им ещё лишь предстояло освоить такое на деле: думать же о риске не хотелось вообще, всякий риск отныне обязан быть вычеркнут из любого рассмотрения – с «Зенитами» подобное совершенно недопустимо, особенно после того, что случилось с отменой пуска Р – Н «Союз» с беспилотным КК «Союз 7 К – ОК», когда ракета чёртова взорвалась и разрушила стартовую площадку. Она ведь тоже живая, она тоже живёт и так же, как человек, умирает до срока, если нарушена система жизнеобеспечения.

Однако, что намечено было на день прилёта, сделали, как он запланировал. Всех на уши поставил, и всё ради того, чтобы успеть назавтра ещё одну важнейшую программу осуществить, следующую по счёту, но уже свою, личную, не космическую. И снова, чтобы вписаться в план, спать пришлось четыре часа без четверти. «Вполне нормально, – решил он, – могло быть и три с той же четвертью».

Женька даже не очнулась, когда он вернулся, так забылась после всех этих невероятных событий: полёт заоблачный, первый в жизни и без никого, нереальная панорама прибрежной полосы, потом все эти футуристические диковинности, плюс пляж, обед, хоть и без него, но зато с татарскими пельменями татараш и татарскими же пирогами, тоже чудесными – кубете и бурмой.

Утром они наспех поели, их уже ждал вертолёт, готовый доставить супругов на Аюдаг. Когда забирались на борт, он пошутил, что иногда бывает жаль, что не получается лишний раз попользоваться правами и привилегиями: даже подарка этого им как молодожёнам не от кого принять, хотя многие бы мечтали о таком – достаточно лишь самому распорядиться куда, что и в какое время подавать, начиная от средства любого передвижения до произвольно выбранного блюда местной кухни, – и всё моментально будет выполнено. Теряется, сказал, сам аромат получения удовольствия, сам путь к нему, сладкий миг согласия и победы в промежуточной борьбе за ерунду. А она, добавил, часто и оказывается в жизни основной. То ли шутил, то ли путал. Но ей было всё равно, они уже и так летели над этими божественными холмами, приближаясь к конечной точке своего

маршрута, – к крымским эдельвейсам, мохнатым звёздочкам счастья со львиными лапами по центру, самостоятельно научившимися защищать себя от ожогов горячего солнца.

Они провели там около четырёх незабываемых часов, после чего тем же вертолётом вернулись на базу: он держал её руку, слегка сжимая и разжимая ладонь, она отвечала тем же. Ему было так хорошо, как было только однажды за всю его долгую жизнь, в апреле 61-го, в то самое мгновение, когда приземлилась капсула, внутри которой был его Первый, и его улыбающееся лицо открылось планете, как только от скафандра отняли головную часть. Царёв при этом не присутствовал, но процесс отслеживал посекундно, уже понимая, что всё будет именно так, как случилось, включая эту чумовую улыбку, впоследствии ставшую знаменитой на весь мир.

Она же первое своё настоящее счастье испытала не так, но тоже в 61-м, в августе, шестого числа, когда, уже будучи зачисленной, осталась в общежитской комнате одна, чтобы первый раз за всю свою короткую жизнь переночевать самостоятельно, вдали от папы. Впереди была длинная потрясающе интересная жизнь, и потому она, как сумасшедшая, прыгала на панцирной сетке своей будущей кровати и орала не своим голосом, так что прибежала комендантша и сделала выговор, тоже первый в жизни. Но строгим он всё равно не получился, потому что в эту же минуту по радио торжественным голосом начали передавать о том, как только что в Советском Союзе успешно осуществлён очередной запуск космического корабля «Восход-2» с человеком на борту. И это был Второй, но только она ещё не знала, что этот Второй – его.

Во Владиленинск Царёвы вернулись по отдельности, он всё же уговорил её остаться на какое-то время. Она и сама, вкусив крымских наслаждений, была не против, если на то пошло, да только истекал отпуск – с этим-то как?

– С этим не суетись, – коротко, как отрубил, ответил он, – я уже уволил тебя, так что с этим всё улажено.

– Как это? – удивилась Цинк, – я же ничего не писала, к тому же мне ещё, как минимум, два года отбывать у тебя на службе, я же по распределению. А закон?

– Вот я тебя и перераспределил в домашние хозяйки, – отшутился он, – по моему личному закону и твоему собственному желанию. В общем, не дёргайся, Женюра моя, купайся, ешь от пуза и наслаждайся жизнью. Ты мне нужна здоровая и счастливая, иначе кто каталку возить будет, об этом подумала?

К ней приставили человека: она просто должна была вовремя

сообщать ему о передвижениях и планах; он же, в свою очередь, делал так, чтобы то и другое реализовывалось как можно приятней и безопасней.

Возвращалась Евгения Адольфовна на том же самолёте, за компанию с группой каких-то специалистов. В квартиру ворвалась счастливая, загорелая, пахнущая югом, солью, морскими ракушками, а ещё этими немыслимыми татарскими пирожками, обжигающими рот, как солнце эдельвейсовы волоски. Развернула пакет, вывалила на тарелку, Настасью обняла, поцеловала в щёку, сказала, смеясь:

– Пробуй, милая моя, – съешь вместе с пальцами, обещаю, они ещё, наверно, остыть не успели до конца, их горячими брала, руки едва себе не обожгла.

Настасья взяла, разломила, откусила. Было и на самом деле вкусно, остренько и непонятно из чего, но также и огорчительно не меньше, чем вкусно: видеть такую неприкрытую хозяйкину радость, требующую, как ей думалось, хотя бы из простых приличий некоторой сдержанности перед прислугой, было неприятно. Однако виду Настасья не подала, просто приятно покивала головой и поинтересовалась:

– Воду-то наливать? Мыться с дороги или как?

Ей и с Женей было плохо, и без неё невесело. Что касалось дел обычных, житейских, каждодневных, то с ней выходило как-то бодрей, чем весь день целиком проживать одной без никого, ожидая в любую минуту прихода Павла Сергеича. А эта, молодая, и музыку красивую подберёт из той, что у них в спальне имеется, и запустит так, что слышно на полную катушку и достаёт нежным и приятным до ушей даже на краю коридора и в кухне. Или, например, затеет книжку почитать и позовёт, – иди, мол, Настенька, если делами не занята, я тебе вслух кусочек один прочитаю, послушай, как написано невероятно, ты только вдумайся, сразу всё сама увидишь, будто это прямо сейчас происходит, а ты мимо шла. – И читает, допустим, такое:

«Вишь ты, вон какое колесо, – сказал один мужик другому. – Что ты думаешь, доедет это колесо, если б случилось, в Москву, или не доедет?“

«Доедет», – отвечал другой.

«А в Казань-то, я думаю, не доедет?»

«В Казань не доедет», – отвечал другой.

Этим разговор и кончился. Да ещё, когда бричка подъехала к гостинице, встретился молодой человек в белых канифасовых панталонах, весьма узких и коротких, во фраке с покушеньями на моду, из-под которого видна была манишка, застегнутая тульскою булавкою с бронзовым пистолетом. Молодой человек оборотился

назад, посмотрел экипаж, придержал рукою картуз, чуть не слетевший от ветра, и пошел своей дорогой…»

– Ну как тебе, понравилось? – спросила новая хозяйка и поглядела на домработницу, ожидая ответа.

– Так там про телегу, – честно не поняла вопроса Настя, – и про мужика, какой шёл себе да шёл, а после обернулся просто и дальше пошёл, куда направлялся, и чего с того, соль-то сама в чём у них там?

В ответ Евгения рассмеялась и пояснила:

– Просто очень выразительный язык, сам по себе, понимаешь? Раньше я этого не замечала, просто не обращала внимания, следила за развитием действия, а теперь как бы докатилась и до меня эта бричка, вроде как колесом на ногу наехала и придавила так, что мозги по новой зашевелились. Ну и захотелось просто поделиться с кем-нибудь, извини, что дёрнула тебя от дел. – И тут же предложила, и Настя видела, что она не притворничает: – Может, помочь чем, ты скажи, я с удовольствием, мне иногда даже нравится прибираться, я ещё когда в Каражакале жили, то убиралась всегда сама в бараке у нас, ни дедушке не позволяла, ни папе.

«Вот и жила б себе дальше в своём Каркажале, – подумала тогда Настасья, – а то приезжают сюда пигалицы разные только головы людям морочить да с пути сбивать…».

Но и зла большого тоже не получалось на неё обрушить, всё же эта цинковая Евгения больше была правдошной, не притворной, и как ни старалась Настасья убедить себя в обратном, не получалось у неё, – рассыпалась шаткая пирамидка, в самом низу которой располагалось то, какое виделось дурным и неудобным для жизни, сверху же – остальное, доброе и устойчивое, которое, как ни пытайся, уже было с головы не свернуть. Вот и выходило, что чаще переворачивалась пирамидка та с головы обратно на ноги. Ну а если подбить серёдку, то по большей части всё же оставалась непонятка: то – так, а то вдруг вроде бы и по-другому, не настолько болезненно и обидно против прежнего.

А ещё погодя всё поменялось. Для каждого из них, но по-своему. Женя в тот день уехала на бывшую работу, передавать дела другой чертёжнице, что пришла на её место. Ну, и трудовую забирать, как водится. Там её и прихватило, в кадрах. Скрючило так, что еле добежала до тамошней уборной. Где и провела минут пятнадцать, пока не отпустило: тошнило не переставая, и крутило изнутри, всю, казалось, целиком.

Вечером рассказала мужу; тот сразу позвонил кому надо, и уже рано утром, едва засветлело, нужный человек был на месте, у

них на квартире – охрана снизу провела, предварительно проверив документы. Терапевт был из местных, но лучший, хотя и без опыта работы в условиях нормально населённого города. Тем не менее, оказался довольно опытным диагностом, сразу же сказал и как в точку попал. Спросил, что, мол, у вас, Евгения Адольфовна, по части месячных, какая картина наблюдается на сегодня?

И она поняла сразу, как только спросил. Отчего-то до этого дня ей такое в голову не приходило, что она вдруг ни с того ни с сего станет матерью. Наверное, это из-за того, решила она уже потом, размышляя на эту тему, что их с Павлом Сергеевичем любовные соединения она никогда не рассматривала как способ закрепить себя в новом статусе царевны. С самого начала, кроме любви и уважения к Царёву, происхождение которых она могла легко и убедительно себе объяснить, присутствовало в их отношениях и нечто другое, воздушное какое-то, неземное, что не сразу удавалось ухватить мозгами. Вероятно, мешало ощущение небожительского устройства в этом человеке, который всё ещё почему-то не стал реальным наместником Бога на земле, но как бы уже и перестал быть обыкновенным смертным, имеющим заодно и туловище, похожее на всякое мужское. Потом, спустя несколько дней после той первой ночи, она поймала себя на мысли, что даже её собственное тело на стадии их первых слияний подчинялось ей с усилием, преодолевая сопротивление, о чём она поначалу не догадывалась, но присутствие которого ощутила задним умом, перебирая по секундам все их совместные ночи.

Было чудно́ самой: она даже не сумела ответить доктору на самый незатейливый вопрос насчёт её последних женских дней, хотя бы приблизительно. Тот, признаться, несколько удивился подобной бесконтрольности, но вместе с тем дал единственно верное предписание. Впрочем, мучиться относительно своего безоглядного поведения Жене всё равно не пришлось, уже через сорок минут это просто стало ненужным: гинеколог, к которой её отвезли сразу по убытии терапевта, улыбнулась вежливо и фальшиво, как обычно привечают жён начальственных персон, и поздравила, не снимая с лица всё той же искусственной улыбки, – беременны, беременны вы, товарищ Евгения Адольфовна Цинк.

Царёва привезли под утро, до этого времени работал, и все безостановочно вламывали вместе с ним: предстоял очередной запуск, однако в функционировании стартового комплекса вновь выявились неполадки, досадные, в каком-то неясном звене, причём не в первый раз, но всё на том же месте. Раньше грешили на саму систему управления, на сбой одного из приборов:

оказалось дело в другом, ошиблись разработчики циклограммы. Он поручил «прохлопать» всю систему, от и до, вхолостую. Сделали, и обнаружилось в итоге – этот чёртов разгонный блок: был необоснованно заужен интервал поворота гидростабилизированной платформы, что, как следствие, могло привести к выведению космического аппарата на нерасчётную орбиту. В общем, пока не добрались до причин, никто в эту смену комплекс не покинул. И только одно обстоятельство спасло циклограммщиков от смертельного разноса – позвонил «сопроводитель» Евгении Адольфовны, попросил соединить лично и сообщил новость, которую выудил из врачей сразу же, как только Женя покинула кабинет гинеколога.

Он прилёг рядом, стараясь не потревожить её этим предутренним появлением, но она его всё равно услышала. Однако виду не подала и глаз не разомкнула, решила припасти новость до того момента, когда муж обретёт нужную форму, отоспавшись и придя в себя после нервной и неподъёмно тяжёлой смены.

Она пришла будить его в одиннадцать, как он просил: Настасья передала ей это утром, когда Женя завтракала, не дожидаясь мужа. Он открыл глаза, проморгался, тряхнул головой, и резко притянул жену к себе:

– Спасибо тебе, Женюра…

– Что разбудила? – улыбнулась она. – Можешь ещё немножечко поспать, я тебя снова разбужу, и опять за спасибо, хотя мне это очень даже нравится.

– За ребёночка нашего спасибо, моя дорогая, я тебе этого век не забуду, – тихо произнёс он. – Знаю, что нехорошо загодя благодарить, но так уж устроен, извини. Я счастлив, моя хорошая, я просто самый счастливый старый дурак из всех пожилых дураков, которые рискнули заморочить голову собственной чертёжнице.

Она в изумлении уставилась на мужа:

– Паша, откуда ты это знаешь? Я ведь даже Насте не говорила!

Он потёр кончик носа мизинцем левой руки и поцеловал её в ладонь:

– Я это знал через десять минут после того, как ты ушла от этой бабы.

– С тобой опасно жить, Царёв.

– Ну не опасней, чем с другими, – не скрывая радости, отбился тот.

Она театрально вздохнула, с укоризной покачала головой:

– С кем я живу…

– Надеюсь, с отцом твоего ребёнка… Нашего ребёнка, – добавил он с нежностью в голосе и, отбросив одеяло, резко поднялся на ноги. Он стоял перед ней, широкоплечий и совершенно голый, не испытывающий ни малейшего стеснения за своё поношенное, давно утратившее всякую спортивность тело… за свои не слишком прямые, с заметным варикозом ноги, за неприятные складки, что не так давно образовались в нижней части ягодиц и которые он люто ненавидел, однако поделать с этим ничего уже не мог, за недвусмысленно выраженный намёк на второй подбородок, совершенно бесполезный при наличии первого, вполне нормального и до поры до времени устраивавшего его и всех остальных… за эти свои окончательно поседевшие, бессмысленно завивающиеся так и сяк, неравномерной порослью разбросанные по всему телу седые волосинки. Всё теперь было пустое, неважное, не достойное того, чтобы стеснительно отвести взгляд от этой несовершенной и безрадостной картины. А уж про ненужные никому отложения на животе и в районе поясницы, и заметно просаженный позвоночник, с годами ставший напоминать слабое коромысло, даже думать не хотелось. «В общем, – Павел Сергеевич окинул весёлым глазом свой обнажённый торс, – налицо явная нестыковка главных модулей: всё ещё неугасшего темперамента, дурного состояния физического здоровья и неутешных остатков вполне привлекательной когда-то внешности…»

25

Он и на самом деле был всегда хорош собой, если вспомнить прошедшие годы, отсчитывая от поздних пацанских и вплоть до посадочного 38-го. Тогда ему было 32, и все говорили, что он похож на знаменитого киношного американца Дугласа Фербенкса: густые тёмные волосы сами ложились в почти идеальный зачёс, словно некто умелый ещё в ранние годы показал Павлу Царёву, как с ними следует обращаться, и они, подслушав такой совет, остальное делали самостоятельно. Прямой нос, широченный высокий лоб, мощная шея, выразительные глаза, умный, оценивающий, постоянно держащий в фокусе малейшие детали взгляд, изначально доброжелательный, ещё не успевший стать в те годы равнодушным. Не хватало лишь дугласовых усиков, тонкой аккуратной полоской тянущихся над верхней губой. Кожаное пальто, носимое Пашей по погоде или без неё, с первых его мужских лет сделавшееся непременным атрибутом взрослости и мужественности, добавляло убедительности облику Павла Сергеевича Царёва, чьи способности сотворять несотворимое были в самом скором времени по достоинству оценены окружающими, ещё до того, как даже сам он про себя сумел это понять.

В каком-то смысле такая внешность отчасти мешала, отвлекая от главной цели. Цель же не только не ослабевала по мере возмужания молодого изобретателя и праотца будущего поколения исследователей пространства чёрных невесомостей, но и приближалась изо дня в день: всё чаще и чаще голову посещали идеи, казалось бы, несбыточные и оттого ещё более притягательные. Со временем, наряду со стремительным движением к мечте, он научился и лавировать: жить, применяя принцип избирательности, отделяя важное от наиважнейшего. Женщины относились к разряду немаловажного, или около, чуть слева, если выложить приоритеты вдоль одной бесконечной прямой. Без них у него не получалось, но и с ними не задавалось. Во всяком случае, речь о марафонской дистанции не стояла никогда, он даже в мыслях не мог себе позволить отвлечь разум или сердце на большее, нежели мужская увлечённость на обозримо короткий срок. Двойной опыт, пришедшийся на годы расцвета его молодых ещё и не до конца вызревших идей, не сделал его в определённом смысле лучше, так и не сумев разбудить в Павле Сергеевиче потребность соединить себя надолго с той, кем бывал увлечён. Рано или поздно увлечение

растворялось, уступая дорогу новой идее или очередной страсти. Женщины менялись: кто-то переходил в разряд «надоедных баб», но от кого-то оставалось и послевкусие, – бывало, что яркое, не отпускавшее ещё какое-то время рецепторы его липкой памяти и его художнически устроенного воображения. Такие моменты он любил – когда невольно, не завися от его желаний, всплывали фрагменты недавнего прошлого, ещё не остывшие окончательно, не занявшие места в отведённых им уголках сознания. Именно в это время почему-то зарождались идеи: как правило, те, что не приходили в голову раньше, но которые витали где-то поодаль, о каких он верно знал, чьё присутствие ощущалось постоянно, но до которых он не мог дотянуться. Тут же, когда вспоминалось памятное, с ароматом далёким, но ещё не истаявшим, всё вдруг начинало работать само: цепь замыкалась, мысли его, до этой минуты разрозненные и хаотичные, начинали, подобно детской мозаике, складываться в единый узор, и так появлялся отдельный узел или законченный блок будущего летательного аппарата.

К тому моменту он уже кончился как мужчина, – по крайней мере, так он впоследствии сам для себя решил, когда избавился от последнего груза, не дававшего все годы, пока отбывал и оставался поражённым в правах, чувствовать себя полноценным гражданином и творцом. Запаса его человеческого ресурса хватало теперь лишь на то, чтобы успеть выполнить главное предназначение – уйти, пробиться в высоты, не покорённые прежде никем. И теперь для того, чтобы исполнить это, у него было всё. Остальное же, пустяковое, решалось само, с помощью верной, прибившейся к дому Настасьи – бетонщицы, чьё появление в его жизни совпало по случайности с мигом слабости в подходящий для обоих момент. Никакой чертёжницей ещё не пахло, да и запахов никаких он для себя больше не искал. Прикрыл лавочку, решил, Первый в его жизни теперь ему нужней всего остального, и пускай всё оно будет как есть.

26

То, что Женьку следовало увозить отсюда, и как можно раньше, он понимал ещё до того, как ему сообщили эту невероятную новость. Насчёт её увольнения и перехода на стопроцентно домашнюю жизнь Царёв подумал сразу, как только увидел её, схоронившуюся за чертёжной доской, но из женского любопытства высунувшую голову наружу и метнувшую в его сторону быстрый оценивающий взгляд. Он ведь сначала не саму её засёк, с кудрями этими, светлыми волнами пристроенными по плечам и восхитительно рельефной грудью: он на взгляд её наткнулся, и ему понравилось, как она на него смотрит. Всё там: и тихий восторг, и лёгкий испуг, и осторожная девичья надежда на встречный интерес. Как всегда, – то, о чём остальные начинали только догадываться, в его голове уже успевало выстроиться в логически законченный ряд, давая первые внушительные результаты.

Он, ещё не предполагая такого разворота событий, сначала подумал, что уж с годик-то, наверное, они тут пробудут, а уж потом, если всё пойдёт согласно плану запусков и с дальнейшим контролем процесса из ЦУП-Е, то чего ей сидеть в этой дикой степи, пускай лучше сидит на Котельниках и ждёт его у окна, как царевна, хоть и не Царёва, а Цинк. Сам же он перейдёт на режим жизни туда-сюда, что скрасит его затянувшееся пребывание во Владиленинске, где явный дефицит жизненных впечатлений, а дни и ночи похожи одна на другую. В Москве, в конце концов, театры, музеи, там библиотеки и витамины. Там кинозалы. Спустись, даже не одеваясь, и вот он, «Иллюзион», не отходя от билетной кассы. Он сразу сообразил, что Женька его – другая, совсем ничем не напоминающая его остальных женщин. Она, его маленькая Женюра, тоже, как и они, согласившаяся отдаться ему в свой первый раз, сделала это, однако, совсем не так, как другие, кто почти бесследно стёрся в памяти. Она просто сказала «да, я знаю», не кокетничая и не жеманясь. И расчёта никакого, иначе он бы это увидел, почуял бы нутром, которое никогда не подводило: он и с двигателем угадал, когда надо было, и с топливом, первым в мире. Теперь же всё менялось. Будет ребёнок, и этот год уже становился лишним, ненужным.

– И вообще, мы переезжаем, Женюр, – сказал он ей, натянув трусы и хрустнув, изогнувшись, сутулой спиной.

– Куда, когда? – не поняла она. – Зачем?

– Я обещал тебе свадебный подарок, теперь ты его получишь, честно заработала, – хохотнул Павел Сергеевич, – будешь жить на

Котельнической набережной, в высотке, на 25-м этаже, предпоследнем, оттуда обзор просто сумасшедший, разве что кладбище кремлёвское не отчётливо просматривается, но зато остальное всё: храм Василия Блаженного, Москва-река, мосты… всё это отныне твоё, – надеюсь, навечно, пока смерть не отберёт меня, Женюра, у тебя.

– Не говори гадостей, прошу тебя… – она пребывала в некоторой растерянности, не понимая, что ей сейчас следует сделать: улыбнуться, обидеться или броситься ему на шею. Она произнесла это лишь для того, чтобы дать себе паузу ещё раз мысленно прокрутить в голове услышанное. Сказка, в которую её занесло, благодаря тому, что, родившись этнической немкой, она оказалась у чертёжного кульмана, ближайшего к входным дверям его КБ, продолжалась. Сотрудники, относящиеся к полноценному инженерно-конструкторскому племени, помещались ближе к окнам и батареям парового отопления, и никто не знал, отчего это так – само как-то получилось и продолжало существовать в этой никем не объявленной традиции.

Чудо, тем не менее, снова никуда не делось: она станет матерью и будет жить в Москве, она будет смотреть из своего высокого окна на воду Москвы-реки, слышать её всплески и ждать возвращения мужа из ЦУП-Е или со стартового пускового комплекса, что всё так же расположен по месту её прошлой уже жизни. Она будет читать книги и делиться с ним прочитанным, она станет воспитывать сына или дочь, похожую на него. Возможно, она вспомнит забытое увлечение и снова начнёт свои стихотворные опыты. Она будет всё успевать, потому что у неё много сил и много любви, дающей этим силам ещё и другие, новые и неистощимые.

Одного лишь не знала Евгения Адольфовна с определённостью – как живёт её папа, какое у него самочувствие, и узнает ли она об этом, а он – о ней. В последний раз он ей, кажется, понравился, правда, лишь сначала: эти его новые очки, аккуратная седая небритость, необычная для нее, но притягательная, да и глаза у её отца вовсе не потухли, несмотря на жизнь одиночкой. Она ведь искренне все годы, пока училась, полагала, что его одиночество так или иначе компенсируется живописью. Работа с кистью, углём или карандашом, держала отца в тонусе, не давая закиснуть. И лишь после всей этой ужасной истории Женя резко поменяла мнение относительно его психического здоровья, догадавшись заодно, насколько непросто было отцу столько лет умалчивать о тогдашнем своём обнаружении.

Потом она ещё не раз и не два восстанавливала в голове

сцену их ужасной ссоры, слово за словом, – с момента, как ступила за порог его девятиметровки, – как и последующего их короткого и единственного разговора по телефону. Но всё равно целостная картина не складывалась. Мешало ощущение лёгкого безумия: будто некий ужасный враг, втёршийся к отцу в доверие, медленно и планомерно готовил его к тому, чтобы в подходящий момент вжать подлую кнопку и, выдернув железный башмак из-под дьявольского колеса, пустить под откос состав со всей их прошлой жизнью. Нельзя было так, чтобы с одной стороны на человека наваливалось столько счастья сразу, а с другой – не отпускала боль от этого их семейного разлада, ещё не переросшего в окончательную трагедию, но уже обзаведшегося всеми признаками огорчительной и редкой по бессмысленности драмы.

– А как же Настя? – это был её второй вопрос после того, как ей удалось, наконец, вернуть голову на место.

– Разумеется, с тобой, – пожал плечами Павел Сергеевич, – куда ж вы теперь без неё?

– Вы – это кто? – не поняла она.

– Вы – это ты сама и наш ребёнок, – теперь уже, казалось, и сам он удивлялся её удивлению.

– А как же ты? – снова спросила она. – Кто же за тобой присмотрит, подаст, разбудит?

– А как я раньше жил? – развёл руками Царёв. – Так и теперь буду, приму помощь со стороны, а вы уж там сами давайте, наслаждайтесь жизнью в прежнем составе. Но только имейте в виду, что я вас своей пожилой заботой тоже не оставлю, не рассчитывайте так просто от меня отделаться.

– А ты её-то спросил, Настю? – решила уточнить Женя. – Она-то сама готова ехать? Это же, по сути, навсегда. Или наоборот, не навсегда, но то же самое может и остановить человека, сам понимаешь, по какой причине.

– Не спросил и спрашивать не собираюсь, – довольно равнодушно отреагировал муж. – Она что, дура, что ли, весь остаток жизни провести в этой степи, обслуживая это животное, – он ткнул себя пальцем в голую грудь. – А так, глядишь, выделим ей местечко, и будет она себе на нём проживать. Твоя забота – живот, её – всё остальное, там у меня тоже хозяйство будь здоров, не так, чтобы маленькое. И вообще, – он натянул майку и залез в тапки, – сначала одного подымем, после за других возьмёмся с её же помощью…

Они дурили так ещё с десяток минут, после чего он, глянув на часы, быстрым шагом направился в ванную, бросив через плечо, – завтракать не успеваю, поем на месте. А вы собирайтесь

потихоньку, через пару дней переберёмся, брошу вас там, и сразу оттуда в Евпаторию, у меня плановый запуск на 8-е.

Вскоре Царёва увезли; она же села думать: нужно было, сосредоточившись, раскидать в голове первоочередные дела, поговорить с Настей, и уже только потом приняться за разборку дедушкиного палисандрового столика, который она лишь недавно собрала и разместила в спальне, завалив поверхность подручными книгами Павла Сергеевича.

Настасья, узнав обе новости разом, про будущий живот и про переезд в столицу, сначала помолчала, глядя в точку на обоях, потом села на стул, так же молча, и только после этого заплакала – сразу горько и навзрыд, без приготовительного промежутка. Женя поначалу было вскинулась, не понимая, что происходит, но та, всё ещё продолжая рыдать, сделала ей знак слабой рукой, останавливая любую попытку в любом направлении действий. Евгения Адольфовна, кажется, поняла, тоже села на стул и стала ждать исхода невольной Настиной истерики. Настасья же дала себе, наконец, вполне законный шанс выплакаться вволю, прилюдно, не тормозя себя и не делая попытки укрыть своего счастливого расстройства. Всё тут собралось в этих её слезах, что копилось долгими годами жизни при хозяйском доме, а теперь выплёскивалось обратно.

Она и, правда, никак не могла ещё пропустить через свою некрепкую голову то, о чём её поставили в известность: и что ребёночек будет её, Евгеньин, сделанный с Павлом Сергеичем по взаимности и любви, и что не бросают её, а увозят в саму Москву, и не абы где проживать, а опять же с ними, в тамошнем высотном дворце, какой видала на открытке, что у слияния двух рек. И что не сам сказал ей, а через неё, через подругу жизни и мать своего дитя, а раньше бы такого не сделал, пожалел бы, слово бы нашёл ласковое и успокоительное. И что Женя его сама этого желает, чтобы жила и дальше при ней, а могла б сказать, что пускай, мол, остаётся, где была всю свою тоскливую жизнь, в этой безрадостной степной местности, доживать без никого. Но не сказала. И что хозяйка, откуда ни рассуди, гораздо лучше и человечней, чем сама она, Настя, которая придумывает разного и только всякое дурное нагнетает на Евгению Адольфовну из обычной тайной зависти и обиды, что одним, получается, всё и без трудов, а другим – по остатку. И никогда не угадаешь, чего у них в серёдке таится и ждёт своего часа. А вот только, выходит, дождалась и сама она, потому как сделалась им тоже не посторонней, хотя сам-то он так и не соизволил ответом её поинтересоваться, своей поручил, да уехал на службу.

Все сумбурные размышления про хорошее, доброе и

остальное, перемешанное равными долями, вскоре улеглись, уступив место мыслям другого порядка, уже более практического и ни для кого не обидного. Тем более что Женя, всё это время проведшая подле неё в терпеливом ожидании конца стенаний, с пониманием наблюдала, как та расстаётся с остатками своих обид. А ещё, казалось Насте, Евгения понимала теперь всё и про всех, вместе и по отдельности. «Нет, всё же она больше хорошая, чем чужая, – думалось ей, – напрасно я так об ней, не заслужила она такого от меня, она ж, с другой стороны, не виновата, что Павел Сергеич приманил её и женой сделал. Она, может, сама б даже и не подумала в его сторону, если б он не зазвал её и не домогнулся сразу же, не дав от себя опомниться. Может, котьку завести им, чтоб для маленького забава была: как народится, тот уж подрастёт, играться станут с ним…»

– Ну что, всё? – улыбнувшись по-доброму, справилась Женя, дождавшись финала сцены. Само собой, то, чему стала свидетелем, расценивала не иначе как слёзы радости в связи с предстоящей жизнью в столице. Она и сама сейчас с удовольствием позволила бы себе нечто подобное, но было уже нельзя, вредно для маленького. И дала сигнал к пробуждению: – Начинаем потихоньку, Настенька?

27

Они не улетели ни через два дня, ни через неделю. Павел Сергеевич сумел выкроить несколько подходящих для этой цели дней лишь глубоко во второй половине августа, когда окончательно разделался с последствиями не так чтобы безукоризненно произведённого запуска и, утрясши с Центром новый план, согласовал его с Москвой. Кроме разобранного и упакованного дедова столика, старого фибрового чемодана, с которым она покидала Караганду, её же сумки через плечо и двух среднеразмерных Настасьиных баулов, личных вещей для переправки в новую жизнь у семьи не имелось. Остальной объём занимали книги, пластинки, кое-какие картины, которые Жене, как дочери художника, уже не хотелось оставлять в этой части географии их совместной жизни, и половина архива и бумаг из кабинета. Теперь они были настоящая семья: папа, мама, неродившийся ребенок и, за неимением настоящей, бабушка Настя, она же няня, она же домработница, она же запасное полено для поддержания ровного тепла в семейном очаге, если что. И это было ясно всем, кто сопровождал Царёва в Москву, когда семейство грузилось в самолёт со всей своей поклажей.

По прилёте у трапа, как обычно, ждала машина. Дальше пошло куда как интересней. Ни Женя, ни, само собой, Настасья такого не видали и потому с одинаковым любопытством глазели по сторонам всё то время, пока их везли до высотки. И если у Жени, по крайней мере, имелся хотя бы опыт путешествия в Евпаторию, то бедной Насте удалиться от родных мест на расстояние дальше, чем Владиленинск отстоял от разъезда Тюра-Там, так и не получилось. Кстати, с зарплаты ей, в связи с изменением жизненных обстоятельств, пришлось соскочить, и поначалу она испугалась, хотя всё, за что расписывалась в платёжной ведомости все эти годы, оставалось совершенно нетронутым и этой своей загодя отложенной на смерть тяжестью приятно выпучивалось теперь из боковой части баула. Сберкассам она не верила, уже начиная с первого заработка. Впрочем, Павел Сергеевич успокоил её ещё в тот самый день, когда Женя сообщила ему о полной готовности домработницы стать няней, и пообещал, что в деньгах та ничего не потеряет. А будет стараться, пошутил вдогонку, так сможет рассчитывать и на премию.

«Я сама тебе премией всю жизнь была, – подумала она довольно беззлобно в ответ на его слова, – даровой и безотказной…»

Всё месяцы, пока носила дитя, Евгения Адольфовна,

предварительно выработав и приняв для себя уклад жизни на новом месте, начала постепенно осваивать и сам город. Метро с его неправдоподобно устроенным подземным пространством, пешие прогулки, бесчисленные выставки, от которых можно просто свихнуться, ВДНХ, Большой театр. И, конечно же, Красная площадь, с её памятниками, музеи Кремля, Грановитая и Оружейная палаты, Царь-колокол при такой же царевой пушке, Исторический музей, Лобное место, Храм Василия Блаженного нечеловеческой какой-то, неземной красоты, как Пашенька ей и обещал. Подумала ещё: «Вот бы папе такое успеть повидать, пока он ещё окончательно не сбрендил со всеми этими дурацкими безадресными ненавистями…»

Особняком от всей красоты шёл Мавзолей, с выставленным на обозрение телом вождя. Туда она тоже, конечно, сходила, просто, чтобы проставить галку, какую неудобно в жизни не иметь. Поглядела на невыразительную мумию, освещённую неестественной подсветкой, и подумала, когда уже вышла с обратной стороны, что, несмотря ни на что, всё же сильна и в ней, как в единице истинно русского народа, неизбывная тяга к поклонению собственным идолам, даже если они давно и надёжно неживые.

Дальше можно было осмотреть мемориальный колумбарий – чёрные доски на кремлёвской стене, перекрывающие своими прямоугольниками окна с прахом великих и остальных: то, куда так не хотел попасть её Павел. Он сказал ей как-то, не так давно и довольно неопределённо, когда прилетал на четыре дня, что «остальных» в стене той намного больше, чем «великих», хотя как ещё на это посмотреть. Если – внимательно, то вполне может оказаться, что из последних – совсем никого, за редким исключением.

– Кто же такие? – поинтересовалась она. – Я хочу знать, мне это важно.

– Ладно, раз так, – ответил муж, – но это я говорю только тебе одной, понимаешь, надеюсь?

Она понимала, хотя и не совсем: слишком долго жили они на разных планетах и не успели ещё выбрать для себя общую. Зато, если отбросить неудобные сомнения, то это малое никак не отражалось на их любви. Он и зачитал свой короткий список: Горький, Чкалов, Курчатов – всё! И прокомментировал вдогонку, как-то совсем уж без улыбки:

– Да и то не спросили, сунули урну вперёд ногами и привет, поминай как звали!

Она всё ещё не могла разобраться окончательно, научиться угадывать сходу, когда он шутит, а в какой момент шутка его

обретает некий отдельный смысл, как бы опущенный чуть в глубину, откуда не так всё видно, и слова будто утекают, увлекая за собой что-то ещё, чего не получалось ухватить с первого раза, что имело второе, непрямое прочтение. И ещё казалось иногда, что такими в проброс сделанными замечаниями или полушутками он как бы проверяет её, Женю, свою жену, пробуя на устойчивость неприметно для неё самой, изучает первую реакцию – вероятно, для того, чтобы перейти к следующей, лишь одному ему понятной пробе. Или ей это всего лишь казалось?

Настя тоже, пока не начались ещё большие заботы по будущему младенцу, ходила в самостоятельные путешествия, изучая устройство той большой жизни, о какой раньше лишь догадывалась. Сначала было страшновато, боялась заплутать и остаться ненайденной. Потом, как пожила немного и походила туда-сюда, успокоила себя, перестала опасаться, решила, что домину их, наверно, с любой точки видать, так что дорогу она обратную отыщет, даже если и забредёт в глухомань этих тёмных переулков, каких в центре города полно, один через другой, и непонятно, откуда выйти, чтоб вывернуть на старое место. Зато почти в каждом по церковке – и все звенят по выходным, живут себе, Богу молятся, и никому за это ничего, а она думала, давно уж всё позакрывали. У них-то там ни одной не было, ни во Владиленинске, ни в Тюра-Таме; мать, как ей ещё с детства запомнилось, ездила в село, Провоторово, где православных, против местного населения было уже порядком ещё с беглых времён, с поселенческих. Ту церковку новая власть не порушила. За десять вёрст через голую степь с мамкой на телеге тряслись, бывало. А в церкви мать молилась и свечки после втыкала. Её же тоже попутно приучила, если что, крестным знаменем тайно осеняться. А когда эта проклятая война с немцами началась, перестали ездить, не до свечек стало. Мать померла молодой, считай, от одной плохой болезни, так ей сказали уже потом, когда обратно не вернули на станцию после излечения – не излечили. Так и осталась там, лежит в степной могиле без любого ухода. И то немногое Богово, что наросло при матери, после рассосалось как-то само, позабылось, ничем уже не подкреплённое и никем.

А станцию оставили ей, Насте Блажновой, встречать и провожать составы: ей в тот год девятнадцать сделалось, можно было доверить. И сразу – война. Дальше было – совсем не продохнёшь, и жрать к тому же нечего. А поезда, вагоны бессчётные туда-сюда так и шныряли, с запада на восток и обратно, и все они, казалось ей, дуют через её разъезд; само по себе место это, словно нарочно Всевышним оставленное, а тут как

будто сбесились – было у неё поначалу такое ощущение, что всю страну эвакуируют в её сторону. И был паровозник в те годы у неё, помощник машиниста, подручный, почти три года любились с ним, но дальше этого не пошло. Вся любовь та, пока текла, начиналась и обрывалась накоротке – пока паровоз его заправляли углём и водой, они с ним успевали в её будке перемиловаться. Он первый год обещал, что дай, мол, срок, Настюха, немца проклятого одолеем и сразу поженимся с тобой, обещаю тебе такое дело. И тут же снова лез, по второму разу валил её на матрас, чтоб не только паровоз свой топливом наперёд запасти, а и себя тоже не обидеть, накушать тело досыта, натереть об неё своего пронырливого братуху, пока тот не сделается мочалом, и только успеть потом штаны натянуть, к ботинкам спущенные, до паровоза добежать и сразу же эшелон свой дальше в степь гнать до следующего раза: то в одну сторону от их любви, то в обратную.

А на четвёртый год уже сам машинист пришёл к ней, как только победу одержали и по всем радиоточкам про неё протрубили. Сказал, пацанёнок-то наш женился, миленькая моя, и уехал с молодой женой к ихнему папе под Тамбов жить, там тоже паровозы имеются и тоже подручные требуются. Вот, просил, мол, тебе передать, и протянул банку леденцов «ландрин» в мятой жестянке. Она взяла, у уха потрясла и разрыдалась, насмерть. Било её отчаянно тогда, изнутри, и гнев душил за обман трёхлетний, и леденцы, главное дело, обидели страшно: лучше б совсем ничего не передавал, а просто пропал бы, и всё, она б, может, подумала, убили или бомба, к примеру. А дядька этот приобнял её и успокаивал вроде как, пока рыдала, потом медленно обжимать стал, уже сильней, чем поначалу, когда сочувствие оказывал. Её всё било и било, колошматило от подлости людской, а он трогал её везде, мягко так, вкрадчиво, будто жалел, а сам незаметно глазами на часы с кукушкой зыркал, время паровозной заправки прикидывал, наверно, чтоб успеть отдуплиться.

Короче, всё, как и раньше было, но только не с тем, а с этим. Внезапно на матрас её увлёк: одной рукой руки ей перехватил, обе сразу обжать ухитрился, а второй штаны стал судорожно с себя сдёргивать, чтобы того же достичь, что и помощник его каждый раз получал. Тогда и кончилась вся эта непонятка. Ну, машиниста она, само собой, отпихнула, не поддалась ещё одному обману. Хотя этот и не одурачивал никак, и не обещал ничего: за просто так кусок хотел оторвать, полакомить себя ею – думал, видно, на гребне горя прокатится сейчас, и одной жалости его даровой хватит для быстрого удовольствия. А как не дала ему,

так обиделся, ландрин обратно отобрал, сказал, что это она за то поступает так, что он из немцев родом, а только он не виноват, что его в 41-м с семьёй в Казахстан сослали и что машинистом стал, а мог бы скрипачом или дантистом, к примеру. И ушёл, оскорблённый в лучших чувствах и голодный телом.

Той гадкой истории, к тому ещё и с неприятным добавком, ей хватило уже на годы, чтобы больше не любить их всех, не верить и не поддаваться на любой уговор. До той владиленинской лужи с Павлом Сергеичем, за все последующие годы было у неё потом всего один лишь раз, да и то больше по недоразумению, чем по ответному согласию. Мужчина средних лет и довольно приятный сошел с поезда, а поезд уехал. И негде было переждать следующего, кроме как в её степном жилище. А на дворе ночь. Она просто от жалости приютила, а у него была бутыль дурманного коньяку, прихватил с собой, выйдя подышать и глотнуть тайно от жены, и чтоб заодно не замёрзнуть – так он ей объяснил.

Она по глупой дурости и оставила его до утра, до другого состава, потому что сама же свидетелем стала этой неприятности, произошедшей безо всякого умысла со стороны отставшего. Выпили, короче, она ещё поесть сварганила, из чего нашлось. Он тогда и заплакал, стал душу изливать, что войну провоевал капитаном артиллерии: вернулся, а про жену гадкое сказали, что давала всякому без разбора, но только он не поверил, хотя и проговорил с ней тяжёлый разговор. Так она взбесилась просто, хотя факты налицо, он проверил всё до последней замочной скважины: сказала, бросает его за такие подозрения, а сам он, наверно, просто ум себе спиртом фронтовым свернул на этой войне, и что уезжает к родителям на Дальний Восток. Вот, едет он теперь вместе с ней, надеялся окоротить дорогой отчаянный её норов и заработать себе прощение, потому что не может загасить внутри себя проклятую к ней любовь. Но только, видно, не судьба, отстал по своей же глупости. И они снова выпили его необычайного напитка с тремя звёздками на посуде. А как заснул, сама же пришла к нему, со своего матраса на его передвинулась, он не просил – наверно, даже во сне печалился и страдал. Но всё же взял её: очнулся от провала и тут же взял, подмял под себя, несмотря на всю горечь и безнадёгу своего положения. Был, был тогда у Насти расчёт, первый в её жизни и последний. Подумала, вернётся после, когда уже всё окончательно не уладит, и тогда вспомнит её: снова сойдёт у них на разъезде и явится, уже насовсем. А она его потом получше узнает и уже сумеет полюбить по-настоящему, а не как у кошек бывает – так, как подручного паренька полюбила, когда не знала ещё, что гад. Но только никто

не вернулся, снова обманули её, хотя опять никто ничего не обещал: как сама себе надумала, так сама же по голове и получила…

28

Приметный дом их среди столичных строений, как оказалось, не был таким уж единственным: домов, как их высотка, в Москве выявилось небольшая кучка, и все торчали похоже, намекая звёздными макушками на место Настасьиной приписки – как тут не потеряться?

Рядом, однако, имелся Кремль, и это обнадёживало крепче, чем даже река под окном. Потому что река была везде, Кремль же стоял один, зубчатый и красный, с золотом на куполах и звёздами на башнях, как богатый монастырь, переделанный главным батюшкой в мирный и неприступный укрепрайон. В Кремле решались все первостепенные дела, и туда же – она про это точно знала – ходил и Павел Сергеич: сам обронил однажды такое про себя, и фактом этим Настасья не переставала гордиться никогда. И вот теперь, то самое Богово пристанище раскинулось, считай, у неё за окном, подпирая рубиновыми звёздными оконечностями московское небо, хотя и не было оно, если по правде, таким же погожим и голубым, как их степное, над разъездом Тюра-Там.

Зато теперь у них с хозяйкой имелась другая радость. Недавно прилетел Павел-то Сергеич и сообщил Евгении, а Настя услыхала, что теперь он чаще в Москве будет оставаться, живя больше при жене, и в ЦУПе-Е этом бывать станет не так часто, потому что постепенно переводят они свои дела в Подмосковье, не так далеко от края города по северной дороге. Она, Евгения, ясное дело, несмотря на живот – к нему на шею, радость свою предъявить. И так, не расцепляясь, пошли к себе в опочиваленку.

Комнат было четыре, и все, кроме кухни, на одну сторону, где река и Кремль. Настасье досталась первая от входной двери: она и поменьше была, чем другие, и чуть поодаль от прочих. После неё шёл хозяйский кабинет, сразу за ним размещалась супружеская спальня, после которой длиннющий коридор, устланный дубовым паркетом, завершался арочным проёмом в огромную столовую, напоминавшую своими размерами прошлую, во Владиленинске.

Какой-либо стиль в квартире Главного конструктора напрочь отсутствовал, будучи подменён заурядно-казённым вариантом обстановки, вполне годным, однако, для нормального, хотя и скучного обитания. У Жени было такое чувство, что мебель Павел Сергеевич, не давая специальных разъяснений, поручил кому-то из помощников приобрести в ближайшем мебельном, побыстрей и не торгуясь – брать, что предложат, исходя не из соображений эстетики, а из принципа соответствия основным потребительским

функциям. Люстры, богатые по виду, но никакие для глаза, вызывали примерно те же ощущения. Остальное – качество паркета, высота потолков, заделка плинтусов, лепные карнизы – всё было отменного вида и достойной работы.

– Паша, а у нас деньги есть? – спросила она его в день приезда, когда они легли в постель и он её обнял.

– Деньги? – вопросу жены он тогда, кажется, совсем не удивился: уж чего-чего, а блаженным не был ни на сколько. Почесал мизинцем подбородок, прикинул про себя чего-то и отозвался: – Значит, так: Ленинская премия лежит нетронутая на счету, остальное… остальное тоже, вроде, там. А на жизнь – здесь, – кивнул он на комод, – залезай и пользуйся, Женюр, в размере любой необходимости. И оттуда же Насте выдавать будешь, чтобы не потеряла в зарплате, ладно?

– А можно я кровать куплю, – закинула Женя пока что главный для себя вопрос, – другую?

– Узкая разве? – искренне не понял Царёв, – разве нам с тобой может быть тесно, Женюра?

– Не поэтому, – сказала она, совершенно не пытаясь уклониться от его вопросительного взгляда. – Так можно или нельзя?

– А-а, в этом смысле… – протянул он понимающе, – в этом смысле – разумеется, раз тебе кажется, что так будет правильней, – и прижал её ладонь к своей груди, грея у себя место около сердца. – Кстати, – добавил он, внезапно переключившись на другую тему, – интересное кино, между прочим, они ему Нобелевскую предложили, для меня конкретно, за первый спутник, а он сказал, это заслуга, мол, всего советского народа, а не только одного создателя. Все мы, говорит, трудимся одинаково, в меру сил и талантов, и любой успех наш – общий, и достижения всего советского народа – тоже на всех равно приходятся. И отказался, представляешь?

– Кто? – не поняла Женя, – зачем отказался?

– Да Никита, кто же ещё, – почти по-мальчишечьи фыркнул Царёв, – причём, не из-за того, что рассекретить не хотел, они давным-давно всё, что им нужно, знают, во всяком случае, про меня.

– Тогда почему?

– Потому что хитрая был сволочь, не хотел главных конструкторов между собой ссорить, знал, негодяй, чем такое могло бы кончиться.

– А могло? – спросила она.

– Да-а, – неопределённо махнул рукой Царёв, – ещё как могло! – впрочем, тут же успокоил жену, артистично отыграв и

эту потерю. – Хотя особенно горевать не следует, богаче мы с тобой всё равно не сделались бы, отдали бы в бюджет, на благие цели, куда-нибудь вроде фонда защиты мира.

– Сколько в тебе талантов, – хмыкнула Женя, – не пробовал подсчитать?

– Мне это уже незачем, – улыбнулся он в ответ, – мой главный талант уже реализован, – и бережно погладил её заметно выросший живот.

Столик хозяйкин, что прилетел на том же самолёте, что и сами они, и над которым она так тряслась, Евгения собрала лично, просто попросила Настю чуть позже, чтобы они вместе отнесли его в спальню. Дальше всё началось по новой: картинки – не туда, а сюда, мебеля – не так, а эдак, люстру из её комнаты – к ней, Насте, а ту, наоборот, – к ним. Так полдня проваландались, наводя новый порядок на старую жизнь. Не коснулась хозяйка только огромной фотографии, где ракета выхлопом на людей развёрнута. И портрета Павла Сергеевича в золочёной богатой раме, писанного уже от руки, а не через фотографию. Их, Евгения сказала, не трогать, оставить как есть, это, заявила, святое.

Потом обедали с ней, за одним столом, как раньше не делали, но так утомились двигать и располагать, что обе же и забыли, что кушали раньше по отдельности. А потом она поднялась вдруг и сказала, глядя в пол:

– Стоп… А где же Аврорка будет жить, я не поняла… – она уже знала, что будет девочка, опытная врачиха подсказала в спецполиклинике для большого начальства. Павел Сергеич, как только Евгения новость ему сообщила, лоб наморщил, будто притворился нахмуренным, и громогласно на всю квартиру объявил:

– Авро-о-ра!

Хозяйке сразу понравилось такое имя для наследницы, Настасья об этом догадалась, как только лицо её увидала. Евгения даже зажмурилась, как сытая кошка, разве что не облизнулась, и тоже с сильной громкостью выкрикнула, пробивая ртом каждое слово в отдельности:

– Пора, красавица, проснись, откро-о-й сомкнуты негой взоры, навстречу северной Авро-о-ры звездою севера яви-и-сь!

– Главное, чтоб не до срока, – шутнул хозяин, – не во всяком деле опережение приветствуется. – И снова оба удалились. Они всегда удалялись, когда у них совпадало по радости ихнего настроения…

А в тот день, как они обе поели, натрудившись по передвижке с давешних мест на нынешние, дошло до неё, наконец, об чём хозяйка толковала. Выходит, уберут её скоро, потому как Авроре

этой, ещё даже не родившейся, уже места не хватает для её отдельной жизни и отдельного ото всех спанья. Подумала такое, и снова страх пришёл неохватный, уже по-новому окрашенный, другим колером, таким, что черней некуда. Так не бывало с ней даже в самые начальные времена, когда ещё, не обвыкнув как следует, размышляла она, чего будет с ней, если телом своим и работой по дому наскучит Павлу Сергеичу, и тот кому надо команду отдаст, и её в один миг из дому уберут, вернут в общагу и на старую бетонку. Но в тот же день ужас тот прошёл, как и не было, и больше не появлялся почти уже никогда. Потому что Евгения на неё поорала, довольно крепким голосом, какого раньше за ней не водилось. А получилось, что услыхала Евгения, как, вместо того, чтобы отдыхать в отведённой ей отдельной и полностью меблированной комнате, она плачет, не умея придавить громкость всхлипов. Зашла, стала интересоваться. Потом сказала строго и без вывихов разных:

– Вот что, Настасья, я прошу тебя больше никогда не подвергать сомнениям наше к тебе отношение. Мы тебя чрезвычайно высоко ценим, ты в нашей жизни очень и очень большая и важная подмога, и поэтому можешь быть совершенно уверена в том, что ни я, ни мой муж, никто не собирается от тебя избавляться.

Сказала вдобавок: – Неужели, думаешь, места не хватит в этой квартире для маленькой девочки?

– Ну а коли папа ваш в гости приедет, куда его, в кабинет, что ли покласть? – неожиданно для себя выдала вдруг Настасья, – иль в столовую на диван?

– Не приедет, не беспокойся, – стараясь придать голосу оттенок равнодушия, отозвалась Евгения Адольфовна. – Он от нас слишком далеко. – И вышла.

Тот прошлый разговор по телефону, что состоялся между хозяйкой и её карагандинским отцом, который она прослушала от начала до конца, Настя, конечно же, не забыла. И сейчас, задавая этот необязательный вопрос, она уже примерно знала, какой получит ответ. Вот только не могла понять, для чего она это сделала, зачем потревожила этим Евгеньин покой, ведь прекрасно ж в курсе, что у них там разлад и полная нестыковка. Главное, думала Настя, чтоб хозяева не скрытничали, пряча свою к ней нелюбовь, если таковая обнаружится.

ЧАСТЬ 2

1

Рожала Евгения Адольфовна, как коренная москвичка, в роддоме имени некого Грауэрмана, что на Арбате. Последние дни перед родами внизу постоянно дежурила машина, чтобы сразу ехать куда следует. Врачи тоже были предупреждены, Царёв позаботился и об этом: понятное дело, стать отцом в шестьдесят один год, впервые, к тому же ещё и при жене в таком неприлично молодом возрасте. Хотя, с другой стороны, было плевать, он прекрасно знал, что Женюра любит его самым непритворным образом, и догадывался, что гордится она не столько достижениями его как основоположника огромной отрасли знаний, сколько самим этим браком, в котором они отнюдь не случайно нашли друг друга. Он был счастлив, хотя в делах в последнее время преследовали неудачи, одна за другой. Основное расстройство в этот напряжённый период возникало из-за нескончаемых срывов в работах по программе освоения Луны. Ладно, все эти первые беспилотные «Луны», ещё более-менее удачные, но потом-то, потом – провальные, где промахов оказалось больше, чем реализованных в них идей. Но дальше, казалось, дело пошло, выровнялось – ан нет: «Луна-7», автоматическая межпланетная станция, эти чёртовы датчики, эти неверно заданные углы, когда само направление в итоге было потеряно, двигатели торможения заблокировались, и станция врезалась в грунт. А потом, следом, «Луна-8»: какая там мягкая посадка – разбилась, не хуже седьмой; амортизирующий баллон получил пробоину. Зато потом была «Луна-9», самая любимая и драгоценная. Женька уже тогда с животом ходила.

– Нет, ты только представь себе! – шумел Павел Сергеевич, меряя шагами столовую, размахивая руками и не умея сдержать радости. – Она тормозит, а вокруг неё эластичная оболочка наполняется газом и превращается в огромный упругий шар. Потом она, когда уже смягчила удар о поверхность, берёт и распадается вдруг на две половинки, и освобождает лунную станцию. После этого раскрывается верхняя часть корпуса и – ты только подумай и мысленно нарисуй себе – образуются четыре лепестка антенны, а? Каково? Безжизненная серо-бурая поверхность чёрт знает чего, и на тебе – на ней вдруг распускается экзотический цветок! Всё, дальше – камера, съёмка, первая круговая панорама лунного ландшафта, каков пейзаж, а? Ты только посмотри, Женюр! – и высыпал перед ней кучу дурацких снимков, один скучнее другого.

«Папу бы туда с его самостроченной треногой, – подумала

Женя в тот момент, – уж он бы наверняка нашёл правильное решение, как из этого тусклого и безрадостного ландшафта сделать то, на что будешь смотреть неотрывно, сам не понимая, отчего тебя так приковывает к полотну, то есть, тьфу, к этому Пашиному снимку…»

Свою последнюю попытку объясниться с Адольфом Ивановичем Евгения Адольфовна сделала, когда по всем подсчётам носить Аврошку ей оставалось около полутора месяцев. Надеялась, сообщив о своей беременности и скорых родах, размягчить отцовское сердце и плавно перейти к мирным переговорам. Однако вновь из задуманного ничего не вышло. Она заказала номер в Караганде, его снова подозвали; как и в прошлый раз, Женя, услышав знакомое «Алло», по сути, просто отбарабанила свой текст, не давая ему вставить слова, чтобы на этот раз успеть произнести главное – про дитя:

– Папочка, здравствуй, но только я прошу тебя, выслушай меня сначала, не вешай трубку, потому что это очень важно для меня, и я хочу, чтобы для тебя это тоже теперь имело значение. Я донашиваю ребёнка, он скоро должен появиться на свет: мне хочется, чтобы ты прекратил все эти свои неумные обиды и приехал, наконец, к нам в гости. Мы теперь в Москве, у нас есть где остановиться, и мы все этого хотим, нам кажется, что пора восстановить прежние отношения и забыть всю эту бессмыслицу как страшный сон… – Она произнесла всё на одном дыхании, боясь, что как только прервёт свою речь, чтобы набрать воздуха, папа тут же этим воспользуется и выдаст что-нибудь нелицеприятное.

– Ребёнок – его? – не поздоровавшись, суховато произнёс Цинк после того, как она, выговорив свои заранее приготовленные слова, взяла выжидательную паузу. В ответ Женя не то чтобы растерялась – просто обалдела.

– Ты что такое говоришь, папа? – от возмущения у неё даже перехватило дыхание и запершило в горле, но ей нужно было выпустить из себя слова, которые уже сбились в кучу, толпясь у выхода из гортани. – В каком смысле – его? Ты… ты… как ты… как смеешь задавать дочери подобные вопросы? Я замужем за любимым человеком, которого ты почему-то решил гнобить с самого первого дня нашего знакомства, по существу ничего о нём не зная. Ты же… ты же сам… – И всё же она не успела закончить фразу, он прервал её, отреагировав на эти слова так же сухо и коротко:

– Мои поздравления, Евгения. А неумные, как ты выразилась, обиды пускай останутся при мне, если вы с супругом не возражаете, – и добавил, подводя разговор к финальной точке. –

Он что у тебя, на пенсии теперь или всё ещё при Лубянке отирается? – Дальше в трубке раздались короткие гудки.

Это было даже не отчаяние. Упорство, которое так последовательно выказывал Адольф Иванович, не желая вступать в объяснения по поводу её замужества, Женя могла истолковать лишь как непрекращающуюся душевную болезнь своего отца, природу которой ей так и не удалось разгадать. Подумала, может, ей поговорить с Павлом, ещё раз посоветоваться: ну должен, в конце концов, быть выход из этой идиотической ситуации. Правда, знала, что у того снова не заладилось что-то с очередной «Луной», когда, казалось, всё непреодолимое пройдено надёжно и бесповоротно и уже совсем недолго ждать им осталось того момента, когда можно перестать опасаться американцев, наступающих на самые пятки в деле освоения лунного пространства.

Это была ещё одна дополнительная забота, которую им навешивали с самого верха и избежать которой не было никакой возможности. Тем более, что конкурировать Царёву приходилось не только с американцами, но и со своими, ещё с двумя Главными конструкторами, идущими со своими КБ параллельным курсом и вечно пытающимися смести его с дороги, опередить, выдвинуть свои разработки против его, Царёвских. Павел Сергеевич ответно боролся, доказывал, добивался, искал надёжных партнёров, находил аргументы. Однако получалось не всегда, даже у него.

– Говорил же тебе, – сказал он ей как-то, вернувшись домой после тяжёлого разговора в ЦК, – всё лучшее достаётся охотникам и собирателям, разовым людям, тем, кто придумал для себя, что прогресс не развивать нужно, а присваивать, удерживать при себе, «не пущать», иначе он вырвется из рук и сделается принадлежностью других, землепашцев, которые, как о том свидетельствует вся история человечества, и есть реальные двигатели прогресса.

Она не очень поняла, о чём он, но не стала переспрашивать, чувствуя его невесёлый настрой. Похожим чутьём обладала и Настасья; это пришло года примерно через два существования её при Главном, ещё там, в степи, – нюх такой появился и на хорошее, и когда лучше ушмыгнуть в свою оконечность, помолчать в тряпочку и лишний раз не напоминать о себе мозолью на хозяйских глазах. Поначалу пришлось набить десяток-другой обидных, но невредных шишек, прежде чем она научилась отличать нужное от прочего. Но тем и ценней была для неё потом вся остальная жизнь, что лавировать по ней получалось легко и беспрепятственно, помня только, что и у неё, как и у Павла Сергеича в его небесном деле, нет права на ошибку.

Ошибиться ей всё ещё позволительно было лишь в отношениях с Евгенией. Настя обретала умение лишний раз доказать необходимость присутствия в доме: как дворняжка, привязанная к будке, чтобы только охранять и больше ничего, всякий раз норовит выказать признательность хозяевам, негромко гавкнуть, демонстрируя защитную выучку, и попутно лизнуть тот краешек хозяина, до которого сумеет дотянуться.

В этот раз, заново став свидетелем разговора хозяйки с её дальним отцом, Настасья решила рот свой не открывать и вовсе не показывать своего сочувствия к этим порушенным меж роднёй делам. Почуяла, что на этот раз с рук не сойдёт, что может навлечь на себя недовольство и даже огрести попутное гневное слово. И как в воду глядела: после той неприятной беседы Евгения какое-то время смотрела через неё как через порожнее место из прозрачного стекла. Отсюда следовало, что тема про папу с этого дня становилась для домработницы окончательно закрытой. Ей даже и самой интересно стало, что же за человек такой на той стороне телефона, который исхитряется такую отповедь дочке задать.

Что-то со всем этим было не так, не укладывалось в привычную картину ссоры или простой взаимной ненависти, какие частенько случаются у родных людей. У неё таких людей не было, у неё были только сами они и больше никого: Царёв и эта Цинк, почему-то не ставшая Царёвой, а так и оставшаяся при своей дурной, ни приведи Господи, девичьей фамилии.

Когда начались первые схватки, всё было готово, под орех. Настя с водителем осторожно спустили Евгению Адольфовну к машине, и та отбыла рожать. Самого не было, сидел пообыкновению на пусковом, ждал сразу двух событий, не зная, какое из них наступит раньше: благополучное разрешение супруги от бремени или успешный запуск очередного носителя – не допускал при этом ни малейшего отклонения параметров ни там, ни тут. Оно и вышло, как задумал: это было редкое по совпадению двойное счастье: носитель улетел, унося с собой очередную станцию и вскоре достиг заданной точки, совершив мягчайшую посадку. Супруга же разродилась девочкой, Авророй Павловной Царёвой, здоровенькой, желанной, не выходящей из рамок стандарта и имеющей на выходе 51 сантиметр длины и 3300 грамм драгоценной живой плоти.

2

С этого дня жизнь в их высотной квартире стала другой. Царёв, как только приземлился в Чкаловском, ринулся не в подмосковный ЦУП, как поступал раньше, а домой. Ворвался, задыхающийся, пролетел по коридору, почти не касаясь ногами паркета: увидел, замер, протянул руки, стал ждать, пока поднесут и покажут. Аврошка спала, но Женя осторожно вынула ребёнка из кроватки и передала мужу. Тот взял младенца, как берут драгоценную античную вазу высочайшей хрупкости, и затих. Чувствовал разве что слабый сердечный перестук, отдающийся во всё тело сразу, и отдельно от него – биение жилки в районе левого виска. Раньше, до ареста, у него, бывало, слабо пульсировало ещё и справа на шее, в том месте, где располагается сонная артерия, но потом, в 38-м, когда допрашивали и пытали, следователь Чапайкин, из особистов, со всего размаха ударил графином по скуле, и в результате искалечил часть полости рта, саму скулу и край гортани. Правда, заметить дефект можно было, только если внимательно приглядеться и озадачиться происхождением такой особенности строения лица Павла Сергеевича. Сейчас всё это уже не имело никакого значения, он держал в своих руках дочь и знал, что никакие станции и корабли его, будь они с людьми на борту или беспилотные, куда бы они ни направлялись и какую бы самую непостижимую задачу ни пытались для человечества решить, всё равно никогда не сравнятся с этим чудом природы, которое сам же и сотворил, без каких-либо предварительных расчётов, осторожных проб, досадных ошибок и неизменных разочарований. Потом бережно, чтобы не сделать чего не так, передал девочку матери. Сказал:

– Вот высадимся когда, попрошу для неё кусочек лунного грунта доставить, но только не от автомата, а чтоб, скажу, руками забирали, лично попрошу кого-нибудь из орёликов своих.

Дальше жизнь их пошла, мало отличаясь от той, которой живут счастливые родители, когда на глазах у них нормально растёт и правильно, без любых видимых отклонений, набирает вес здоровенький и ужасно улыбчивый ребёнок. Настасья, одолев первые удивления от этой маленькой, появившейся в доме как ещё один царёв подарок, вскоре уже иначе, как и на самом деле, подарком для себя девочку не рассматривала. Когда-то жизнь обделила Настасью, обойдя её сбоку: оттого, наверно, маленьких вокруг неё не имелось никаких и никогда. Мать родила её одну, к тому же так и не смогла потом что-нибудь вразумительное донести ей насчёт чьего-либо отцовства: больше отмахивалась

или просто прижимала к своим тяжёлым материнским грудям.

Домишко располагался в голой степи: полустанок, обслуживающий проходящие составы, кроме пары утлых строений, угольного склада да водокачки, не имел более ничего, за что можно было весело зацепиться глазом, какие уж там деточки, у кого? Играла всё больше в камушки, подсыпала их под колеса паровоза и ждала, как выстрелят они после крошкой. Учиться стала – за пять километров, ногами, в село: уставала так, что падала – оттого и ученье шло не в радость, а то бы, глядишь, и сама теперь инженерила, может, где, а не в работницах состояла или бетонщицей в те никчемные годы. В общем, всему обучались вместе с Евгенией. То обернуть надо, пелёночкой, помягчей, и чтобы сухая вся была. Сосочку подсунуть, когда выпадет, одеялко поправить, слюнявчик под кашку не забыть накинуть, ночью лишний раз подняться, глянуть, как сопит и не надо ли чего, кроме того, что и так сделали.

Сначала трудновато было, без опыта, а потом пошло, пошло-поехало, заладилось, привыкли обе, будто заранее знали теперь, какое дело сделать: даже, бывало, что и не сталкивались у кроватки, чуяли одна другую за квартирную версту. А время прошло, так выпросила у Евгении, чтобы уже совсем кроватку к ней перевести. Чтоб ночью вставать без никого. А они пускай отдыхают, им нужней, тем паче у хозяина снова чего-то не заладилось. Пришёл убитый, стал своей сообщать про горе это, а она тот разговор через неприкрытую в спальню дверь слыхала. А на другой день уже и по радио объявили, и по новостям диктор в телевизоре обращение зачитал голосом замогильным, что разбился живой человек, какой на корабле «Союз-1» летал, насмерть разбился, когда обратно садился, но как надо не сел, парашют не распахнулся, завязки какие-то подвели. Владимир, вроде, или Валентин, а какой, не запомнилось ей, кроме того лишь, какой портрет у него приятный на вид и мужественный, хоть и покойник теперь, ужас просто. Вот так отправят тебя неизвестно куда непонятно на чём, и Бог знает для чего, а после мёртвый вернёшься – и ку-ку.

Жалко было смотреть на Павла Сергеича – убитый ходил, хоть и живой. Почти не кушал и дома мало бывал, они там всё решали, разбирались, думали про этот случай.

Женя, поразмыслив, не стала возражать, чтоб перевести Аврошку в комнату к Настасье: за всё то время, пока они совместными усилиями поднимали ребёнка, она полностью обрела у Жени доверие. И сама по себе чистюлей была, и точно так же к маленькой относилась. Переживала порой за ребёнка до лёгкой трясучки в руках, и это не могло укрыться от

настороженных Жениных глаз. Да и сам Царёв, то остававшийся в супружеской спальне на всю ночь, то оправлявшийся ночевать в кабинет, теперь уже мог беспрепятственно ночевать с женой, не беспокоясь насчёт любого волнения для обоих.

Он уже привык к тому, что его Женюра, не страдающая, как это нередко бывало с ним, никакой бессонницей, мерно дышит рядом, совершенно не думая о том, что, переворачиваясь с боку на бок, он может задеть её локтем или невзначай закинет свою ногу на её. Настю за все годы, пока пользовался ею как подходящим средством сбросить накопленное раздражение или поддержать накоротке избыточную радость, оставил у себя в постели на всю ночь лишь однажды, в день, когда Первый успешно вернулся с орбиты. Первого ожидали там же, откуда стартовал, в казахстанской степи, но орбита оказалась выше расчётной на 40 километров, и потому изменилась дальность и время полёта. Он хотел тут же – на самолёт и туда, к месту непланового приземления, но поразмыслил и не стал этого делать, первый раз в жизни испугался за сердце. Вдруг, подумал, лопнет к чёртовой матери: оно у него уже в тот год ныло всё, ныло, часто не давая запустить мозги на полную силу. Тогда он и решил таким дурацким способом отметить чумовую радость, ну просто совсем не хотелось в эту великую ночь оставаться одному: знал, что всё равно не заснёт, нервы не позволят, весь этот буйный его адреналин просто не даст лежать спокойно с закрытыми глазами. Так пускай хотя бы Настюха прижмётся и побалабонит про своё, раньше никогда не вызывавшее у него даже малого ответного интереса.

А потом, вроде бы, ничего, снова успех был, и не один; а уж начиная с 68-го, когда истекал первый год Аврошкиной жизни, ещё удачней пошли дела. Аврошка уже стала ходить: ещё чуть-чуть побаивалась, но уже тогда упорство проявляла, настырничала, не хотела ползать, как раньше. «Летать рождённый не станет ползать!» – шутил Павел Сергеевич, перефразируя своего любимого Максима Горького, и подбрасывал дочь вверх. Та взвизгивала, округлив от ужаса глаза, но улыбалась и просительно гукала, требуя полётов ещё и ещё. Однако, как ни стремился Царёв больше времени проводить дома, это получалось не всегда. Космодромы, все три, и все к этому моменту действующие на полную занятость, требовали его присутствия. Его, однако, хватало на всех, хотя временами, стараясь лишний раз не показать этого Женюре, брался рукой за сердце и незаметно делал глазами Насте. Та, как в прежние годы, понятливо кивала и неслась к лекарственному схрону. Возвращалась с нужной пилюлей и запивочкой в стакане. Он

принимал, запивал водичкой с разведённой сиропной жижей от домашнего варенья, и вяло ругал её за излишнее усердие, говоря, что достаточно простой воды, не нужно мне этого вашего сладкого. Та же, всякий раз получив от него беззлобный нагоняй, виновато исчезала, чтобы в следующий раз снова подсунуть подслащенного вместо никакого. Уверена была, что по доброй воле от домашней вареньевой болтушки не отказываются, а если и выговорят за такое, то разве что, чтоб жизнь медовой свыше нормы не казалась.

С Женей у Павла Сергеича было всё по-прежнему, почти идеально, хотя порой и не без случайных всплесков лёгкого раздражения с его стороны. Началось не сразу: поначалу медленно копилось, откладываясь в неприметное место. Ну а потом, когда набралось, стало так же неспешно высачиваться обратно, освобождая пространство для следующих накоплений. Он и сам не понимал ещё, отчего с ним ни с того ни с сего случается такое, когда Женюра его, всё та же милая, улыбчивая и до обморока его любящая, становится едва ли не посторонней, чужой, будто не принадлежащей полностью только ему. Подумал, может, переел просто, пересытился её телом, её безотказностью во всём, её ответной и всегда искренней к нему лаской. Понял это потом, когда прошло какое-то время после страшного события с «Союзом-1» и боль немного улеглась.

Именно после ужасной катастрофы и начались его слабые сомнения, пришла пустая, ни на чём не основанная раздражённость. Догадался, что стареть начал по-настоящему, самым честным образом, когда уже и сам отчётливо видишь и с отвращением понимаешь, что затраченное тобой, телом или головой, перестаёт восстанавливаться. А первые ласточки этого старения прилетели еще тогда, когда разбился Первый, любимец его, самый лучший, самый близкий ему из всех его орёликов. В ста километрах от Москвы: по дурке, разбился во время испытания МИГ-15. Сказали потом, что, мол, СУ-15-й виноват, возникший несанкционированно в том же полётном пространстве и своим вихревым следом перевернувший самолёт Первого. Тот и ушёл в последнюю спираль. И всё ведь было в облаках в тот день, а у них локатор высоты не работал, у сволочей, у оператора наземного, он и зевнул, когда высотами менялись СУ этот херов с МИГом. Жил, летал, всех любил, и ЕГО самого любил весь мир, обожал просто, а только больше нет его, Первого, из-за вечного недоглядства проклятого, разгильдяйства нашего неизживного, похеризма уродского от всех и вся, и будет такое всегда, когда нет в сердце мечты, изжигающей и оплодотворённой. А людям после – про стаю гусей, про воздушные шары, про чёрта и дьявола

разного, ни в чём не виноватого.

А когда догадался про старость свою, то уже всякий раз, когда Женька оказывалась перед его глазами нагой, Павел Сергеевич невольно сопоставлял её и себя, мысленно располагая два тела рядом, – и тогда он мог уже отчётливо подмечать, как с каждым днём жена становится лишь краше и точёней, как тело её, всё ещё девичье, и весь её облик начинают обретать женственность, законченность и плавность линий, несуетность движений, и, в отличие от его увядания, расцветать и делаться ещё желанней. С похожей ясностью видел и себя, дряхлеющего на глазах рядом с двумя его чудесами чудесными: женой и дочкой.

Подробностей рассказывать не стал. Его бы на это просто не хватило в тот день, когда стало известно о катастрофе. Он присел, обнял Женюру и выговорился, делая короткие паузы между словами, едва удерживая себя, чтобы, плюнув на видимость самообладания, не разрыдаться у неё на глазах:

– У него её… потом уже… в боковом кармане… нашли, среди того, что… что от него осталось… удостоверение, талоны на питание… и она там же была… фотография, пожелтевшая… но почти не пострадавшая от огня… моя… так и носил её… не вынимая, все эти семь лет…

3

Последовавший за тем полугодовой кусок жизни, если отсчитывать от катастрофы и завершить его сентябрём, стал, наверное, для Царёва наихудшим из возможных. Размышляя об этом, он мог сопоставить его лишь с Магаданским отрезком жизни. И не только потому, что выжил тогда лишь благодаря случайности, и не из-за того мучительного ощущения чудовищной несправедливости, мешавшего ему думать и дышать. В ту пору он ещё наивно надеялся на лучшее, полагая, что то самое, человеческое, какое отпущено собратьям по разуму, со временем очнётся в них, заплутавших в потёмках собственного сознания, и вернёт всем им голову, восстановит утраченную справедливость, и это коснётся каждого, кто прошёл через горнило чужих преступных заблуждений. В какой-то мере это и сработало; XX-й съезд, разоблачение культа Сталина, возвращение доброго имени, нескорая, но зато полная реабилитация с дозволением и даже призывом продолжить заниматься делом всей жизни. И тут опять это безумие – Чехословакия, ввод советских войск, танки на улицах Праги, убитые в мирное время люди, воззвания к миру, призыв остановить помешательство потерявшего всякий разум режима. «Как же так, – думал Павел Сергеевич, – как такое могло случиться, ведь это же самая настоящая агрессия против человечества, против гуманизма как категории: это же есть самое мерзейшее попрание всех прав человека в ответ на его волеизъявление. Получается, что и мои носители в любой момент могут быть легко развёрнуты в сторону всякого, кто не согласен с Кремлём, кто смеет думать иначе, чем они – цепляй боеголовку и дуй в ту сторону, откуда им плохо дует!» В какой-то момент ему показалось даже, что он готов пойти куда следует, чтобы сказать то, чего не сказать просто невозможно. Да, в конце концов, пускай объяснят ему – во имя чего, в силу каких законов жизни и смерти?

Не пошёл, передумал, Аврошка остановила: забралась на колени, заглянула в глаза, спросила:

– Папочка, будем лисовать давай, да?

И всё, разом отхлынуло – так же, как и накатило. Понял, что надо выбирать, или – или. Он и выбрал, тут же, не спуская Аврошку с отцовских колен. Ответил, выдавив требуемую улыбку:

– Да, моё сокровище, да, моя золотенькая, ну конечно, будем рисовать, где у нас акварельки твои, где кисточки разные, где у нас водичка в блюдечке, ну-ка давай вместе поищем…

С Женюрой вообще эту тему решил не трогать. Сама же она навряд ли станет допытываться, что там и как в маленькой дружеской стране, пристроившейся боком к тёплому стану развитого социализма.

Она и не начала, слишком увлечена была заботами об Аврошке, чересчур любила их обоих, думая не о мире в целом, а о жизни на четверых в квартире на 25-м этаже высотки в Котельниках с видом на реку и на высокохудожественный кремлёвский пейзаж. Он же, спустя несколько дней, когда внутренне несколько успокоился, уняв в себе первое чувство и осмыслив всю обречённость своего позыва, просто Бога поблагодарил, что тот сумел остановить его от необдуманного шага, ведущего к пропасти, и что Женька не прижала его с этими делами, иначе наверняка бы, заведясь с полуоборота, уже не смог бы он тормознуть, довёл бы в разговоре с женой себя до перегретой точки невозврата. И, главное дело, этим двоим, таким же Главным, как и сам он, ровно с того же самого дня перестал бы быть конкурентом, потому что не будет его больше как единицы, допущенной к исследованию внеземного пространства. Не станет совсем, как и не было. И не только до стены этой чёртовой не допустят – до любой памяти свыше самой что ни на есть ограниченной. Да что там память, до поляны этой с эдельвейсами будет не добраться, не пустят просто Женьку туда, скажут: здесь для вас запретная зона, гражданка Цинк, нету тут никаких ваших лохматых звёздочек, даже не просите. А Женюра стихи стала писать. Говорит, раньше тоже писала немножечко, ещё в детстве. Наверное, сказала, от избыточности любви и согласия в дружной семье Царёвых-Цинк. Показала заодно кой-чего, даже запомнилось что-то такое: «… Исповедаюсь в грешной любви,/ Что связала нас тесным объятьем./ Потемнее, ночь, выбери платье,/ Перебрав одеянья свои…» и ещё запомнилось что-то, милое такое же, нежное и с чувством, хотя и не большой знаток поэзии, всё больше от Гоголя душа заходится, от Бунина, от Чехова, которые ещё когда уже знали всё про всех про нас.

Спросил тогда, выдержав для порядка «станиславскую» паузу:

– А почему же ты именно в грешной любви исповедуешься, разве она у нас такая? – она не знала, что ответить, и чуть замялась, будто схваченная за руку, а он добил своим уточнением: – Может, из-за разницы в возрасте? – и наигранно засмеялся, впрочем, не имея ничего в виду.

Ну а через недолгое время всё прошло, вернулось к истокам, депрессия куда-то отошла, и дела наладились, вроде бы, сбои остановились, всё более-менее вписывалось в успешный план. В итоге следующий отрезок, длиной почти в год, начавшийся сразу

после того, как ему удалось преодолеть этот сложный период сомнений, стал для Царёва волне удачным. В деле же, которым продолжал неистово заниматься, такое неизменно означало, что год прожит не зря, в зачёт, и что этот же самый год учетверяется отдачей своей в будущие годы, в которых будет жить сам он и вместе с ним будут наслаждаться жизнью другие обитатели планеты Земля. А ещё это означало, что и для семьи этот год мог считаться абсолютно счастливым, без оглядки на неудавшееся.

Аврошка росла, превосходно развиваясь, в свои два с половиной годика она гоняла вдоль их длиннющего коридора на трёхколёсном велосипеде, доставленном в дом охранником Павла Сергеевича, которого тот, вынудив поступиться обязанностью, заставил найти и купить лучший, что производят для девочек. Оказалось, все одинаковые. Тогда он, компенсируя это несовершенство, выкроил время и лично побывал в «Детском Мире», откуда приволок восемь кукол, самых разных, с хлопающими глазами и с остановившимся взглядом, в трусах и голышей, в бальных пачках и вполне скромных платьицах, но зато при наклоне туда-сюда произносящих «уа-уа».

И снова были запуски, но причин для расстройства имелось, как ни странно, минимально. Так шло вплоть до неприятности самого высшего порядка, повлекшей за собой нехорошие последствия. Собственно, вылились они не во что-то ужасное и необратимое – просто дали понять, с верхов, тех самых, выше которых нет, что это – промах, поражение, провал всей государственной программы освоения Луны и что второго такого упущения никто не потерпит. С Марсом, например: кто там яблони первым посадит, которые, как в песне, будут на тех полях марсианских цвести, вопрос стоять не должен – только мы, наша страна, и больше никто, товарищ Царёв. А Луна – всё, Луну будем списывать, и не хрена её там больше вхолостую фотографировать да пыль с неё собирать: победы нужны, великие достижения, а не прозябание на вторых ролях.

Да и сам он, честно говоря, с выводом таким был во многом согласен. Нет, можно было, конечно, и порадоваться за коллег, поздравить друг друга ещё с одним завоеванием человечества в деле освоения межпланетного пространства, попутно выискивая и ссылаясь на объективные причины, почему не мы первые, а они. Сказать кому надо: я же, мол, просил ассигнований на то самое, говорил, что необходимо запустить в работу и это, параллельно, не дожидаясь, пока рак на горе свистнет.

В итоге передумал, не стал говорить ничего и никому, теперь это всё равно было уже пустым: Армстронг и Олдрин высадились на Луне – американцы с «Аполлона-11», коллеги – но и

потенциальные враги, как сразу же дали понять «наверху». Он просто слушал и кивал, думая о том, как хорошо год начинался, если отмотать назад: в январе первая стыковка двух пилотируемых «Союзов», 5-го и 4-го. Следом за ними – первый групповой полёт, три корабля одновременно, семь орёликов в космосе разом. Казалось, всё, пошло-поехало, успевай лишь запрягать. А не успели – обошли американцы, умыли.

4

На лето он увёз их в Евпаторию – летел туда по рабочим делам, там же и договорился, чтобы семью его взяли под опеку. Аврошка успеет нормально адаптироваться, увидит море своими глазами, и пусть оно навеет новые сюжеты для её бесчисленных акварелек. Она, узнав, запрыгала от радости, побежала собираться: первым делом собрала рисовальные принадлежности, даже хотела собрать в пачку прошлые работы, чтобы тоже взять с собой – сравнивать те, что были, и те, которые намалюет, глядя на море. Она видела это море по телевизору, в программе про животных и природу, и оно ей страшно понравилось. Сказала: папочка, ты меня не обманешь, ты нас, правда, туда отвезёшь? Он заверил её, соорудив на лице серьёзную мину и в очередной раз тая от любви к дочери.

Настасья, несмотря на полный тамошний пансион, ехала с ними, куда же без неё теперь? Она и на самом деле стала для семьи незаменимой. Аврошка даже на малость не утруждала себя, чтобы вникнуть в разницу между настоящей бабушкой и ею, бабой Настей. Ей казалось, что такие добрые и тёплые руки, какие были у её бабы, никак не могут принадлежать чужой старой тёте, даже если она не главная у них в семье и сразу же бежит делать всё, что ей скажет мама или папа. Все были ей одинаково родные, да и между собой тоже: именно так понимала и принимала для себя маленькая Аврора расклад внутри своей семьи. Любимых ею существ было трое, но просто папа был немножко главней остальных, хотя и позволял ей разного чуть больше мамы и бабы Насти. Он был, как у других были дедушки, хотя ей было неважно, даже наоборот, такая папина зрелость против остальных отцов была предмет её тайной гордости. Ей казалось, что раз папа старше всех, кто живёт поблизости, кроме одной совсем старенькой бабушки через дверь от них, значит, он умней и добрей тоже, потому что чем дольше живёшь, тем больше доброго в себя из воздуха впитываешь. Это ей так уже баба Настя объяснила, а мама потом согласилась с этими словами, когда она ей рассказала. Мама шла сразу после папы, она была самой красивой мамой из всех, и не только тех, кто жил в их доме, а даже красивей неулыбчивых тётенек из телевизора, которые строгими голосами вещали про урожаи озимых, экономию горюче-смазочных материалов, визиты партийно-правительственных делегаций и очередные свершения и победы советских людей на всех фронтах. Баба Настя замыкала троицу, но только потому, что больше всех возилась по хозяйству, а не из-

за того, что любила Аврошку меньше остальных членов семьи. Ну и, кроме того, она хуже мамы подсказывала про акварельные работы, путаясь в цвете и не каждый раз понимая, чего Аврошка задумала изобразить на том или ином рисунке. Однако такая бабы Настина особенность всё равно не была неудобной и не мешала творить. День ото дня, не переставая извлекать дикое удовольствие из своего увлечения, Аврошка множила количество листков, ещё недавно бывших белыми-пребелыми, но после её художественного вмешательства уже становящихся произведениями искусства. Именно так про это дело объяснил папа.

– Искусство, – сказал он ей как-то, когда она притащила к нему на оценку несколько своих ещё даже не успевших как следует высохнуть акварелек, – это не потребность малевать до посинения. Искусство – это когда у других людей возникает потребность снова и снова смотреть на то, что у тебя получилось. Тогда, по крайней мере, ты уже можешь быть уверена, что твои руки и твои глаза старались не зря, что ты попала своей работой ещё в одно сердечко, и этому сердечку становится хорошо и приятно, и оно будет в ответ благодарно сжиматься и этим благодарить тебя за твой талант.

– А как же я про это узнаю? – спросила она папу. – Ну, что у него тоже в сердечке застучало?

Она не всегда понимала, шутит с ней папа или же он просто так её хвалит. Во всяком случае, ей казалось, что папа разговаривает с ней как будто по-честному и считает её такой же взрослой, какими были и они с мамой. Баба Настя никогда такими словами с ней не разговаривала, она больше убиралась, гладила её по голове или целовала в обе щёки по очереди. И вкусно делала блинчики с мясом или творогом.

Папа тогда в ответ на её вопрос улыбнулся и сказал:

– А бывает ещё так, что хорошему человеку от настоящего искусства делается плохо. И наоборот, плохому – хорошо. – И снова она не до конца поняла: это он так смеётся или нарочно придумывает всякое, чтобы запутать её. И тогда она снова спросила его, чтобы уже окончательно разобраться для себя в этих хитросплетениях:

– А хорошему человеку может быть хорошо?

– Да запросто, – засмеялся папа, – главное, чтобы он в этом был надёжно уверен и не перепутал это чувство с каким-нибудь другим. – Потом он перестал смеяться и сделал серьёзное лицо, но не понарошку, как часто делал раньше, а серьезно. И сказал то, что она потом, годы спустя, услышала от дедушки Адольфа. Папины слова звучали довольно странно и малопонятно, но

отчего-то они не потерялись в её детской памяти, и даже наоборот, время от времени всплывали в сознании, выстраиваясь то так, то эдак, выкладываясь в тот или иной смысл, который через годы вызрел, окончательный по форме и единственный для понимания, и достучался до её умненькой головы. Она нередко вспоминала эти слова отца:

– Вообще, принято считать, что конечное качество и успех работы, которую ты сделала, затратив себя самым честным образом, больше зависит от взглядов на искусство миллионов людей, которые просто договорились между собой, что такое хорошо и что такое плохо – как у Маяковского, помнишь? – и каждый раз они хотят тебе об этом напомнить, забывая про твоё и только твоё личное чувственное восприятие мира, который существует, живёт вокруг тебя. И вот… – он сделал паузу, подбирая правильные слова, хотя и так уже понимал, что их-то как раз для разговора с дочкой он и не нашёл, – и вот то самое понимание обществом твоей акварельки в рамках некой культуры и определяет, как кажется этому самому обществу, принадлежность её к искусству, – он вздохнул, почесал мизинцем кончик носа и притянул дочку к себе, вдохнув воздух у её волос, – как-то так, Аврусь. А вообще-то, может, и не так, моя милая, потому что то и есть настоящее, что подталкивает тебя изнутри, как бы говоря – возьми меня и не выпускай из рук, я и есть оно, ради чего ты творишь: рисуешь ли, пишешь, сочиняешь стихи, музыку или отправляешь в небо летательные аппараты. – Он вздохнул и на этот раз уже сделал смешное лицо, пугательное, будто собирался её съесть. Она завизжала и закрыла ладошкой глаза, чтобы спасти себя от страшного. Тогда Павел Сергеевич вновь вернул прежний вид, снова став добрым и родным, глянул между делом на часы и добавил вслед сказанному: – Очень надеюсь, что моя доченька ничего из этого бреда не поняла, иначе она запутается окончательно, а крайним в этом деле как всегда окажется её старый глупый отец, который так и не освоил простейших навыков общения с собственным ребёнком. – И добавил напоследок, ссаживая её с колен: – Так вот, девочка моя золотенькая, не нужно в такое верить, всякому художнику следует прислушиваться исключительно к собственному внутреннему голосу и больше ни к чьему, иначе он пропадёт как создатель красоты, отдельной от всякой другой, и останется на этой плоской земле, не улетит, не прикоснётся к божественному, небесному, к единственно возможному лишь для него одного. А всё остальное, Аврусь, не стоит даже того, чтобы краски эти водой разводить.

В тот раз Аврошка так и не поняла, что он сказал, но ещё раз

спросить про то же самое не успела. Он вдруг заспешил и сразу уехал, а вернулся, когда она уже спала. Ложась спать, она подумала, что надо будет попытаться добиться от папы правды про свои акварельки, но, проснувшись, совершенно забыла про это; да и папы всё равно снова не было дома.

5

Они прилетели в Евпаторию в самом конце мая и безвылазно прожили там почти до середины сентября. За это время Павел Сергеевич три или четыре раза навещал их, и каждый раз, несмотря на очередную запарку, выкраивал по четыре-пять дней, чтобы провести их вместе с семьёй.

Настасья молилась на них всех, думая теперь, какой дурой была в прежние годы, когда, никак не умея успокоить в себе желчное и злое, так и сяк прикидывала своей подлой головёнкой насчёт жены хозяина. Ну никак не получалось простить за то, что молода, что неплоха телом и лицом, хотя и нищей в дом пришла, с одним столиком деревянным, что приятна на вежливое обращение, что не думает про неё, Настасью, плохо, как она того на самом деле, наверно, заслуживает, если только отбросить работу по дому, заботу о Павле Сергеиче и остальной пригляд по всем делам. И лишь теперь, на четвёртом году жизни уже при обоих, как раз начиная с момента, как Аврошка появилась на свет, Настасья почувствовала, что – всё, проехали, конец дурному цирку, угомонилось, улеглось внутри неё низкое и нехорошее, спало, соскользнуло вниз по течению, в помойку, в никуда. Здесь, живя в евпаторийском спецпансионате санаторного типа, Настя выбирала моменты, когда она не так уж нужна была семье, и сама доходила до моря, до этой теплющей, почти что святой по прозрачности черноморской воды, что так волновала её своей необъятностью, своим податливым телу песочком, своим солёным на вкус иссине-голубым дурманом, затуманивающим голову и глаза. К тому же кормёжка от пуза, четыре раза на дню, и всё чисто, с салфеточкой из твёрденькой тряпки, с вежливыми официантками с кокошником на голове, с обязательным компотом из сухофруктов вместо болтанки из варенья, и, кроме того, чуть не каждодневной сменой белья без всякого её участия в этом привычном для неё деле.

Купалась, плавала вдоль бережка, не удаляясь глубже, чем по пояс. Потом подставлялась солнечным лучам, но обжечь себя не позволяла, хоронилась в тень раньше, чем кожа становилась красной. Однако к концу пребывания в этом бесплатном раю всё одно стала ослепительного чёрной, как эфиоп, которого изначально не уберегли от южного жара.

Аврошка в ту пору лишь начинала свои первые эксперименты с цветом, подмечая те из них, какие водились вокруг, наполняя собой южную природу, и отбирала наилучший для себя, за который больше остальных цеплялся глаз. На этот раз таким стал

синий. Наверное, из-за моря и неба, которые то вместе, а то поочередности, сменяя друг друга, внезапно становились совершенно синими, или же вдруг прямо на её глазах высветлялись, перетекая в густо-голубое с примесью прозрачного, даже не белого, которое к началу сентября тоже внезапно понравилось и тоже стало понятным, хотя и не было на ту пору самым любимым.

Она поделилась с мамой, сказала, что синий цвет теперь самый для неё красивый, лучше любого другого. Женя с дочерью согласилась, добавив от себя, что море и небо, конечно же, символ глубины и высоты, а это и есть самое основное в жизни любого творческого человека: глубина – а не какая-то там заурядная низменность, и высота – а не просто отвал из пустой породы. Так однажды сказал ей отец, но, повторяя его слова, Женя не рискнула сослаться на Адольфа Ивановича, избегая лишних Аврошкиных вопросов о своём неизвестном дедушке.

Однако мамины слова тоже выходили не очень понятными, хотя и были всё же немножко доходчивей тех, которые иногда говорил папа. Но всё это, впрочем, было не так существенно: отдавая должное разнообразным дочкиным увлечениям, оба родителя при этом понимали, что вовсе не обязательно сиюминутные и в чём-то даже комичные забавы перерастут когда-нибудь в профессию или хотя бы станут предметом отдельного изучения. Важно было другое – девочка купалась в удовольствиях, деля их поровну между мамой, папой, бабой Настей, морем, небом, глубиной и высотой. Так было с первого дня её жизни, так продолжалось и теперь: с любовью, лаской и без отказа в чём бы то ни было. Оба они, глядя на дочь и уже давно понимая друг друга без слов, молча припоминали каждый своё: Павел Сергеевич – Магадан и Владимир, Евгения Адольфовна – первые 17 лет своей жизни в бараке при меднорудном карьере, вспоровшем когда-то голую казахстанскую степь. Всё это казалось обоим уже очень далёким, бесследно истекшим в канувшей жизни, но вместе с тем оставалось всё ещё неотменной правдой, немаловажной частью биографии, – щемящей, протяжной нотой из судьбы каждого.

Покидая Евпаторию, следующее лето, 70-го, точно так же, не сговариваясь, решили провести здесь же, в этом уютном уголке, неподалёку от закрытого для посторонних кусочка черноморского пляжа. В день отъезда прилетел Царёв, чтобы забрать семью и уже вместе с ними вернуться в Москву. У них оставалось ещё полдня, и они всем семейством в последний раз прогулялись до моря. Было около пяти пополудни: они стояли, завороженные картиной этого уходящего в вечность сентябрьского дня, и молча смотрели

вдаль, где едва заметно, но необъяснимо приятно для глаз виднелась размытая бархатистым светом линия горизонта. Каждый из них в эту минуту думал о своём. Настя – о том, что уже к вечеру они вернутся в свою высотную квартиру, а там, поди, чего только не накопилось за эти четыре месяца отсутствия женской заботы, и надо сразу, как войдут, начать разгребать, чтоб Евгении не стало совестно за супруга, – мол, пока жил в одиночку, зарос грязью. Она так и не утратила ощущения нужды Павла Сергеича в защите от любого посягательства в его священную сторону, даже если тот, кто соберётся с духом и посягнёт, и сделался ему родственным существом. Но и такое соединение хозяина с супругой, став окончательным фактом жизни, само по себе ровно ничего для Настасьи не значило – сильнее был призыв, шедший изнутри, и поделать с этим она ничего не могла. Она вросла в него, в хозяина, став его неотъёмной частью: иногда она даже кушала за него, когда того уже по-срочному ждала внизу чёрная машина и он не успевал к делам. Она закладывала в рот медленные кусочки его утренней еды, представляя себя на его месте, и так же, как и он, неспешно жуя и прихлёбывая еду кефиром, смотрела в левый угол потолка, перебирая взамен его мыслей свои, пустые, и по большей части печальные. Она жила для него самой полной жизнью изо всех для себя возможных, которых всё равно не было, никаких, и которым уже неоткуда было взяться. Жаль вот только, что об этом знала лишь сама Настасья, а он, Павел её Сергеич, ни ухом не вёл, ни рылом, и никогда уже, стало быть, не поведёт.

Царёв же смотрел в эту покойную предвечернюю даль, вот-вот готовую отодвинуться ещё дальше из-за нехватки дневного света, и прикидывал, что раньше апреля они с концевой АМС «Марс 1970», пожалуй, не поспеют, хотя и обещали обеспечить пуск мартом, но вот только с «Протоном-К» у них никак не налаживалось, разгонный блок не выдавал заданных параметров, – будто дьяволёнок какой-то, незаметно притаившийся в стартовом комплексе, в последний момент отнимал у носителя часть энергии, и именно этот крохотный изъян вечно путал все карты. Всякий раз они потом находили причину, и им удавалось без особых затрат преодолеть её, однако каждый последующий раз возникала очередная, такая же, по существу, незначительная, но чудовищно раздражавшая всех, кто примыкал к его пятитонному «Протону» с того или иного бока. И каждый раз его люди оставались без премии.

Аврошка, как и все, тоже стояла молча, чутко вглядываясь в самый последний край видимого ей огромного мира, целиком состоящего из солёного Чёрного моря, и думала, что раз он такой

длиннющий и широченный и в нём умещается столько воды, то сколько же тогда в этом мире суши, которую она никогда не видала, но которую когда-нибудь обязательно увидит, со всеми её красками, пейзажами, натюрмортами и цветами, такими, наверное, как те, что они видели с мамой и папой, когда летали на Медведь-гору на вертолёте, и папа потом привёл их на поляну с теми беленькими мохнатыми звёздочками.

Евгения Адольфовна стояла между дочерью и мужем, и в отличие от них, смотрела в сторону горизонта кое-как, одним глазом, уже привыкнув за четыре месяца жизни на берегу к красотам морского пейзажа. Она думала, что жизнь её, точно так же напоминая собой эту ровную линию, окончательно выложилась и распрямилась в такую же прямолинейную, понятную и никак не изменяемую обыденность. И что надо что-то делать, потому что совершенно ясно, что первые страхи прошли, любовь их с Пашей искренна и устойчива, с голоду умереть всё равно уже не удастся при всём желании, хотя бы из-за статуса её мужа, из-за двух звёзд Героя, из-за пожизненного звания Академика, да мало ли из-за чего ещё. А, может, ей следует заняться землёй на Рублёво-Успенке, что безо всякого движения простаивает последние девять лет, которой государство в числе прочего премировало Царёва сразу после успешного оборота вокруг Земли орёлика его под номером 1? Будет дача, будем собирать клубнику, сажать яблони, вечером пить чай с приторным Настиным вареньем. Зимой – приезжать кататься на лыжах.

Нет, не улыбалось, уже не хотелось такого. Вчера, днём ещё, пока Аврошка спала, она села за стол, сосредоточилась и попробовала описать то самое, от чего сейчас отводит глаза, – вечер на морском побережье. Подумала, чёрт побери, ей 27, и кроме своего умения качественно выполнять чертёжную работу, неподдельно любить мужа и дочь и удачно перевешивать картинки в доме с помощью подсобницы, она ведь по существу никто, самая обычная жена и мать, заурядная домохозяйка, в чьём беспрекословном подчинении имеется ещё и домработница, – всё.

Она даже не может найти общий язык с собственным отцом, так и не сумев отыскать верные, хоть сколько-то убедительные слова. И теперь не знает, чем он живёт, и вообще, жив ли, здоров, или всё ещё тянет эту идиотскую лямку старшего техника в проектном институте на краю света вместо того, чтобы перебраться к ним в Москву и стать дедушкой и другом своей внучке. Против этого, кстати говоря, не возражал в своё время и Павел Сергеевич, зная с её слов о тех близких и доверительных отношениях, которые связывали отца и дочь в прежние времена.

Ну и понимая заодно, что в условиях дефицита родни каждая лишняя человеческая единица из близкородственных не то что не мешает жить, а даже, быть может, в каком-то смысле оживит эту жизнь с самой неожиданной стороны. Тем более, художник, да ещё, как она ему сказала, хороший. Однако, снова подумала она, и не художник давно, и навряд ли сможет уже писать после всех этих уродских событий. А потом, когда села и зажмурилась на минуту, мысленно представив себе всю эту картинку, начиная от края воды и до спрямлённой, как и её судьба, линии, то оно вдруг взяло и потекло, само, и она стала записывать, даже не вслушиваясь, а просто подбирая эти звуки, что сыпались на голову и в уши, и тут же, едва успевая, переводя их в слова, фразы и законченные смыслы: и писала, писала, писала про себя…

И вот он, этот маленький заштатный городишко, уже по сути брошенный людьми, окончательно оставленный умирать… но он жив, он просто умолк, зависший в одиночестве, он отдыхает после убийственной дневной жары. Его скалистый берег всё так же, как и прежде, омывают морские волны, и всё так же не достают они даже кончиком своей воды до его высоко задранной суши. Под лёгкое дыхание ветра спускаются сумерки, и вот они уже впитываются в твою кожу, в волосы, в одежду, одаривая тебя своей предвечерней милостью. Быть может, это просто потому, что ты остался, а не покинул это место, как сделали другие, только и всего? И вновь порыв ветра: на этот раз уже иной, острый, перченный, резкий. От него пахнет водорослями и солью – быть, может, именно так пахнет вечность? Мы умрём, и водоросли умрут вместе с нами, но народятся другие, новые и они заполонят собой морские впадины и просторы, и ветер этот тоже не умрёт, что нескончаемо дует над этим славным вечным морем, гоняя мокрую пыль, и соль не станет слаще, а лишь ещё солёней и острей на вкус. Но кто отведает её, кто оценит привкус морской вечности? Быть может, сама я или даже тень моя, высветленная до неузнаваемости всё той же вечностью, явится в эти места в вечерней полутьме, чтобы коснуться своим белёсым краем этих сумерек и приблизить наступление другого дня, и ещё одного, и следующего… из которых и складывается эта неизбывная вечность…

И так около трёх страниц, всё в подобном духе – собрала, что услышала, не более того. Потом, передохнув, прочла и сама же обомлела. Не потому, что вроде бы и красиво получилось, чего уж там. А больше из-за того, что выкатилось такое из-под собственной руки, при том, что не просили, не приказывали и не подгоняли. И это было совершенно новое чувство, прежде

неизведанное, если не считать небольшого опыта совсем ещё ранних, степных, неприлично молодых и натужно рифмованных строк, похожим образом свалившихся тоже откуда-то сверху, как и теперь. Но те звуки она подбирала без нужного усердия, которого не хватило, чтобы отловить всё, что тогда опрокинулось на её голову. Теперь же всё было иначе, она это чувствовала и понимала, что не ошибается. Нет – была уверена. Вот только не знала Евгения Адольфовна, стоит ли ей поговорить об этом с Павлом. Ей с самой-то собой теперь, после того, что случилось, совестно было разговаривать на эту тему: то ли боялась спугнуть собственного ангела, приставленного к ней, чтобы поощрить, то ли стыдилась несовершенства своего же текста. Помочь в этом смысле мог отец, в этом она не сомневалась, поскольку понимала, что Адольф Иванович безукоризненно чувствует стиль, и не только в живописи, а – вообще, в отношении чего бы то ни было: вещи, цвета, звука, символа или еды.

Её размышления оборвала Аврошка, которая, когда все они всласть насмотрелись на морской пейзаж, ткнула её кулачком под ребро и протянула копеечку. И остальным членам семьи вручила по монетке из собственных детских накоплений – чтобы бросили в морскую воду, и море всех их запомнило, и тогда они снова сюда вернутся на другой год.

6

Дома, когда вошли и осмотрелись, всё оказалось по-старому, за исключением того лишь, что карандашная засечка в проёме арки, что при входе в столовую, оказалась ниже Аврошкиной макушки на целых семь сантиметров. Это было чудо, в которое никто поначалу не хотел верить. Настасья подхватила ребёнка и закружила на месте, но тут же, охнув, поставила девочку на пол, притворно демонстрируя неподъёмность такого груза.

Чуть позже, когда все поели и Настя увела Аврошку укладываться, Женя лежала в ванне и думала о том, что одна её жизнь закончилась и началась теперь другая, совсем не похожая на предыдущую. Пора обрести цель, думала Евгения Адольфовна, настоящую, которая со временем перерастёт, быть может, в любимую профессию или даже, более того, – сделается новой страстью. Ей папа ещё в Каражакале сказал, давным-давно, когда она, помнится, будучи ещё совсем ребёнком, спросила, для чего он всё время ходит в эту скучную степь, таская на себе свою длинноногую подставку: там же почти всегда дует ветер и пыль в глаза от этого карьера. Он тогда что-то ответил ей, но она не запомнила. Но зато вспомнилось теперь, всплыли слова его, увиделись где-то в самом низу степного колодца, который, пересохнув, открыл своё дно. Там-то и обнаружилось много интересного – надо было всего лишь нагнуться и всмотреться туда, где, казалось, невозможно было что-либо разглядеть. Но если снести колодезную крышу, то оказывается, что прямой солнечный луч пробивает темноту, доставая до дна, которое теперь уже вовсе и не дно, а поверхность другой, следующей глубины, до которой ещё только предстоит добраться.

Утром прибежала Аврошка – будить и целоваться. К этому моменту Женя не успела ещё хорошо проснуться, ей плохо спалось этой ночью, она всё продолжала думать о том, как неправильно жила, теряя драгоценные годы, в то время как вполне могла бы, если бы не была такой дурой, уже давно развивать в себе то, чему поленилась когда-то дать зёленый свет, и начать трудиться, не дожидаясь озарения. Впрочем, как это всё устроено в человеке, и в какой момент он признаётся себе, что жил не так, – тоже оставалось непонятным.

– Мам, – обратилась к ней Аврошка, – мне мышка сегодня приснилась, летучая-прелетучая, про каких нам ещё в Никитском ботаническом саду рассказывали, когда мы туда ездили с тобой и бабой Настей, помнишь?

– Умничка, – ответила она, – и что же теперь?

– А теперь она выросла и стала летучей лисицей, – не растерялась дочь, – нам про них тоже рассказывали, забыла, что ли?

Она забыла. Но теперь действительно вспомнила, про тех и других. И неожиданно для себя спросила, ещё не отдавая отчёта в собственных словах:

– А хочешь, я тебе сказку сочиню про мышку и лисицу?

– Хочу! – засмеялась Аврошка и убежала на Настасьин зов.

Потом они завтракали, и Настя увела дочь гулять. Павел Сергеевич улетел ещё вчера, как только доставил семью на Котельники. Женя села за его стол и задумалась. К вечеру перед ней лежал рукописный текст – сказка для Авроры Царёвой, ей же и посвящённая – первое законченное литературное произведение, принадлежавшее перу Евгении Цинк. Она взяла в руки исписанные листки бумаги и ещё раз прочитала текст от начала до конца, пытаясь представить себе, что это не она автор всех этих слов и предложений, собранных в законченную детскую сказку, – и даже не совсем в сказку, как ей показалось уже потом, – в некую притчу, природу которой она и сама не понимала до конца. В любом случае, все первые дни, пока она размышляла над тем, что у неё получилось, было ощущение, что это сделала не она, что всё это сочинил некто неизвестный, для которого выполнить такую работу – просто мимолётный пустяк, и о существовании которого она всегда догадывалась, но познакомилась с ним только теперь.

«О том, как мышь стала лисой»

Жила на свете летучая мышь, и звали её Фокс. Она жила в пещере со своей семьёй: с папой, мамой, братом и сестрой. Кроме них, в той пещере жили еще тысячи мышиных семей, таких же летучих и пугливых. Пещера была тёмной и страшной, и потому жить в ней было тоже страшно. Впрочем, жили в ней мыши испокон веков, рождаясь, умирая и вновь рождаясь. Жили и знали, что там, снаружи, по другую сторону их бесконечного каменного туннеля, было еще страшней, потому что там пряталась неизвестность, которую они никогда не видели из-за того, что там был яркий свет. И свет этот нещадно жалил мышиные глаза, и колол, и кусал зрачки, как тысяча раскалённых иголок.

Однако ближе к ночи, тот слабый свет исчезал вовсе, постепенно истаивая и растворяясь в воздухе, и тогда мыши пробуждались от дневной спячки и отправлялись охотиться и путешествовать по своей пещере. Они разжимали свои кожистые

крылья, которыми обхватывали голову, боясь, что таинственный свет обожжёт их и так почти незрячие глаза. Они срывались со стен, на которых висели вниз головой в ожидании спасительной ночи. Они уползали, почти не видя ничего вокруг, в слабой надежде наткнуться на какое-нибудь живое существо: бабочку, личинку или букашку, и тем самым добыть себе пропитание. И так было всегда — не одну тысячу жизней назад. Так было – вечность. Так было и в тот день, когда Фокс, очнувшись от спячки, внезапно разжал свои цепкие когти и полетел головой вниз, на дно пещеры, не успев спланировать в полете. Он упал и больно ударился головой о твёрдый камень.

– Ма-ма, – позвал он маму-мышь. Но та спала, продолжая висеть головой вниз.

– Па-па, – позвал он отца. Но и тот не услышал его. Точно так же не услышали его ни брат, ни сестра. И тогда он решил забраться обратно, чтобы вновь прицепиться к стене, но у него ничего не вышло, потому что больная голова тянула камнем вниз, а поднимать голову вверх родители не разрешали.

– Никто не должен жить с высоко поднятой вверх головой, – наставлял его мышь-отец. – Потому что, если ты поднимешь голову и, не дай Бог, откроешь к тому же глаза, то увидишь свет, который убьёт твои глаза навсегда. И ты умрёшь от голода и страха. И никто уже не сможет тебе помочь, ни одна мышь на свете.

Слова эти Фокс не забывал, но выхода не было. И он побрёл туда, куда повели его глаза, – на тусклый свет в самом конце пещеры. Он шёл и шёл, а свет становился все сильней и ярче, но почему-то это не испугало Фокса. Наоборот, ему становилось всё интересней, хотя глаза его уже начинали немного слезиться и краснеть. Он преодолел один поворот, другой и внезапно обнаружил, что до выхода из пещеры осталось уже совсем немного. И тогда, зажмурившись, он сделал последний рывок и выбрался на чистый воздух. Он ещё не знал всего того, что должно было открыться ему, но зато он ощутил своими кожистыми крыльями дуновение тёплого ветра, ноздри его уловили запах деревьев и травы, а маленькие складчатые уши – шум воды и незнакомый клёкот в небесах. Он знал, что ещё только утро, раннее и молодое, и солнце не успело взойти на небосклон, откуда стало бы жалить глаза в полную силу.

И тогда Фокс собрался с духом и распахнул глаза так широко, как только смог. И то, что он увидал, поразило его настолько, что разом закружилось в мышиной голове и он едва не потерял сознание. Фокс быстро сжал веки, немного постоял на твёрдой почве, приходя в себя и пытаясь набрать в лёгкие побольше этого

свежего, незнакомого ему воздуха. Затем он попытался потихоньку приоткрыть их снова, пуская свет в глаза понемногу, по кусочку, по крохотной световой щёлочке. И это ему удалось. Глаза постепенно привыкли к яркому свету, и он осмотрелся.

Вокруг него был совершенно чужой мир, незнакомый и разноцветный. Чуть ниже открывался вид на равнину, и там росли огромные зелёные деревья. Порой вершины их уходили так высоко, что почти доставали небо. Впрочем, что такое небо, он тоже не знал и поэтому задрал голову вверх. Там, в небесах, в самой их середине, он и обнаружил огромную парящую под облаками птицу. Это был горный орёл. И даже не просто орёл, а птичий царь — горный беркут.

Завершив очередной величественный круг над равниной, птичий царь спикировал на самое высокое дерево и плавно опустился на ветку. Он сидел на дереве, осматривая свои владения. Голова царя была гордо вскинута вверх, глаза широко распахнуты, и лишь легкие пёрышки вокруг могучей шеи едва заметно трепетали, соприкасаясь с воздушным потоком.

Фокс невольно залюбовался этой картиной. Но при этом он всё ждал, когда же эта прекрасная птица повиснет, наконец, на ветке, опрокинувшись головой к земле и притянув крылья к глазам так, чтобы перекрыть дорогу свету. Однако птичий царь и не думал опускать голову, а продолжал гордо высматривать добычу с самой высокой точки на равнине. И Фокс дождался – он увидел, как птица, совершив могучий отрыв от ветки, произвела пару взмахов крыльями, поднялась над землей и тут же камнем рухнула вниз… Через секунду в когтях её уже трепыхалась добыча.

Но ведь так гораздо удобней, подумал Фокс, когда ты не висишь головой вниз, словно мешок мусора, и видишь мир перевёрнутым, а, наоборот, смотришь сверху, широко распахнув глаза.

И ему страшно захотелось стать таким же, как эта гордая птица. И тогда он выбрал себе дерево и пошёл прямо на него, не закрывая глаз. Он шёл и думал, что сейчас он заберётся на самую высокую ветку, вытянет шею, чтобы поднять голову как можно выше, и высмотрит свою добычу. И это будет самая красивая, самая жирная и самая большая бабочка из всех, что он когда-либо пробовал.

Первый раз ему удалось забраться на вершину дерева, когда солнечный свет горел лишь в четверть силы, не набрав еще полного дневного накала. Фокс зацепился покрепче за ветку коготками, вытянул шею и распахнул глаза. Но тут же потерял равновесие и камнем, задевая по пути веточки и ветки, понёсся вниз, к земле. Он ударился о мох и траву, поэтому удар вышел не смертельным. Но

всё равно было больно. Больно, хотя не настолько, чтобы не повторить попытку. И он снова полез к небу. И опять, как только он поднял голову и распахнул глаза, сознание его помутилось и он заново рухнул вниз. На этот раз приземлиться довелось на грунт и было по-настоящему больно. Отчаянно больно. Да и солнце успело подобраться к небу ближе, а, стало быть, свет его набрал дополнительно жгучей силы и с размаху ударил по ночным глазам летучей мыши.

Третья попытка тоже не стала последней, но и результата также не дала. Тем временем всё его тело, каждая мышиная клеточка уже изнывала от боли. Глаза начали гноиться и нестерпимо гореть, но нечто, ни с чем не сравнимое, снова гнало его туда, наверх, к небу, откуда можно было видеть настоящий мир, а не перевёрнутый, мутный и жалкий.

Четвёртая попытка пришлась на тот момент, когда солнце уже стояло в полном зените, и потому она стала самой мучительной и невозможной. Но, тем не менее, Фокс полез к небу вновь. И уже когда он почти достиг желанной верхушки и с трудом приподнял голову, чтобы снова широко разомкнуть веки, силы оставили его окончательно, и, сорвавшись с ветки, он полетел к земле, чтобы никогда больше с неё не подняться…

Но уже перед самой поверхностью земли, когда до камней оставалось совсем немного, чьё-то мощное крыло подхватило и подбросило Фокса вверх, чьи-то лапы осторожно обхватили слабое мышиное тело и бережно опустили его на землю. Это был птичий царь. Он взмахнул крыльями, нагнетая воздушный поток на полумёртвого и почти слепого мышонка, и это привело того в чувство.

– Я не буду тебя есть, – сказал ему горный беркут, – потому что ты храброе и отважное существо, хотя всего лишь летучая мышь. Наоборот, за твою самоотверженность я подарю тебе новые глаза – взамен тех, что выжгло солнце. И это зрение будет другим. С этой поры оно у тебя станет внутренним. Через тысячи лет люди назовут это радаром. Или локатором. Или как-то еще.

– А кто такие люди? – спросил Фокс.

– Люди – это те, кто украдет у тебя внутреннее зрение. Но это будет не скоро, – ответил птичий царь. – Как твоё имя, смелая мышь? – поинтересовался он.

– Фокс, – ответил мышонок.

– Фокс, – промолвил царь, задумавшись. — Значит, лиса. Ну, что ж, – добавил он, ещё немного подумав, — я не только подарю тебе новые глаза, но сделаю тебя самым большим и сильным среди всех летучих мышей. Отныне ты будешь не просто Фокс, ты станешь летающей лисицей. Возвращайся к себе в пещеру и расти.

А своим передай, чтобы они не боялись солнца и чистого неба. Ступай…

– Благодарю тебя, Птичий царь, теперь я знаю, зачем нужно жить на свете и почему не стоит умирать, – ответил мышонок и двинулся домой, в сторону пещеры…

С того дня Фокс стал расти не по дням, а по часам. Вскоре он перерос отца, мать, братьев и сестёр, а также всех мышей из их пещеры. Теперь он летал и охотился, имея абсолютную свободу в полёте, потому что мог видеть и чувствовать уже откуда-то изнутри, из самой своей середины.

А вскоре у него родились дети, летучие мышата. Правда, теперь их уже никто мышатами не называл, потому что, как и их смелый отец, все они становились сильными и большими, с огромным размахом кожистого крыла и изумительным локатором, расположенным в самом сердце организма, – настоящими летающими лисицами.

– Ну что, понравилась сказка? – чуть заметно волнуясь, поинтересовалась Женя у дочери, когда после читки вслух стала укладывать её спать.

– Очень, мамочка, – отозвалась Аврошка, – просто ужасно как понравилась, а рисовать Фокс этот тоже по-другому научился, тоже внутренним зрением?

– Конечно, милая, – ответила Евгения Адольфовна, испытывая необыкновенный чувственный подъём, – внутреннее зрение иногда бывает даже намного более важным, чем обычное, потому что ты чувствуешь предмет ещё и всем своим существом – головой, кожей и даже руками: ты как бы мысленно прикасаешься к нему и ощущаешь его запахи, звуки, тепло, которое от него исходит, ты включаешь своё художественное воображение и рисуешь его уже иначе. Ты же у меня художник, милая, ты же сама всё прекрасно понимаешь, да?

– Да, – согласилась с этим Аврора, в мыслях уже изображая на бумаге летучую лисицу, тёплую, остроносую, с кожистыми перепончатыми крыльями.

На другой день каждый занялся своим делом: Настя ушла на рынок, Аврошка села рисовать летучего Фокса, а Женя ушла в столовую, куда недавно из кабинета мужа перетащили его письменный стол, чтобы у дочери в скором времени появилась собственная комната. Она подумала с минуту-другую и начала писать. Работала быстро, не отвлекаясь на посторонние звуки, и даже когда дочка притащила ей первый вариант Фокса, она лишь мельком глянула на него, дежурно улыбнулась, погладила её по волосам, восхищённо прицокнула языком и вернулась к прерванной работе над новым текстом.

В этот раз она попробовала описать степь – то, как полностью седой, хотя и не старый ещё человек, в круглых очках с толстыми стёклами, в ношеной робе из чёрной кирзы идёт, чуть согнувшись против ветра, по пустынному полю: на плече его тренога, в руке – подрамник, остальные причиндалы – в холщёвой сумке. Он спешит, чтобы не упустить короткие минуты заката, когда скупое солнце вот-вот покинет степь, оставив после себя один лишь сумрак и пыльную позёмку, сделавшуюся почти не видной глазу. Иссохшие стебли прошлогоднего репейника хлещут его по ногам, мешают идти, царапают остро и больно там, где кончается брезентовая штанина, не достающая до края кирзового башмака. Короткая зарисовка, пейзаж в буквах и словах, но с характерами – эссе? Она сама не слишком осознавала того, что делает сейчас, не могла объяснить этой вдруг ниоткуда свалившейся на неё потребности рассыпать буквы по бумаге.

Внезапно пробудившийся в ней талант не требовал анализа, он лишь подсказывал, как лучше расположить слова, как будет образней, глаже, музыкальней. Он пытался подтолкнуть её к пониманию, казалось бы, простой вещи – чем полностью законченная мысль разнится с быстрой придумкой и отчего одна её же строка столь резко отличается от другой, следующей или предыдущей. И вообще, подумалось ей, ведь любое описание начинается в моей голове, а заканчивается уже в воображении читателя, разве не так? Своими строчками я ведь лишь предлагаю им подхватить эти слова, эти смыслы, мои сомнения и сделать их своими, развить, доварить, переработать, а, вполне возможно, просто не согласиться с ними и отбросить как ненужный мусор. Но Боже, подумала Женя, заканчивая «Степное эссе», как это, наверное, должно быть прекрасно, когда читатель, прикрыв глаза, кивнёт головой, удивляясь и разделяя с тобой точность твоих наблюдений, когда вместе с тобой засмеётся над тем, что прежде смешным казалось лишь тебе одной!

И ещё поняла важное, но это уже постучалось в голову недели через две, если отсчитывать от этой её степной зарисовки: не нужно писать, если не просится само, не причиняет боль, не заставляет постоянно об этом размышлять. Даже не начинай, если внутри не вызрело чувство, что предмет твоего писания найдёт отклик в душе ещё хотя бы одного человека – всё остальное просто «плетение словес», игра ума и его же безответственная прихоть, стремление выделиться, не заработав такого права.

Она и на слова теперь смотрела не как прежде: видела так же, но воспринимала иначе, словно сейчас они предстали перед ней впервые. И слова эти, вместе и порознь, внезапно сделались ей родными, потрясающе красивыми и умными, и теперь уже можно

было собирать из них любую мозаику – всё зависело от нужды композиции. Ей же хотелось всего, того и этого, так и сяк, чтобы медленно текло и вдруг быстро бы прорвалось и накрыло с головой. И тогда она написала свой первый рассказ, именно такой, неторопливый поначалу, но внезапно словно обретший силу и закончившийся мощно и совершенно неожиданно для неё самой.

Она была потрясена, оглушена, раздавлена. Но не от того, что не получилось задуманное, а от самих возможностей этих волшебных слов, о которых она раньше не подозревала, от того, что, оказывается, можно просто коснуться их рукой и почувствовать в ней гладкий тёплый окатыш, когда слова обретают единственно правильную подгонку… А ещё после этого первого по-настоящему серьёзного опыта она поняла, что правильно поступила, когда не стала втискивать в рассказ того, чему страшно хотелось найти место, – отдельные наблюдения, которые так и просились встать между двумя поворотами сюжета, но она нашла в себе силы и отказала им в этой мольбе, уступив место другому, не настолько выгодному, но гораздо более необходимому для устойчивости композиции в целом. Вот тогда и поразилась, когда прочла уже спокойно, отдалив себя от быстрых эмоций и первых переживаний. Всё, что она откинула, предпочтя избавить себя от соблазна, уже как миленькое сидело тут и там, и вполне себя неплохо чувствовало, добавляя присутствием своим лишней краски и заметно оживляя текст.

Это было маленькое открытие, заставившее её понять простую вещь: не следует ничего никуда втискивать принудительно – если окажется реальная нужда, оно само встанет на нужное место, забыв посоветоваться с автором.

К Новому Году набралось немало: сказка, два эссе, четыре довольно внушительных рассказа и повесть, над которой она сидела два месяца и потом ещё недели две выпрастывала каждое слово, казавшееся ей либо лишним, либо не тем.

После этого снова перечитала написанное, неспешно, и на этот раз сама конструкция её устроила, потому что всё там, на её взгляд, сходилось: рёбра волне себе поддерживались мышечным торсом, суставы обладали нужной подвижностью, основной костяк не страдал из-за неверных пропорций. Однако что-то всё равно не складывалось. А потом она догадалась, в тот момент, когда Аврошка пронеслась мимо неё на своём трёхколёснике и, споткнувшись о порог, растянулась на паркете и заревела. Пока она её успокаивала, оно и выскочило. Ритм! Вот что не понравилось – то самое, не до конца оправданное развитием сюжета, слишком стремительное перетекание героев из одной

атмосферы жизни в другую, которое требовало иных скоростей, более сдержанных и податливых внешним обстоятельствам. Но зато это и стало школой, тем более что до всего приходилось докапываться самой: учителей, кроме мужа, не имелось. Он ведь по-прежнему был Царь и Бог, и время, прожитое с ним, никак не изменило её отношения к нему, несмотря на семейность, сделавшуюся со временем привычной и не сулящую никаких особенных сюрпризов. Кое-что, правда, ещё удивляло в нём. То, например, как Павлу Сергеевичу было глубоко наплевать на расположение мебели в пространстве его обитания, как сидит на нём костюм, и что картины в его доме до появления Евгении Адольфовны развешены были так, что, глядя на стены, ей хотелось больше удавиться, чем удивиться этому его безразличию. Чуть поздней она сделала для себя ещё один вывод: ритм и композиция её текстов, то, как соотносятся между собой картины в её доме, тапочки Павла Сергеевича, цвет банта, который по праздникам завязывает Настя её дочери и ещё много чего другого – всё это удивительным образом связано между собой, являясь важной частью чего-то ещё более значительного, но так и лежащего, вероятно, на дне того высохшего степного колодца, какой однажды привиделся ей во сне.

Однажды она сказала мужу:

– А я сказку написала, для Аврошки, – и посмотрела вопросительно, как отреагирует. – А для тебя – эссе.

– Вот и умничка, – кивнул он ей неопределённо, продолжая думать о своём, – написала – почитай, может, ей понравится. А потом я и свою часть гляну, да?

Она села и переписала повесть наново, несколько пригасив страсти, что связывали двух героев из четырёх, достигнув на этот раз требуемой плавности ритма.

7

Как обычно, и 1970-й встречали дома, сами. Царёв считался нелюдимом, даже в среде ближайших соратников. Впрочем, изначально он им не был, а сделался таким после того, как были сняты последние оковы и Павел Сергеевич, резко перейдя в разряд высших среди равных, окончательно обрёл самостоятельность и даже некоторую бесконтрольность. Это и стало причиной: с одной стороны, зависть, с другой – отсутствие любых тормозов в общении с теми, кто так и не научился понимать простые вещи. Ну, а Настасья своим безотказно тёплым боком время от времени снимала нужду в недостатке контактов первого рода. Именно в тот день, в самой середине весёлого домашнего праздника, когда с экрана стали поздравлять советский народ, перечисляя достижения и успехи, после чего упомянули про космос, сказав, что пять раз, мол, в истекшем году наши пилотируемые корабли покоряли космические дали, а потом ещё часы пробили двенадцать раз и они чокнулись, Аврошка выдала, чего никто не ждал:

– Папочка, я хочу посмотреть, как улетают в небо твои кораблики, но только не по телевизору, а живьём, с дымом и огоньками, как вон там, – и кивнула на стену с соплами ракетоносителя.

– Что ж, – бодро отреагировал отец семейства. – Хочешь – значит, увидишь, я тебе обещаю, – и, прикидывая, глянул в потолок, – весной, доченька, в конце марта месяца, или в самом начале апреля. А потом нарисуешь запуск ракеты в космос, да?

Апреля этого ждали все, начиная с первого дня наступившего года.

Павлу Сергеевичу, хочешь не хочешь, но надо отправлять, наконец, этот АМС «Марс», из-за которого весь сыр-бор в верхах разгорелся, а он обещал, что всё пройдёт на этот раз без сучка, без задоринки.

Настя, та ждала этой прогулки как манны небесной – окунуться в прошлое, пожить в их старой квартирке, какую продолжала любить доброй памятью, не забывая обо всём, что случилось на тех квадратных метрах для всей её будущей жизни.

Ну, с Аврошкой и так было понятно – приключение из самых первых, какие только может выдумать для себя ребёнок. Она уже и Фоксика себе нарисовала, смешного крылатого мышонка, который высовывается из иллюминатора и смотрит вниз.

Всё ждали этого, кроме Евгении Адольфовны. К этой дочкиной идее она отнеслась вполне прохладно – понимала

Аврошкино желание увидеть своими глазами такое невероятное дело, но, если подумать и разложить путешествие на составляющие, то выходило одно беспокойство. Длиннющий перелёт в Казахстан, затем тряска по бездорожью от космодрома до Владиленинска, затем – обратно, уже к запуску, после чего снова сидение во владиленинской квартире неопределённое время до тех пор, пока Павел Сергеевич не завершит дела. Обратный перелёт, тоже непростой, хотя уже и вдоль времени, а не поперёк, как в ту сторону. Разве что, подумала, взять да нагрянуть к отцу, коль уж неподалёку оказались, да вместе с Аврошкой, и даже можно без Царёва, раз уж он так родителю не по сердцу. Приехать и сказать, мол, здравствуй, папа, вот твоя внучка, не хочешь её поцеловать? Он и оттает, глядишь, и извинится за весь этот идиотизм.

Однако такое больше витало в мыслях, слишком отдалённых от правды жизни, которая свидетельствовала совсем об ином. За время, что прошло со дня их последнего разговора, Евгения Адольфовна ещё трижды пыталась связаться с отцом, но то ли ей просто не везло, то ли это было частью умысла Адольфа Ивановича, решившего окончательно порвать отношения с дочерью, – их так ни разу и не соединили. Женя не знала, что думать: на том конце равнодушно отвечали «Его нет» и вешали трубку. Но, по крайней мере, она была в курсе, что он жив и здоров, иначе ответили бы по-другому.

Да и времени, если честно, было жаль. В те же дни затеяла повесть, первую, которая, как она себе придумала, станет любимой на всю жизнь, потому что знала, о чём. Верней, о ком. Она уже поняла, что в любом случае, о чём бы ни писала, ей потребуется хотя бы один персонаж, с которым читатель смог бы себя ассоциировать. Про этого условного читателя, которым ей только предстояло обзавестись, она думала пока отвлечённо, представляя его себе как довольно усреднённый образ человека, интересующегося жизненными коллизиями, пускай даже пристрастного, но не обязательно умного. Сам по себе ум, полагала она, не есть стержень, на который намотана проволока, и даже если станешь эту проволоку грамотно разматывать и рано или поздно доберёшься до самого стержня, то вовсе не факт, что он тебе понадобится, что ты точно сможешь определить, что теперь с ним делать.

Главное, что персонаж нашёлся, им был её отец, Адольф Цинк, обиженный неизвестно на кого, но зато с судьбой, и этого тоже было не отнять. Начать же задумала с деда, Ивана Карловича, часовщика, а уже затем плавно переключиться на отца, художника, начиная с его жизни в Спас-Лугорье, где он и

стал живописцем, как сам ей рассказывал. Она тогда твёрдо решила для себя, что когда станет матерью, непременно отвезёт детей в этот их родовой посёлок, пускай даже и лишившийся дома Цинков. Природа сибирская осталась? Память осталась? Красоты, с которых начинал папа, тоже остались нетронутыми. В тот раз Адольф Иванович ничего ей не ответил, когда она поделилась с ним таким далёким планом на жизнь. Дед же после шепнул ей на ушко, что орден, мол, тевтонский разбит напрочь, и нечего там больше всем им делать, на месте этой насмерть выгоревшей памяти.

Она уже поняла, каждый выписанный ею герой должен чего-то хотеть, но не кое-как, а очень, пускай даже это будет кулёк обычных семечек, но пусть герои её совершают самые разные поступки, тоже неважно какие, главное, что читатель поймёт в этом случае, из чего они сделаны, из какого материала собрано их тело, на что опирается душа. И не нужно предлагать свою любовь всему миру сразу, целиком, – достаточно будет, если ты ублаготворишь хотя бы одного человека, а это уже немало. И ещё – чувство. Оно должно быть непреложно истинным, не придуманным, тогда оно найдёт выход и обретёт форму. И последнее: человек пишет так, как он думает: писать можно научить, и довольно грамотно, но научить думать невозможно, сколько ни говори – думай, думай, думай… Впрочем, можно их несколько систематизировать, эти свои думы, привести в некий условный порядок, построить, если угодно, но только вряд ли такое действо придаст твоим мыслям глубины. Это было чрезвычайно важным для неё собственным открытием, и оно, это новое знание, стало действенно помогать в работе. Теперь она трудилась и по ночам, но, правда, это случалось лишь, когда Павел Сергеевич был в отъездах. Он, разумеется, был в курсе её недавнего увлечения, но поскольку сама она так и не принесла ему на отзыв ни единой строчки, то он и не подгонял: деликатно выжидал момента, который, скорее всего, Женя назначила себе сама. При этом догадывался, что наверняка у супруги с этим делом есть вопросы. Но как творец он не имел права теребить другого творца, чтобы тот, наконец, предъявил что-либо высокому суду.

А если серьёзно, то, думая о жене, Царёв невольно оттягивал для себя, для них обоих этот момент. Боялся, сам себе не очень в этом признаваясь, что принесёт ему Женюра говно, да хорошо к тому же, если не полное, а этого ему страшно бы не хотелось. Это, конечно, ни в коем случае не означало бы разочарования в собственной жене, даже сколько-нибудь малого. Но ужасно не хотелось расстаться с иллюзией, он ведь так хорошо придумал

себе образ подруги жизни, и его маленькая Женюра как никто другой идеально под него подпадала, от и до.

Он мысленно вставал на её место, зная, что ей предстоит показать ему свою работу, которая была для неё безусловно важна, – это было видно по тому, как она всячески уходила от темы и вроде бы равнодушно отводила глаза, когда взгляд его натыкался на исписанные мелким наклонным почерком листочки, а позднее – напечатанные на машинке и оставленные тут и там. Павел Сергеевич знал, что врать он не станет, скажет, что думает: ну а утешить, если понадобится, то попытается, конечно, хотя вообще это не в его правилах. В его правилах любить честно.

Сам он, уже после того, как получил её в собственность, всё ещё продолжал тщательно унавоживать эту подготовленную им когда-то почву, хотя и произошла их стыковка совершенно непредвиденно. Впрочем, было уже неважно, теперь их системы безупречно дополняли одна другую, расстыковка была невозможна ни при каких обстоятельствах, даже если бы и имела место самая нештатная ситуация. Он ведь был всё так же разумен и расчётлив, если говорить об этом в хорошем смысле слова, он желал и дальше иметь то, что имел, с той же самой неизменной отдачей на выходе, с возможностью никогда больше не задумываться о справедливости своего выбора, а лишь благодарить за него судьбу. Литература же была его слабость: в том числе и оттуда подпитывал он свой ненасытный мозг, от неё же нередко подзаряжал и сердечные свои аккумуляторы, и порой она давала ему так много, что остальное отходило в сторону, уступая место самому душевному, что только могло набраться в нём.

Главным, несмотря на всю любовь к слову, оставалось чуть другое, и это, как ни у кого больше, находил он в писаниях святой для себя троицы: Гоголь, Чехов, Бунин. Он зачитывался «Окаянными днями», что угодливо и по тихой сунули ему когда-то, а он не отказался, взял эти размноженные вручную бунинские дневники, это скопище бешенства, ярости и гнева. Он читал их неотрывно, в который раз размышляя о том, кто из них подлее, кровожаднее и гаже: Ленин, Троцкий или Дзержинский.

Но затем откладывал эти фотографические листки, и место ненависти в душе занимала забавная благость и лёгкий попутный приворот, но уже не полной и понятной безнадёгой, а скорей неясной, призрачной и затуманенной грустью – и всё это был Антон Павлович с его умением заворожить, рассмешить и довести до отчаянья. Оставался ещё Гоголь, волшебник и мечтатель, печальный смехач, ироник, провокатор и немножечко позёр,

живописатель русского характера вкупе с той необъяснимой разумом загадочной и малость чужеватой Павлу Сергеевичу душой, что послана небесной благодатью русскому человеку.

«Мёртвые души» были напольной книгой, в прямом смысле, и Настасья, чуя такое за хозяином, не смела трогать раскрытый на середине том, что вечно жил себе на полу подле кровати. Женюра же – посмела, вложив закладочку и сунув книгу в стопку на столике вместе с прочими радостями для души и головы. Ему тогда это не понравилось, расценил как покушение на свою личную территорию, но он ничего ей не сказал, унял в себе этот недовыжженный эгоизм, приняв для себя новые правила жизни и игры. Хотя чаще, мысля о том, почему жизнь его сложилась так, а не иначе, приходил к выводу, что, наверное, ему вообще чужда ненависть во всяком её проявлении. Но тут же мог и усомниться в этом, невольно вспенивая в мозгах то, о чём лучше бы совсем не вспоминать.

8

Ей нравилось эта тишина: до их высотного этажа городские звуки и днём-то долетали едва-едва; ночью же был абсолютный звуковой провал, вакуум, и если бы она захотела, то смогла бы, наверное, услышать, как трутся друг о друга пылинки, не прихваченные Настиной тряпкой, или как откуда-то сверху, уже вполне ощутимо для слуха некто неизвестный, всерьёз взявшийся за неё, нашёптывает ей очередные слова, которые она только-только успевает перенести на бумагу.

Так она работала почти до конца марта, делая время от времени короткие перерывы, чтобы привести в порядок мысли и, сменив картинку перед глазами, вернуться к прерванному тексту. Так ей получалось видней, будто смотрела она на сделанное ею несколько отстранённо, как некто посторонний, не обязательно заинтересованный в успешном результате и уже далеко не каждым оборотом восхищающийся. Однако, работая, не тормозилась даже для того, чтобы получше освоить пишущую машинку, шла дальше, с самого начала решив для себя не терять темпа, ничего не править, а лишь накапливать добрую и полезную злость, которая к финалу этого первого её большого путешествия позволит переписать всё от начала до конца, принимая в расчёт пройденный путь, весь набранный ею багаж, все набитые шишки, эти бессчётные затыки, о которые она снова не раз и не два успеет расшибить лоб.

Папа, казалось ей, получался интересным. Во всяком случае, если говорить о нём, как о персонаже. Слово «герой» ей не нравилось, от него веяло чем-то чрезмерно далёким, наигранно-высокопарным. Такое слово слишком часто звучало у них в каражакальской поселковой школе: и когда речь шла о литературных именах, и параллельно, когда им вдалбливали параграф за параграфом, из чего сделан костяк единственно верной коммунистической идеологии и почему завоевания советского народа есть самые наипервейшие среди всех остальных мировых достижений.

Она, конечно, будучи вечной отличницей, толкования эти слушала, но воспринимала их больше ушами, чем головой. Несколько раз озадачивала вопросами отца, прося его помочь разобраться во всех этих наворотах, где почему-то концы не увязывались с началами, сами же начала брались неизвестно откуда, хотя предполагалось-то всё иначе, если отмотать от самого первого параграфа. Адольф Иванович даже не отшучивался, просто отворачивался и уходил, всякий раз находя

причину увернуться от такого разговора. Поначалу это её удивляло: казалось, дело-то понятное, простое, если разобраться, доходчивое – всего лишь требуется понять, отчего все они живут в вонючем бараке, если трудовому народу обещан рай. А они ведь были именно такой народ, самый что ни на есть трудовой, хотя и имели фамилию, трудную для запоминания, но зато лёгкую, чтобы быстро и без запинки выговорить на одном коротком выдохе.

Потом отучилась спрашивать, свыклась и с бараком, и с мыслью, что другая жизнь, если и имеется где-то ещё, то всё равно никогда и никаким боком не коснётся их, потому что слишком далеко расположена от этой степной местности. Да и папа с его вечными картами рудных залеганий никуда уже отсюда не денется, пока тут не выберут всю медь, или какая-нибудь новая война не разбомбит эти его степные пейзажи. И лишь через годы, когда она начала учиться в Политехе, до неё потихоньку стало долетать, отчего её отец так упорно уклонялся от любых разговоров, так или иначе связанных с героической тематикой. Однако выводы её верными так и не стали: она полагала, что папу вечно мучила совесть за то, что не воевал он в тот момент, когда на фронте тысячами гибли люди, а всё это тяжёлое время пробыл в тыловой провинции. Других мотивов Женя для себя не находила. Ну а потом закрутилась в учёбе, в суете большой Караганды, и папа как-то сам по себе отодвинулся, ушёл чуть в сторону, унеся с собой остатки редких сполохов её памяти об их тогдашней жизни посреди голой степи.

Теперь же, когда начала писать, картинки тех далёких времён стали неспешно восстанавливаться, собираться по крохам, и оказалось, что всё то, во что раньше не вглядывалась, на деле медленно выстраивалось в некую картину, плотно собранную и туго сжатую, где нашлось место описанию мелочей их жизненного быта, начиная от заполонивших скудное пространство обитания холщёвых папиных рулонов, от стопки его же маркшейдерских чертежей, от дедушкиных колёсиков и пружинок до запахов цветущих волошек и увядающего ковыля, керосинового фитиля, мокрой ржавчины, всепроникающей рудной пыли и подгнившего белья, забытого вечно нетрезвым соседом в общем тазу их барачного коридора…

9

30-го марта Царёв, войдя в дом, сразу сообщил:

– Послезавтра летим, будьте готовы.

– Сколько в общей сложности пробудем? – уточнила Женя. К этому времени она уже твёрдо для себя решила, что непременно отвезёт Аврошку к деду, использует эту поездку – будет возражать её муж или нет. Решила всё же сказать ему об этом уже на месте, сделав так, чтобы, если всё у них пройдёт гладко, то Павел Сергеевич не найдёт повода отказать. А потом она даст ему читать четыре рассказа, которые взяла с собой, на свой страх и риск. С другой стороны, если поразмыслить хорошенько, то повод всё же имелся, поскольку никуда не исчезал, – явное, откровенно ничем не прикрытое нежелание царёвского тестя входить в любой контакт с семьёй, где якобы верховодит пенсионер по возрасту и чекист по убеждениям.

– Пробудем, думаю, не меньше недели, – откликнулся Павел Сергеевич, прикинув по дням, – но если захотите сбежать раньше, только скажите, я отправлю.

Таким образом, всё складывалось лучше не бывает, времени хватало, чтобы и ребёнка удивить живой картинкой огненного чуда, и до Караганды добраться, преследуя известную цель. А там уже как получится. Во всяком случае, теперь у Жени была маленькая тайна, и эта тайна грела ей внутренность, что говорило о вполне вероятном успехе всей задумки.

Они приземлились на космодромовской полосе, не выйдя из графика полёта. Павел Сергеевич остался на комплексе, их же отправил во Владиленинск, на квартиру, обживаться в ожидании запуска, назначенного на второе апреля.

С Настасьей всё было ясно ещё до отъезда из Москвы: она просилась лететь вместе с ними исключительно для того, чтобы на пару дней оказаться в прошлой жизни, даже не выходя на улицу. Такое путешествие уже само по себе было для неё подарком, и Царёв это, безусловно, знал. По заботам и делам вполне можно было обойтись и без Настасьи, но он прикинул чего-то про себя, хмыкнул в нос и выдал:

– Ладно, тоже с нами полетишь, прокатишься заодно. Вспомнишь молодость, по крайней мере, и всякое такое… – и глянул на неё с прищуром, проверяя реакцию. Таковой, однако, не последовало: Настасья, тревожно оглянувшись по сторонам, просто поправила фартук и тихо удалилась к себе, благодарно кивая, пока неспешно оттаптывала длинный коридор.

В квартире, куда их доставили, было так же казённо, как и в

старые времена, но всё по-прежнему пребывало в чистоте и стерильности. Настя даже слегка огорчилась, хотя виду не подала, что замена ей нашлась не хуже её самой. Но тут же мысль её переключилась ещё на одно – уж не кралю какую, подумала, взамен неё пристроил к месту Павел-то Сергеич, – всё ж мужик, а не какой пустой болтун, хоть и большой человек, и не первой молодости. Подумала эту мысль и тут же ещё на одну наткнулась – что за все годы, какие провела возле Царёва, так и не научилась высмотреть в нём чего-нибудь пожилого, увядшего, даже в самые тяжёлые дни, когда он беспросветно уставал и не имел до неё никакой охоты. Теперь такие мысли смущали её не слишком: с годами отношения выверились, устоялись, и каждый получил заслуженное взамен своего сыпучего прошлого. А на ракету эту смотреть не поедет, так решила для себя, нечего там смотреть, одна только тряска туда-сюда, двойная да бездорожная.

Аврошка два дня, пока они жили в квартире, не переставала рисовать будущую ракету, встречи с которой ждала с диким нетерпением.

– А как я её увижу, когда она полетит, – интересовалась у отца, – с головы до пяточки?

– В общем, да, – пояснил дочери Царёв, – ты будешь смотреть на неё в перископ. Это такая штука, вроде подзорной трубы, но только лучше и видней.

– Не-ет, – закапризничала Аврошка, – ты обещал живьём, я так не хочу через трубочку, я хочу, чтобы всё было видно, как на самом деле.

– Ладно, – долго не думая, согласился Павел Сергеевич, – будет тебе живьём. Но только с мамой, без меня, я должен быть в том месте, откуда я могу делать свою работу, договорились?

– Договорились, папочка! – обрадовалась не знавшая отказа дочь. – Я ещё с собой Василису возьму, ладно? Пускай тоже поглядит на твою ракету, – и сунула ему в руки куклу.

– С Василисой, так с Василисой, – бодрым голосом подтвердил условие отец, – лишь бы не было ядерной зимы.

Когда он сообщил, что с ним будут жена и дочка, возразить никто не посмел, хотя все, включая самого Царёва, были прекрасно осведомлены, что по действующим правилам любой посторонний не имеет права без специального к тому допуска присутствовать не только при запуске, но вообще находиться на любом из объектов космодрома. До того дня порядок строжайше соблюдался, однако аргументы против царёвского лома отсутствовали, и это также было понятно всем. Случай был особый, иначе для чего тогда в столь зрелом возрасте жениться и рожать детей – это он так пошутил перед тем, как спуститься в

ЦУП, предварительно отправив газик с Женькой и Аврошкой на третий километр, в укрытие на голом полигоне. Кроме водителя, их сопровождали двое: один из помощников, отвечавший за системы стартового комплекса, Алексей, чтобы всё показывать, рассказывать и обеспечивать связь с подземным ЦУПом, и другой, Юрий, в чьём ведении находилась служба заправщиков.

Они добрались до незатейливо устроенной траншеи, отстоящей от стартовой площадки на расстоянии четырёхминутного перегона, и когда их автомобиль тормознул возле неё, от непосредственного места старта их отделяла дистанция около трех километров.

Они спустились в траншею и заняли места. Над головой у них теперь, кроме неба, облаков и заоблачной космической дали, куда полетит автоматическая межпланетная станция, чтобы сфотографировать Марс, был навес в виде конструкции, состоящей из облегчённого каркаса и таких же почти невесомых листов тонкого пластика, предохраняющих на случай дождя. Алексей проверил связь, произнеся в микрофон рации:

– Павел Сергеевич, мы на месте, как связь?

– Молодцы, что на месте, – отозвался с той стороны Царёв, – ждите, скоро освобожу вас от этой обязанности, ещё минут с десяток, и полетели, да, Аврусь? – добавил он, рассчитывая, что та его слышит.

– Да, папочка! – громко крикнула в ответ Аврошка. – Полетим!

«Протон-К» был на месте. Он стоял, закреплённый в идеально вертикальном положении, нацеленный носом в небеса, выпуская из-под себя озоновый пар, который можно было видеть только через бинокль.

– Это она так дышит? – поинтересовалась Аврошка, обращаясь к Юре. – Чтобы надышаться, пока не улетела? А то папа говорил, что на небе дышать нельзя, там, он сказал, какой-то вакуум и можно умереть, если не надеть скафандр, да?

– Не приставай с глупостями, пожалуйста, – одёрнула её Женя, – лучше следи за ракетой, а то она улетит, а ты не заметишь, будешь потом приставать, что тебе рисовать да как.

– Да дыши – не дыши, перед смертью всё одно не надышишься, – отшутился Юра, улыбнувшись всем лицом сразу, и пояснил: – Она же обратно не вернётся больше, ты поняла?

Алексей ещё уточнил:

– Она нам оттуда будет по воздуху фотографии слать, прямо с Марса, у неё там фотик вделан, щёлк, щёлк – и готово!

– Вы меня обманываете оба, – засмеялась Аврошка, – по воздуху нельзя, раз его там нет, можно только когда космонавт

сам пощёлкает, а после привезёт и подарит.

Честно говоря, зрелище всё ещё не было достойным восхищения, тем более с того расстояния, на которое их увезли. «Возможно, потом будет поинтересней, – подумала Женя, – когда этот носитель уже стартует и отвалит в открытый космос». В любом случае, сейчас, пока они ждали команды «Ключ на старт», было время лишний раз подумать о встрече с отцом, представить себе, что она ему скажет, когда он увидит их и, наверное, обалдеет от неожиданности, сразу догадавшись, кто с ней рядом. И какие, интересно, будут его первые слова. Но ещё в самолёте из Москвы, пока она обдумывала, как правильней обставить встречу, решила, что на этот раз первой начнёт сама, сказав дочери: «Смотри, Аврусь, это твой дедушка Адольф, иди же к нему, поздоровайся». И подтолкнёт её в спину. Аврошка, скорей всего, сначала постоит чуть-чуть, стесняясь, но потом всё же пойдёт к дедушке. А дальше… дальше уже, как он сам того захочет: прекратит эти свои глупые фантазии и пойдёт на попятный, растаяв от умиления при виде внучки, или же смастерит равнодушное лицо, а сам в это время будет лихорадочно соображать, какую ему занять позицию, чтобы и лицо сохранить, и внучку не потерять.

Так или приблизительно так размышляла Евгения Адольфовна всё то время, пока «Протон» готовили к старту, а её дочь развлекали, как умели, Алексей с Юрием. И ещё, в ожидании тех коротких секунд, когда пустынный пейзаж степи озарится светом от огненного смерча, который, словно джина из бутылки, выпустит из себя «Протон» из всех сопел своих восьми ракет, она успела представить себе лицо мужа, когда он возвращает четыре её рассказа, которые она подложила ему вчера перед сном в расчёте, что за эти дни он найдёт время хотя бы предварительно сунуть в них нос. Или даже нет, не так – он возвращает их с совершенно серьёзной миной, уже готовый для разговора – тяжёлого, удручающего… или нет, всё наоборот, – обстоятельного и очень доброжелательного – в общем, такого, который получится. И не было ничего в тот момент для неё важней, чем узнать, что он думает и что он скажет ей – её Бог, её муж, её Главный конструктор – о том, куда, из какой прошлой и в какие новые степи тащит её так невозвратно, что многое, очень многое из того, что прежде трогало и волновало, отошло в сторону, отлетело куда-то, не хуже этой дальнострельной ракеты, обратившись в пустую и незначительную ерунду.

Эта мысль была последней, которая успела покрутиться в голове у Евгении Адольфовны, потому что уже через пару секунд внимание её отвлёк резкий звук, раздавшийся из рации. Сначала

там чуть пошипело, после чего незнакомый голос произнёс:

– Дальний, дальний, я ЦУП, у нас ключ на старте, ожидайте пуска, – и тут же снова повторил, – ожидайте пуска!

– Ну всё, – бодрым голосом объявил Алексей и снова улыбнулся своей хорошей улыбкой, – приготовились, гости дорогие, отматываем десять секунд и – вперёд, к Марсу, будьте любезны!

– Смотри, Аврора, не прозевай свою зарю, а то после внукам нечего рассказать будет: скажешь, была там, да только ничего не поняла, ага? – хохотнул Юра, подмигнув девочке.

В этот момент началось движение. Разом, будто по команде из преисподней, пыхнуло снизу верх и вбок огнём, страшным и сильным. Слышно не было почти ничего, хотя кое-какой звук вроде прорывался, доносясь до их траншеи остатками иссякающей громкости. Но главным к этому моменту был не он – основным сделалось само зрелище. Медленно, будто фантастические окостеневшие щупальца, развелись крепёжные створки, удерживавшие ракетоноситель в вертикальном положении, и «Протон», так же неспешно поначалу, стал отрываться от земной поверхности. Аврорка смотрела во все глаза, не в силах оторвать взгляда от этого невиданного чуда, сотворённого её отцом.

– Ну что, – крикнул ей Алексей, – нравится пускать кораблики?

Она не услышала его слов, это был уже явно перебор – слишком завораживающей была картина, чтобы помимо неё разобрать ещё и звук голоса. Женя тоже смотрела, как неведомые силы отрывают пятитонную громадину от площадки, и вдруг поймала себя на мысли, что ей дико жаль, что рядом с ними нет её отца, Адольфа Ивановича, который, наверное, при его художническом воображении сумел бы потом ещё долгие годы фантазировать с маслом, гуашью, углём, со всем чем угодно, на темы бушующего огня посреди дикой степи. Наверняка он сумел бы поразительно верно изобразить этот взрыв лишь тремя-четырьмя взмахами своей кисти и, конечно же, цвет огня не был бы таким, как этот: в охристое папа непременно добавил бы серого и сильно бы разбелил самоё огненное, нанеся его едва заметным мазком, но сделав сутью и смыслом композиции – потому что важен не сам старт, а то, что осталось после него – выжженная площадка посреди степи с клочьями тут и там расплавленного бетона.

Об этом она успела подумать в первую пару секунд, в тот самый момент, когда «Протон-К» только начал отрыв. Однако внезапно что-то изменилось, но никто ещё не мог понять, что

именно, хотя оба они, и Юра, и Алексей, тут же схватили бинокли и стали пристально вглядываться в то, что происходит на стартовой площадке. Что-то взорвалось, там же, снизу, в том месте, где бушевал центральный огонь, и это не могло быть не видно. В то же время всем им показалось, что этот внезапный взрыв, сложившийся с основным, казалось, никак не повлиял на сам носитель, «Протон» продолжал подъём, всё так же медленно набирая скорость.

– Что? – заорал Алексей, вырвав рацию у Юры из рук. – Что там у нас, нештатка?

Ему не ответили, и он снова начал лихорадочно нажимать кнопки, пытаясь соединиться с ЦУПом. Прошло ровно 25 секунд, в течение которых ситуация всё ещё оставалось необъяснимой: по крайней мере, для тех, кто находился в траншее. Аврорка, мало чего понимавшая в происходившем, продолжала восторженно визжать, следя за тем, как исполинская ракета всё выше и выше забирается в небо.

– Ответьте, ЦУП, ответьте, это Дальний, говорите же, ну! – продолжал орать в рацию Алексей, но только и на этот раз ему почему-то не ответили. – Чёрт! – выругался он и снова задрал глаза в небо. Именно в этот момент закончилась ставшая роковой 25-я секунда полёта, до наступления которой система управления всё ещё пыталась скомпенсировать тягу потерянной ракеты: пять двигателей тянули «Протон» до того момента, пока он не набрал километр высоты. Ровно в это мгновение из-за недостатка тяги ракета начала давать крен и резко заваливаться на бок. До финала оставалось 20 секунд, но уже через 16 она взорвалась, на этот раз вся, целиком, развалившись на огромные куски, – в небе над теми, кто был в траншее, и увидеть это уже никто из них не мог: мешал навес, перекрывший видимость, поскольку, приняв горизонтальное положение, «Протон» резко терял высоту, уходя в сторону от места старта. Все шесть двигателей были выключены ещё до взрыва, и уже ничто не управляло ракетой – оставался лишь собственный свободный полёт и падение обломков на землю.

Юра выскочил из траншеи первым, хотя знал, что делать этого категорически нельзя, он оставался без элементарной защиты.

– К машине! – заорал он. – Все к машине! Лёша, вынимай их оттуда!

Опомнились практически одновременно – все, кроме Авроры Царёвой, которая, потеряв из видимости небесный кораблик, в растерянности пыталась теперь высмотреть что-нибудь в совершенно пустом небе. Алексей схватил её поперёк туловища и

потащил наверх, успев крикнуть Жене:

– Выбираемся отсюда, быстро!

Женя кивнула, плохо при этом соображая, куда им следует выбираться и для чего это нужно. Юра же, добежавший до газика, уже успел завестись и теперь сдавал задом, чтобы, максимально приблизившись к выходу из траншеи, забросить всех в машину и газануть как можно дальше от опасного места. Однако он не успел проехать и двух метров – обломок корпуса ракетоносителя, самый крупный, всё ещё горящий и разбрасывающий в стороны раскалённую жижу, вломился сверху, целиком накрыв собой автомобиль и в долю секунды превратив его в железное огненное месиво. Кусок «Протона» выпал откуда-то из небес настолько стремительно, что Юра, смотревший в это время назад, но не вверх, уже не мог ничего успеть, даже если бы вовремя заметил опасность.

Второй обломок, не такой огромный, в отличие от первого, убившего старшего по заправке, но раскалённый много сильнее, всё ещё полыхал ужасным огнём, и невозможно было понять, чего в этом огненном шаре в момент соприкосновения его с землёй было больше – самого железа или этого страшного, выжигающего глаза огненного жара. В последний момент Алексей успел-таки краем зрения заметить нечто со страшной скоростью валящееся сверху прямо на них с Аврошкой, которая, поднявшись по узкой лесенке, теперь была у него на руках. И тогда он, подчиняясь защитному инстинкту, бросился на землю, стараясь перекрыть своим телом тело девочки. Обломок, рухнув неподалёку, рассыпался на несколько мелких осколков, таких же огненных. Один из кусков этой горящей смерти, пролетев ещё с десяток метров, приземлился сбоку от них, образовав вокруг себя пылающий конус, который шипел и разбрызгивал по сторонам раскалённые шматы грязи, перемешанной со всё ещё не гаснущими остатками ракетного топлива.

Впрочем, ничего этого помощник Павла Сергеевича чувствовать уже не мог, жизнь его оборвалась в тот момент, когда обрубок крепёжного штока, устанавливаемый между панелью солнечной батареи, питающей межпланетную станцию, и параболической антенной, влетев заострённым торцом в правый бок Алексея, пробил оба лёгких и, развороти край сердечной мышцы, застрял в его корпусе. Аврора, придавленная его телом, почти ничего не соображая, кроме того лишь, что происходит что-то по-настоящему страшное и что всё это совсем не напоминает игру, выбралась кое-как наружу, но в тот же самый момент ощутила на своём лице пожар, будто кто-то с размаха и изо всех сил шлёпнул ей по лицу горячим и острым. Так и было – шмат

пылающего грунта, выброшенный из очага ближнего взрыва и попавший на её лицо, уже медленно сползал вниз, срываясь мелкими ошмётками и оставляя после себя следы интенсивного ожога. Она, уже ничего не видя, на какое-то время утратила слух и потеряла дар речи – затем раздался её крик, пронзительный и не по-детски отчаянный. Ещё через несколько секунд всё исчезло уже окончательно – боль, жар, звук, память, всё-всё… остался лишь сон, непривычно чёрный и страшный. Больше не было ничего.

Евгения Адольфовна Цинк так и не успела выбраться наверх, она осталась лежать на дне траншеи, обожжённая почти целиком, потерявшая сознание в результате болевого шока: её, придавленную к земле расплавленным пластиком, просто залило сверху горящим топливом, выброшенным из разорванного взрывом топливного бака, и потому она не могла услышать, как кричит её дочь, не могла видеть того, как в огненную лепёшку превратился их космодромовский газик, как не могла знать и о том, что в это время уже неслись к их укрытию машины, и в головной, бледный, обезумевший от предчувствия самого страшного, был её муж, Павел Сергеевич Царёв.

10

Она не приходила в сознание ещё с час или около того. Разрываясь в бессильном угаре между женой и дочерью, Павел Сергеевич орал про чёртов самолёт, что надо немедленно на аэродром, лететь в Москву, в ожоговый центр или куда там ещё, мать-перемать, и что дочь его – срочно в клинику, к глазнику или куда там ещё. Ему отвечали, что самолёта нет, что сам же он распорядился утром отправить его в Москву с его первым замом по ОКБ выбивать лимиты, а глазной доктор во Владиленинске всего один, к тому же молодой и не достаточно опытный, и, может, не к нему надо, а к хирургу или ожоговикам, сразу заодно уже с Евгенией Адольфовной, и лучше, может, время не терять, а гнать в Караганду, хоть путь и не близкий, но будет надёжней, если учесть, что там какие-никакие специалисты и какая-никакая наука имеется, а покамест примочки, может, или чего ещё, и лучше всё же сначала в больничку местную, а уж оттуда на скорой в Караганду под сиреной, потому что в вертолёте нет реанимационного оборудования…

Первый раз Женя очнулась, когда, после посильной первой помощи, которую без особой надежды на результат сумели оказать местные врачи, чёрная машина Царёва, прогибаясь рессорами, неслась в Караганду, включив маяк и обе сирены, чтобы расчистить путь единственному в городе реанимобилю. Она лежала под капельницей в бессознательном состоянии, и двое в белых халатах беспрерывно поддерживали её стремительно угасающую жизнь. Он был рядом, не выпуская из своей руки её обожжённую ладонь. Когда она приоткрыла глаза и он понял, что она его слышит, то быстро произнёс, стараясь выговорить слова, которые успеют долететь до её сознания:

– Милая, милая, Женечка моя, любимая, держись, родная, держись, мы скоро приедем, там нас уже ждут, там хороший доктор, настоящий, они всё сделают как надо, вот увидишь… – Он не знал, какие слова правильные, а какие произносить нельзя, и что в этой ситуации ему следует делать, обнадёживать и подбадривать, демонстрируя лживую надежду, или страдать вместе с ней, дав волю сочувствию и слезам и явив ей собственную слабость и безутешность. Как и все, кто был с ним в машине «Скорой помощи», Павел Сергеевич Царёв не мог знать, что́ его жена понимает, а какие слова не достигают её рассудка. Женя лишь едва заметно шевелила губами, наверное, стараясь что-то выговорить; возможно, она просила пить или это было просто сокращение лицевых мышц умирающего организма.

– Я, это я всё, я виноват перед вами, родная, прости меня, слышишь, прости, это я, старый идиот, я должен был остаться там вместо Юры и Алеши, а ты не смеешь умирать, ладно? И с Аврошенькой всё будет хорошо, в этом все уверены, ты не беспокойся, моя хорошая, и с тобой и с ней, со всеми нами, моя любимая, ты ведь слышишь меня, да, слышишь? – Слова вытекали сами, он уже не контролировал того, что сам произносил: звуки, складываясь в слова и фразы, изливались свободным потоком, который будто выталкивался изо рта неким неисправным механизмом, утратившим регулировочный клапан. Он и на самом деле был в полном отчаянье, он и правда не знал, как поступить, что ему сделать прямо сейчас, здесь же, чтобы избавить её от мук, а себя от неверия в свои собственные слова. Он даже не хотел пока думать о дочери – это было бы чересчур, этого можно было бы уже не одолеть, и он это знал, заставив себя смириться с мыслью, что с ней всё хорошо и что слабые ожоги, пришедшиеся ей на лицо, устранятся бесследно, а даже если и останутся те или иные следы, то и пускай, он ведь не станет любить своё сокровище меньше, чем любил до этого, свою Аврошку, свою единственную утреннюю зарю.

– Женечка, Женя, – он слегка сжал ей руку, чтобы привести жену в чувство, – ты слышишь меня? Скажи что-нибудь, моя хорошая, скажи, чтобы я не мучился, скажи, ладно?

Человек в белом халате, что находился справа от него, отслеживая капельницу и время от времени добавляя в колбу раствор, обратился к нему:

– Павел Сергеич, вам лучше пока не разговаривать, вашей супруге теперь надо бы поберечь силы. Она, если вас услышит, вполне возможно, станет дополнительно переживать, а это сейчас нехорошо для неё, извините, конечно.

– Ну да, ну да… – опомнился Царёв и снова повторил, уже несколько отстранённо, – ну да… – и замолчал, глядя на покрытое багровыми вздутиями лицо своей жены. «Странно, что глаза не задело, – подумал он, не в состоянии отвести от Жени взгляд, – а, может, Бог даст, на самом деле обойдётся: даже если и рубцы останутся, плевать, главное, не потерять мою девочку, обеих их». Подумал и поразился тому, что не о ней сейчас первая мысль была его, не о Женюре, и даже не о них обеих, девочках его любимых, а о самом себе, что сам он, проклятый, не сможет этого пережить, а что жена сделается калекой, не так и важно, он и калеку будет любить не меньше, чем любил до того. И снова – «он»… а как же она, разве любви его и заботы хватит, чтобы женщина, оставаясь благодарной ему, перестала ощущать своё уродство и забыла о себе ради его паскудного благородства?

Она снова приоткрыла запавшие веки, и взгляд её внезапно стал осмысленным.

– Павлик… – с трудом выговорила Евгения Адольфовна… – Павлуша…

– Что?! – вздёрнулся он, отстранив рукой врача, попытавшегося было не допустить его к ней. – Говори, моя хорошая, что, как ты, скажи – держишься?

– Паша… ты посмо… трел ра..сска..зы? – преодолев дикое усилие, по слогам выговорила она. Ему не сразу удалось постичь смысл сказанного женой, хотя и показалось, что он сумел разобрать её слова, сложенные в короткий вопрос.

– Что, милая, какие рассказы, ты о чём? – И снова склонился над ней: – Как ты себя чувствуешь, мы уже скоро, потерпи ещё чуть-чуть, уже скоро приедем…

– Куда при… е..дем… за..чем?.. – вышептала Евгения Адольфовна. – Ты ус… пел их… посмо… треть… или… пока… ещё нет?.. Не чит-ал?..

– Господи! – едва не заорал он, – да какие ещё рассказы, Женечка, ты о чём вообще?! Потом это всё, потом, после поговорим. Ты главное крепись, ты думай о хорошем, об Аврошке нашей, о… – на мгновение он запнулся, но тут же вновь подхватил свои слова. – О папе своём Адольфе Ивановиче: вот починимся, подправим здоровье, и в гости к нему поедем, да? – Преодолевая отчаянье, он выдавил из себя фальшивую улыбку и переспросил: – Поедем?

Женя не ответила. Нет, веки её всё так же продолжали оставаться разомкнутыми, глаза, как и раньше, смотрели всё в ту же точку, помещавшуюся в середине лба Павла Сергеевича Царёва, а тусклый свет в салоне медицинского микроавтобуса всё тем же слабым отблеском отражался в её расширенных зрачках. Но самой её больше не было: Евгения Адольфовна Цинк умерла в ту секунду, когда он спросил об отце, так уж совпало. Всё кончилось: остатки жизни, дотлевающей в её изуродованном теле, утекли безвозвратно, обретя другую вечность, быть может, ту самую, в которой тень её, высветленная до неузнаваемости, когда-нибудь явится вновь – в эти степные места в вечерней полутьме, чтобы коснуться своим белёсым краем этих сумерек и приблизить наступление другого дня, и ещё одного, и следующего… из которых сложится эта неизбывная вечность… Так подумалось Жене в момент, когда душа её оторвалась от обожжённой плоти, но плоть эта ещё не успела расстаться со своей живой тенью.

Павел Сергеевич так и не сумел дождаться ответа жены на свой вопрос. Доктор, стараясь сделать это поделикатней, скосил

глаза на часы, фиксируя время смерти. Затем слегка прижал рукой ладонь Павла Сергеевича и сочувственно произнёс:

– Можете прикрыть ей веки, ваша жена умерла, – после чего привычным жестом приложил два пальца к артерии на шее Евгении Адольфовны и утвердительно кивнул напарнику. Затем обернулся к водителю и негромко, чтобы не нарушать трагического момента, скомандовал: – Всё, Коль, сообщи на базу, скажи, возвращаемся. И этим, – он кивнул в сторону чёрной «Волги», рассекающей перед ними пространство, – поделай фарами… и разворачиваемся, что ли…

11

Не считая сопровождающих лиц, они летели в Москву вдвоём, сам он и Настасья. Третьим был металлический контейнер, который летел тем же самолётом. Царёва даже не стали спрашивать: контейнер с телом его жены разместили в салоне, в самом конце, ещё в день её смерти, отказавшись от идеи перевозить его в грузовом отсеке. Понимали – не позволит он такого, чтобы вместе с железяками летела и разным техническим мусором.

Аврошку Павел Сергеевич решил какое-то время в Москву не перевозить, по крайней мере, до тех пор, пока не завершатся печальные процедуры, связанные с похоронами. Не хотел, чтобы дочь прикоснулась к этому с того или другого бока. Просто не мог себе представить, что будет, когда девочка, практически ослепшая после ужасной травмы, узнает о смерти матери. Быть может, сразу она и не поймёт, что это означает, но наверняка будет постоянно спрашивать, почему мама не приходит и когда ей можно будет рисовать и смотреть как всегда, а не на эти непрозрачные тряпочки на глазах.

В Москве собственного места на кладбище у него не было, и об этом тоже следовало позаботиться. «Впрочем, не откажут, – подумал он. – На любом, какое ни попроси, кроме, наверное, главного этого их, Новодевичьего». Да и наплевать было, если уж на то пошло: боль и горечь были такой силы, что думать о том, в какой конкретно земле будет истлевать прах его Женюры, было просто невыносимо. А она тогда пошутила ещё, когда он наказал ей рассыпать его пепел на эдельвейсовой поляне, заявив, что хочет сюда же, чтобы получилось рядом с ним. А он, помнится, ответил ей, что пускай, мол, она с этим своим пожеланием не к нему, а к своему следующему мужу обратится, молодому и красивому, который, возможно, такой шанс и обретёт, а уж он-то точно не сумеет это распоряжение осуществить, не успеет, по чисто техническим причинам физического характера. А вышло, стало быть, как пошутила она, а не как глуповато отбился он. Только вот кто же теперь его-то золу над поляной той развеет…

Аврошке ничего не сказали. Её поместили в отдельную палату владиленинской больницы, под особый присмотр персонала, которому строго-настрого приказали молчать о последствиях катастрофы, – вообще ни слова о чём бы то ни было, в особенности о смерти её матери. Она лежала в кровати, ей притащили проигрыватель и по очереди, одна за другой, ставили детские пластинки, сказки и весёлые мультяшные песенки, чтобы,

насколько удастся, отвлечь от повязки на её глазах и избежать вопросов про ненужное. Она плохо помнила всю цепь событий от начала до конца, знала лишь, что ближайшее время доктора не разрешили снимать бинтики на голове из-за того, что у неё заболели глазки и какое-то время она проведёт здесь, в этом месте, без папы, мамы и бабы Насти.

Глазного доктора, профессора, вызвали из областной клиники в тот же день, для срочного диагноза. Дали вертолёт, чтобы не потерять драгоценного времени. Тот внимательно осмотрел Аврору и дал заключение, сказав Царёву, разрывавшемуся между дочкой и мёртвой женой:

– Вы, конечно, можете отправить ребёнка в столицу или куда-то ещё, но только уверяю вас, Павел Сергеевич, это ничего уже не даст, у вас там термальный ожог обеих роговиц, 4-я степень, поверьте мне, не первый год на этом сижу, как говорится. Сойдёт воспаление, останется полное помутнение, на частичное восстановление никакой надежды, исключено. Абсолютный нуль, вы уж простите за такое слово. Разве что, левый, быть может, самую малость свет сможет различать, но и то не весь, краем, ну а правый целиком кончился, снова меня извините. В общем, невосстановимо зрение у вашей девочки. Во всяком случае, на сегодняшний день.

– И что нам делать… – выдавил из себя Царёв, – как дальше жить прикажете без глаз?

– Вашей дочке придётся научиться жить слепой, – жёстко отреагировал глазник и покачал головой, – ничего не поделаешь, вам следует её к этому приготовить, потихоньку приучать к этой мысли, чтобы по возможности избежать психической травмы. Но об этом вам надо бы уже не со мной, а с кем-то от детской психиатрии поговорить, или хотя бы психолога подобрать поумней и поопытней, лишним не будет, Павел Сергеич: лучше перебдеть, чем недобдеть, это я вам с уверенностью могу сказать. Есть, знаете ли, такие – специально незрячими детьми занимаются, адаптируют к жизни, ищут компенсации речью, памятью, осязательную функцию поднимают, слуховую – я не специалист, но советую вам, не отказывайтесь.

Первое, что напрашивалось, – оставить при Аврошке Настасью, чтобы та ходила, сидела при ней, кормила привычным, плела разные небылицы и предельно отвлекала, путая голову и недоговаривая ненужной правды. Но та, убитая горем не меньше самого, начала выть с первой же секунды, как только он, кусая губы, сообщил о трагедии. Сначала не поверила, просто встала на полпути от столовой к кухне и замерла, переваривая услышанное. Раньше за годы их совместного обитания в одной квартире, что

при покойнице, что до неё, Павел Сергеевич частенько отпускал в её адрес всевозможные шутки, и она к такому привыкла, не всегда, правда, ухватывая, про что снова дурит её хозяин. Но каждый раз послушно улыбалась ему в ответ, хорошо и сердечно, на всякий случай. Однако ещё не бывало, чтобы пошутил про такое и такими словами. Постояла, в общем, сколько сил хватило, потом просто опустилась на паркет и завыла. Первый раз она выла, когда хоронила мать. После этого – когда в первый раз душевно обманули, жених с паровоза, который ландрин передал с машинистом. Третий раз был особенный, не слишком слёзный, потому как уже была частично готова, что не вернётся тот отставший от поезда гражданин, который вёл себя, будто намекал на новое прибытие, а она, дура, повелась.

Она поверила, долетело до неё, вонзилось в голову и уши. И разом всё-всё – боль ужасная везде, жалость такая, что ори – не ори, не выжжешь из себя, отчаянье, и виноватость собственная, потому как сразу решила, что за грехи это сделалось с ней.

Она уже давно и тайно считала себя бабушкой, настоящей, окончательно свыкнувшись с таким Авруськиным прозвищем и не делая попыток поправить девочку. Оба они, что хозяин, что хозяйка, не возражали, а только поддакивали да согласно кивали вслед этому доброму семейному слову. И это страшное – не за то ли самое прошлое, какое отжило давно, а теперь вернулось обратным хватом? Только не виноват Павел-то Сергеич. Она же сама первая в тот день приплыла к нему в опочивальню, в рубашонке одной и без ничего больше, чтобы пользовался ею, если пожелает. Он и пожелал, а теперь пришла всем им общая расплата.

Обо всём этом думала она, сидя на коридорном паркете, раскачиваясь из стороны в сторону, перепуская из головы в сердце рваными кусками сполохи воспоминаний. А Аврошка-то, Аврошенька, это что ж теперь – без глазиков будет совсем? Это как такое возможно для ребёночка, чтоб не видеть ничего?

Так и просидела, пока он уже ближе к ночи не вернулся, такой же убитый, какой и уходил. К этому часу Павел Сергеевич уже передумал про Настасью, решив, что в Москве она нужна ему больше. Все эти немыслимо горькие заботы, поминки или что там ещё к этому полагается, – во всём необходим родной человек, помощница. Он ведь мало кого до дома допускал – сами-то жили дружно, но для остальных семейная жизнь Царёва оставалась загадкой: никогда не обсуждал ничего, связанное с женой, разве что рассказывал иногда про Аврошку кому-то из самых приближённых. Не мог сдержать отцовской гордости. Даже, помнится, притащил как-то в ОКБ дочкин рисунок: ракета носом

ввысь и окошко как в лубяной избушке, а в нём звериная мордочка. И надпись, крупно и коряво обведённое по маминому карандашу: «Фоксик летит на Луну».

И ещё открылись попутно неприятности, о которых ему прямо не сообщили, но кому следует намекнули – насчёт готовящегося возбуждения дела по факту гибели людей и причинения тяжкого вреда здоровью ребёнка. Вменяться, правда, может лишь нарушение порядка пребывания посторонних на закрытой территории и, как минимум, отсутствие документально оформленного разрешения на присутствие их при плановом запуске. Как и необеспечение должного контроля. Он знал и все знали, что отказа бы не потерпел, потому что – раз дочка хочет «живьём», будет так, и не иначе. Никто даже не сделал попытку воспротивиться, когда он коротко распорядился, чтобы отправили семью в укрытие. Слово Царёва – Отче наш, святое, закон. Богу – Богово, Царю – Царёво. А только боком вышло слепое подчинение, но расплачиваться, скорее всего, не ему, а кому-то пониже, кто пошёл у Главного на поводу и не настоял на своём. Вот только никакого «своего» ни у кого тут не было, всё здесь было «его», остальное – в жалком остатке, но только, хочешь – не хочешь, а возбуждать надо: есть трупы, есть пострадавший, и не составит больших усилий определить виновника.

Его не тронули, конечно, тем более учитывая страшную трагедию, но дело всё же завели, нашли крайнего, хотя по сути и невиновного. Ему об этом пилот сообщил, решился: был уверен, что не даст Царёв свершиться неправосудному делу. Тот же прямо из самолёта связался с Центральным Комитетом, сказал, если кто-то пострадает, кроме него, завтра же уйдёт в отставку, он по возрасту пенсионер – всё. Когда сели на Чкаловском, вопрос был закрыт, он уже потом узнал, когда на девятый день поминали Евгению Адольфовну.

Это был первый раз в его жизни, когда так безнадёжно опускались руки, когда он искренне думал, что, быть может, эта же самая жизнь, втянувшая его в свой последний, самый счастливый оборот, теперь испытывает его на прочность, заставив ещё раз окунуться в эти адовы дни, страшней которых не было ни во владимирской тюрьме, ни на колымском золотом прииске, когда он умирал, но выстоял, не потеряв надежду; ни потом, когда одна за другой преследовали неудачи, начавшись сразу после первого спутника и многолетне тянувшиеся дальше, о чём не ведает человечество, но хорошо знает сам он.

Болело сердце: ныло так, что, казалось, от этой боли лопнет что-то в рёбрах и, разорвавшись, прорвётся наружу комьями горящего грунта, наподобие тех, что выбрасывали из-под себя

обломки его «Протона». Подумал спросить у Насти пилюлю, но та всё ещё пребывала в полукоматозном состоянии, и он не решился. «Чёрт с ним, – сказал себе, – лопнет, значит, так надо», и тут же вдогонку мысль пришла, что похожее было с ним, но слабей – когда Первый разбился, самый любимый орёлик. И спрашивал себя Павел Сергеевич, добавляя новой муки к той, что и так не отпускала: скажи ему теперь – выбирайте, гражданин Царёв, чего вам по жизни нужней, Женюра, супруга ваша, любимая и живая, вместе с видящей на все сто дочкой, или же открыть человеку космическую даль, о чём всегда болело и просило ваше сердце. Или – или. И не знал он, что ему ответить самому себе, отгонял от себя такое, не умел побороть этот бред.

Звонили люди, шли телеграммы, от Совета Министров пришла на адрес ОКБ за подписью Косыгина, ему позвонили и зачитали. От Академии наук, от Келдыша, но он даже не вдумывался. Сначала отвечал, слова какие-то мямлил, пытаясь соблюсти приличия своего высокого положения, потом бросил – устал благодарить за сочувствие, выслушивать скорбные речи, когда искренние, а когда дежурные. Женюру-то его мало кто знал, а ему и не хотелось, чтобы узнали, даже мёртвую. Она принадлежала ему и дочери – больше никому.

Стоп! Только сейчас он понял вдруг, что этот Цинк карагандинский, отец её, ничего не знает о смерти, никто не мог сообщить ему, кроме самого Царёва. Надо было звонить. Но сначала дождался человека: из Моссовета прислали, выделенного для организации траурных мероприятий. Зашёл, в чёрном, при таком же галстуке, уважительный, негромкий, хотя сразу ясно, что ушлый: кого только, видно, не хоронил и кому только в этом деле не способствовал. Схватывает до того ещё, как успеваешь подумать, и сам же тихими словами мысль твою вежливо опережает. «Мне б таких парочку в ОКБ, – подумал Царёв, – не думать и командовать, а с делами управляться, с текучкой, чтобы малостей никаких не упустить». И снова ужаснулся – о чём это он, Господи Боже, что за грязная помойка в голове у него, ему бы самое время голову пеплом посыпать, а он об ОКБ подумал, пропади оно пропадом вместе со всеми ракетами и космодромами.

– Так что вы хотели предложить, любезный? – сухо спросил он визитёра.

– Что угодно, Павел Сергеевич, – чуть склонив голову набок, ответил тот, – вот, извольте сами взглянуть, – и положил на стол альбом с вариациями похоронной атрибутики, в цвете, на глянцевой бумаге. – Транспорт подадим, куда сами решите. Только просили бы заблаговременно подсказать, сколько народу

будет, для планирования доставки от места к месту. – Он скорбно покачал головой, отрабатывая номер, и добавил, – и с местом поминания просили бы определиться, если возможно, без затяжки, любой зал или же ресторан к вашим услугам, Павел Сергеевич, если только пожелаете. И касательно затрат не велено беспокоиться, городские власти вопрос этот зачисляют на себя, такое принято решение по вашему случаю, оттуда звонили, – и неопределённо указал пальцем в потолок.

Этот невидный, угодливо скроенный человек в казённом костюме с чуть заискивающей улыбкой и каким-то деревянным сочувствием, которое он сейчас пытался старательно изобразить, эти подобострастные фигуры речи, преисполненные уважительной покорности и привычно закамуфлированного равнодушия, эти намёки на высшие силы, неизменно бдящие и не забывающие сынов своих – всё это сейчас напоминало Царёву дурной сон, мутную кашу, сваренную из гоголевских издёвок с примесью чеховских насмешек, но только без иронии и горькой печали.

– Ничего такого не надо, уважаемый, – коротко отозвался Павел Сергеевич, – гроб прошу самый простой, без финтифлюшек. И организуйте, пожалуйста, место в колумбарии на Донском, и там же прощание. Тело забираем из морга, так что один траурный автобус – всё.

Тот понятливо кивнул и сделал заметку в блокнотике, после чего решился уточнить:

– А с людьми что?

– С людьми ничего, – отрубил Царёв и поднялся, давая понять, что аудиенция закончена, – на послезавтра, на 11 утра.

Агент понимающе сделал глазами, попрощался и удалился, неслышно прикрыв за собой дверь. Царёв прошёл в спальню и стал задумчиво перебирать бумаги Евгении Адольфовны. Однако того, что искал, не обнаружилось: оно и было понятно – её записная книжка наверняка осталась во владиленинской квартире; потом же, когда перевозили тело и решали с Аврошкой, было уже не до мелочей. Он поднял трубку, набрал номер и коротко распорядился:

– Гурьев, свяжись с Шестаковым, пусть выяснит прямо сейчас: Цинк Адольф Иванович, работает предположительно в проектном институте, в Караганде, маркшейдер. Нужен рабочий телефон, срочно. – И дал отбой, бросив трубку на рычаг. В аппарате тренькнуло, отзываясь на удар, и Павел Сергеевич подумал вдруг, что они никогда не говорили с Женюрой о Боге, вообще никогда. Никто из них так и не завёл этот разговор первым: другой же, становясь в этом деле вторым, наверное, просто не посчитал для

себя нужным открывать эту новую для обоих тему. Он даже не поинтересовался, была ли она крещёной, хотя, с другой стороны, какое там: родилась во время войны в глухой промышленной провинции – самый неподходящий вариант нырнуть при рождении под Богово крыло. И сразу – степь, такая же в этом смысле безрадостная перспектива жития при меднорудном карьере и отсутствии разрешённого упоминания о Христе и его апостолах. Дедушка её вроде бы как-то подкован был по церковной части, но точно он не помнил, говорила она ему об этом или это стало его личным домыслом.

Сам он был крещён ещё в раннем детстве, там же, где родился, на Украине: бабка с дедом отнесли его в храм в первую неделю, не спросив у матери, которая сразу, как родила, стала постепенно отдаляться от ребёнка. Однако тем дело для Павлика и окончилось: ко времени, когда мало-мальски созрел головой, ни соборов, ни крестов, ни всякого остального церковного и туманного в жизни его уже не стало, зато началось другое удивление – первыми летательными аппаратами, смелыми лётчиками, и мечтание о других небесах, хотя и расположенных близко к тем, с каких привычно вещали про истину и любовь. «Совесть, – думалось ему, – она и есть тот самый Бог, о котором так много и не слишком конкретно рассуждают верующие, – совесть и вера в собственные возможности».

Через полчаса ему перезвонили, и он записал номер. Ещё через минуту он заказал по межгороду разговор с Карагандой по срочному тарифу. Тут был обед, там – ближе к вечернему времени, но он успел: когда их соединили, Цинк ещё не ушёл.

– Послушайте меня, Адольф Иванович, – сказал он в трубку, не здороваясь и не представляясь, – случилась катастрофа, ваша дочь Евгения погибла, в четверг кремация и прощание, в одиннадцать, вы должны об этом знать.

Вас ждать?

Думая о том, как правильней построить разговор с её отцом, Павел Сергеевич успел-таки прокрутить в голове пару вариантов, памятуя о том, что он всё ещё вызывает неприятие в этом человеке. До этого неизвестного Адольфа, если откровенно, дела ему особенно не было. Даже наоборот, существование Цинка в такой отдалённости снимало проблему привечать его, делая вид, что рад до невозможности явлению тестя в собственном доме.

Сначала ему показалось, что разумно будет начать со слов «Уважаемый Адольф Иванович, это Павел Сергеевич, муж вашей дочери…», и дальше приготовить его к известию, отыскав наиболее корректные слова и по возможности дав понять голосом, что горе у них общее. Второй способ сообщить о горе

предполагал телеграмму, короткую, информативную, а там уже – будь, как сложится, по факту. Затем передумал, решил не любезничать.

После паузы Цинк отозвался:

– Это её муж?

– Да, – ответил он. – Я Царёв Павел Сергеевич, муж вашей Жени. – И переспросил: – Вы приедете, телеграмма о смерти нужна?

– Нет, – ответили оттуда, – не утруждайтесь. Я прилечу в четверг утром, ночным московским рейсом. Где прощание?

– Крематорий Донского монастыря, в районе Шаболовки, – стараясь, чтобы слова его звучали отчётливо, ответил Царёв и повторил, – в одиннадцать.

На той стороне ничего не ответили, и Павел Сергеевич дал отбой, так и не уяснив реакции Цинка на свои слова. Тот был, кажется, вменяем, но сам разговор их был настолько краток, а сушёные рубленые фразы, которыми они успели обменяться, такими бесчувственными и скупыми, что понять что-либо было невозможно. Да и неважно, дело сделано, он его век не видел, и ещё столько же можно было не видеться, если бы не этот совместный кошмар.

12

Только когда опустил трубку и добрался до своего рабочего места, Адольф Иванович понял, наконец, о чём ему только что сообщили из Москвы. Он опустился на стул, снял очки и закрыл ладонями лицо. Так он просидел с час или больше, пока его не спросили: «Вам нехорошо, Адольф Иваныч?», на что он мотнул головой и произвел неопределённый жест локтём.

Потом все ушли, и он остался один. Нужно было что-то делать, куда-то идти или, на крайний случай, звать кого-то, кому можно было бы сказать какие-нибудь слова. Или же услышать от него – но только не утешительные, потому что всё это было неправдой, и его маленькой Женюры просто не могло больше не быть, даже если она и жила от него далеко и у них были нелады, и отношения между ними за последние годы не вернулись к прежним, а лишь упрочились в этом необъявленном противостоянии. Повинна была сама жизнь, соединившая в неправильном месте разных людей: тех, кто этой жизнью безнаказанно верховодил, и других, которым они ломали судьбы, чтобы продолжать оставаться наверху и уже оттуда распоряжаться целым миром.

«Нет, не может быть, не бывает такой катастрофы, которая отобрала бы у меня мою единственную девочку, мою умную славную Женюру, – думал Цинк, продолжая сидеть на том же стуле в полутёмном помещении, оставленном людьми, – почему – её, как, за что?»

Последние годы он не то чтобы увял физически, но вся жизнь его, обретя с потерей дочери окончательную бессмысленность, приобрела оттенок безысходности. Он оставался незаменимым на своём более чем скромном посту. В какой-то мере ощущение потребности в этих его нехудожественных умениях помогало держаться на плаву: в ином случае просто оставалась труба. Он был нужен им больше, чем они ему, поскольку никто из них не умел исполнить работу с такой тщательностью и красотой, которую невозможно было не оценить. Разумеется, это никак не замещало Цинку его добровольного отказа от занятий живописью, но в редкие моменты он ловил себя на том, что, вычерчивая очередной эскиз разработок, ему хочется тут и там добавить розового, уведённого ближе к краям работы в бледно-лиловый и, залив таким необязательным образом лист, сделать получившуюся отмывку фоном рабочего чертежа.

То, что произошло между ним и Женькой, логическому объяснению не подлежало. В основе конфликта с дочерью лежали

эмоции, причём исключительно с его, отцовской, стороны. Он, конечно, помнит, что впал тогда в бешенство, которое ему едва удавалось сдерживать: сам-то он понимал, во что она ввязалась, в какую чудовищную историю, сама того не ведая, однако даже это не должно было довести до того, чему он позволил случиться. Она уехала тогда, просто подхватила чемоданчик и исчезла из его жизни, ушла в ночь и не вернулась. Он же, странное дело, не стал препятствовать, более того, раздражённость его не только не ослабла, но ещё и добавилась тем удивившим его фактом, что дочь ушла, категорически отказавшись вслушаться в его слова.

Дальше – больше: поженилась-таки с убийцей этим, с людоедом. А потом выдержала время и звонить начала, на крепкость пробовать: раз, другой – думала, разжалобит, перешибёт его старую жизнь своей новой. А не вышло. Он всё ждал, когда дотукает, поймёт, что натворила, и скажет ему, мол, прав ты был, отец, все они нелюди, все от лукавого, все успели нагадить в вечность подлостями своими и обманом, но только одних утопили потом, не простили, остальные же так и плавают на лёгкой воде, неизвестно кем прощённые и ничем не запачканные, как этот её, что «там» окопался, откуда продолжает вниз команды спускать да пропуска на въезд подписывать.

И всё-таки он сразу понял, что Женюры больше нет, как только услышал в трубке этот голос. Теперь все поздно, всё исчезло вместе с надеждой на будущее, которое, как он был уверен, даст о себе знать.

Ничего не хотелось, даже вставать с этого проклятого стула, который будто приковал его к себе, не давая свободы двигаться, думать, дышать. Однако он оторвал от него тело, вышел на улицу и, постояв ещё сколько-то в неподвижности, побрёл в сторону круглосуточных авиакасс. Отпустят – не отпустят – об этом вообще не думал. Тут же понял, что ни денег с собой нет, ни паспорта, развернулся обратно, ехать домой, через весь город к себе на окраину. Там он раскрыл заначку, сунул в карман, прихватил паспорт и вновь поехал в центр: это было по-любому лучше, чем сидеть на месте, оставшись наедине со своими мыслями. Больше не для чего было жить, совсем: картин не было, дочь погибла, девятиметровка так и не превратилась в обещанную на работе однушку, а лишь сделалась очередным волоском в нескончаемом хвосте на улучшение жилищных условий. Отцовской могилы, которую мог хоть изредка навещать, тоже не существовало ни на какой земле, куда ему был допуск. В качестве отдушины до последнего времени оставались в жизни его две вещи – библиотека и женщины.

Что до первой, то ходить не ленился, навещал по мере

приступов интереса к жизни, тем более что выбора не было, разве что – к себе на окраину, к вечернему выпуску «Вестей с полей» да пораньше спать, заткнув уши ватными свёртышами против соседских шумов. А тут, если лишний раз пойти покопаться, глядишь, чего-нибудь и нароешь особенного, как порой случалось, когда он, в очередной раз обаяв пожилую библиотекаршу из бывших эвакуированных, забирался в самые дебри библиотечного фонда и выуживал оттуда что-то стоящее. Так было, когда удалось отыскать дореволюционного издания брошюру «Колористические особенности живописно-пластической системы итальянских мастеров первой половины XVII века». Такое бывало и потом, когда откуда-то из неразобранных и подпорченных сыростью остатков печатной продукции Цинк извлекал на свет божий пожелтевшие книженции, на чьих страницах, обжатых нимбами бумажной ржи, никому не известные мудрецы объясняли разницу между художественностью восприятия искусства в целом и средством достижения дополнительного гармонического удовольствия от того же самого, но только уже чистыми визуалами и кинестетиками, выделенными автором в отдельную художническую популяцию наслажденцев.

Исследовать тамошние недра ему разрешили вскоре после того, как они душевно потолковали с этой интеллигентной тётушкой, которая так и осталась в Караганде, отжив эвакуацию и здесь же похоронив мужа. Она и насоветовала поискать то и другое в нетронутом по сути фонде, списанном за утратой качества единиц хранения и пока не утилизованном. Многое из того, что выискалось, в своё время безвозмездно передали Центральной областной библиотеке московские и ленинградские временные поселенцы, прибывшие сюда в эвакуацию. Они, перед тем как вернуться домой, чем сумели, отблагодарили Караганду, выручившую их на время немецкого нашествия на родные города. Однако и это малое поддерживало Адольфа Цинка, подзаряжая его аккумуляторы и невольным образом сохраняя желание если и не вернуться к прошлому занятию, то хотя бы не утратить с ним последнюю связь.

Ну а насчёт женщин… что ж, за годы, что прокуковал в этом чужом городе, были и они, верней, иногда случались. Правда, сам он никого ни о чём не просил и ничего себе не искал: время от времени сами на него натыкались – кто в поисках мужа, а когда и так, позволяя ему себя для короткой дружбы на раз или два. Больше, как правило, не получалось, потому что уже на третий становилось невыносимо скучно. Он хотел говорить о прекрасном, и не мимоходом, не попутно с обращённой к нему

случайной лаской, а сделать такие разговоры основными, наполненными содержанием и смыслом. Раньше он ещё пытался как-то достучаться до своих коротких подруг, объяснить им, что глаза у человека устроены так, что во всём подмечают красоту, что не только лишь бытовые или меркантильного свойства заботы являются в жизни главными, что по большей части все они выморочены, несерьёзны и не дают душе нужного наполнения. Он-то изголодался по разговорам, по сотоварищу, в котором нуждался больше, чем просто в женщине, а они никак не могли понять, отчего неймётся этому неглупому и ещё не старому мужчине с таким приятным лицом.

С одной сошлись было, да только получилось опять ненадолго. Сказал в первый же день, проверяя на иммунитет по части культуры, что, мол, за неимением в городе другого, могу лишь пригласить в областной краеведческий. Она казашка была, с двумя золотыми зубами, один сверху, другой снизу, но отчего-то с просветлённым выражением своего по-азиатски скруглённого лица, если только отбросить два отблеска изо рта, особенно при ярком свете. Впрочем, подобные непрямые недостатки, он давно уже научился прощать, иначе просто не осталось бы никого на этой степной земле, кто мог хоть минимально притязать на его взаимность.

Она не согласилась, повела головой, не скрывая иронии, и объяснила, что ценит лишь настоящее изобразительное искусство, предпочитая его местным суррогатам. Услышав такое, Цинк немало удивился, но тут же отреагировал в предвкушении чего-то славного и необычного. Оно таким и оказалось. Спросил для затравки, как та, к примеру, относится к импрессионистам, просто чтобы разогнать беседу. Она же, Айгуль эта, совершенно не растерялась и не сконфузилась, а тут же на лавочке внятно изложила личное понимание этого течения, поделилась в подробностях, так сказать, заметив, что, в частности, французский импрессионизм не поднимал особенно философских проблем и даже не пытался проникнуть под цветную поверхность будничности, сосредотачиваясь на ощущении самого мгновения, настроении, освещении или даже на выбранном ракурсе. Но что неоспоримым преимуществом, кстати говоря, является его демократизм, предпочитающий виденье будничности и современности: флирт, танцы, пребывание в кафе, на пляже или в садах. Ренуар, скажем, если совсем предметно брать, ну и оба М-не: тот, что с «а», и который через «о».

Прямо скажем, если не шок, то лёгкое потрясение – было. Сам он вряд ли подобное лучше донёс бы до чужого уха, чем услышал сейчас, – ёмко, лаконично и по делу.

Дальнейшего подтверждения годности для совместной жизни не потребовалось. Они поехали к нему в коммуналку, где он, очарованный схожестью их интеллектов, тут же соблазнил её, поскольку успел к этому времени честно влюбиться и не скрывал больше своего восхищения, самого неподдельного. Однако даже не успел поинтересоваться источником её знаний, так как проговорился, что немец. Это было во втором по счёту разговоре, постельном и высоком, после того, как они дважды сцеплялись и расцеплялись. В какой-то момент той захватывающей беседы, когда, ссылаясь на немецкий романтизм в живописи, Адольф Иванович посетовал, что не имеет к нему отношения, поскольку его немецкие предки, Цинки, переселились в Россию значительно раньше, нежели этот романтизм возник в начале 19-го века, она его прервала.

– Цинк? – удивилась Айгуль, – это фамилия такая?

– Ну да, – пожал он голыми плечами, – Цинк. По-немецки – пик, вершина. А если по-русски, то просто сочетание четырёх букв, нагруженное к тому же метафорическим смыслом.

Она поднялась, как-то странно поёжилась и стала одеваться, искоса бросая на него виноватый взгляд.

– Что? – не понял Цинк, – почему? Я думал, останешься у меня, я бы очень этого хотел.

– Мать убьёт, если узнает, – пробормотала она, ища заколку для волос, – у нас папу на войне убили, фашисты, он в разведке служил, почти перед самой победой уже.

– Постой, постой, – напрягся Адольф, – но я-то тут при чём, я же говорю, мы здесь раньше самого Царя небесного появились, это общеизвестный факт, какие фашисты, Бог с тобой.

– Факт – фактом, – согласилась Айгуль, – и мама у меня с консерваторским образованием, между прочим, но за папу всё равно убьёт любого немца, точно знаю, – и с сожалением покачала головой, – мне ужасно жаль, правда, если бы ты сразу сказал, что не Адик, а Адольф, да ещё не просто, а Цинк, я бы уже тогда догадалась, наверно, что нельзя мне, не поехала бы к тебе, извини, у нас в семье с этим строго: русский – ещё куда ни шло, а немец – труба, лучше даже не заикаться, прибьют, и не только мама, вся родня со степи понаедет и отомстит, не знаю как.

После той встречи с продвинутой казашкой ничего достойного так и не подвернулось. Но он и сам уже не имел прежнего настроя на добрый случай, почти утратив к тому времени остатки жизненного тонуса, надежды на искомую взаимность. Накатила апатия. Другими словами, вся эта женская тема если не отошла окончательно, то надёжно вернулась к своим истокам, с чего когда-то и начиналась, – к редким, по существу,

случайным и вполне бессмысленным контактам, не приносящим душе ничего, кроме очередного разочарования в самом себе. Он даже пару раз подумал, когда уже совсем подпёрло от неприкаянности и одиночества, что, быть может, согласиться ему всё же на Женюрин вариант, приехать в этот её секретный посёлок, но только не жить у них, а остановиться на пару дней в гостиничке или на квартире у кого-то, да и повидаться разок-другой, поговорить, пообмыслить ситуацию вместе, глядишь, и до чего-нибудь договорятся меж собой. Но потом как представил себе, что пропуск надо, что соглядатая приставят к нему от её начальственного супружника, и, главное дело, подумал, он ведь даже адреса не знает, куда ехать, как и телефона их квартирного. Короче, плюнул на свою идею, закрыл тему. Теперь же получается, что встретятся они на похоронах, у дочкиного гроба: она внутри, он снаружи, живая сволочь.

13

Билет на Москву он купил той ночью, дав десятку сверху, потому что, сказали ему, закончились. Летел же в полупустом самолёте, но злости не было, всякое постороннее чувство к этому моменту стало неуклонно подавляться горем, к которому он ехал теперь на встречу. На работе отпустили, но он ничего им не сказал, договорился на несколько дней, в счёт отгулов, правда, в любом случае обещал нагнать и выдать работу в срок. Не стал говорить, чтобы не впускать чужих в свою беду, не хотелось вообще никому больше верить: и тем, кто признавал его как незаменимого сотрудника и вполне приличного, хотя и довольно закрытого человека, и тому, кто вечно щурился в его сторону, то ли из зависти, то ли из-за нерусских корней и этой его идиотской «химической» фамилии. Больше всего на свете ему хотелось сдохнуть прямо в этом самолёте, чтобы никуда никогда не долететь и никакого мёртвого дочкиного тела не видеть.

Он никогда не вспоминал свою мать, Эмму Цинк, в девичестве Шлегель, – она ушла из жизни, когда ему не было четырёх. Уже потом, через годы, Иван Карлович рассказал ему, как мать утонула: от непогоды лодка перевернулась и, черпанув воды, стремительно пошла ко дну вместе с ней. Но так думали, а как было на самом деле, отец доподлинно не знал, просто переводил подробность маминой смерти из достоверной картины в область собственных представлений. И Адольф Иванович вспомнил вдруг – цвет матери и запах, который от неё исходил. Он, как и прежде, не помнил и не знал, почему этот синий стоит теперь перед его глазами и отчего в носу у него и в глотке отдаёт горьким, полынным, степным. Хотя не было у них там в Спас-Лугорье ничего степного, а были места таёжные, поросшие крупным лесом и покрытые обильными, сладкими на вкус травами; кроме зеленых, имелись и другие – от сизовато-пегих, с лёгкой сединой, до грязно-рыжих и откровенно бурых. «Мамина кофта, – подумал он, когда они ранним утром шли уже на посадку и в проёме иллюминатора обнаружились нарезанные на прямоугольники и квадраты, в заметных проплешинах, подмосковные поля, не до конца освободившиеся от остатков талого снега, – она была синей, наверняка, или это был её матерчатый пояс, одно из двух, а пахло от неё не полынью, а кровохлёбкой, горечавкой или даже самим синеголовиком». Он вдруг вспомнил всё, и понял, почему, – синее видел, когда она несла в руках охапку срезанной серпом горькой травы и когда потом заваривала её, чтобы он пил настой, пока тот не остыл, и

тем самым отводил от себя болезнь, и вовсе не по-немецки, а чисто по-русски, по-сибирски, по-родному. И подумал, что поздно, поздно всякое такое понимать, раньше надо было внюхиваться, теперь же самое время подыхать, потому что не будет больше ничего в этой жизни и никого…

До одиннадцати оставалось ещё четыре часа, деваться было некуда, и Цинк решил, что оставшееся время проведёт в метро, которого он никогда не видел, как, впрочем, и этот город. В метро, по крайней мере, можно было укрыться от неприветливого дождливого утра.

Так и поступил. Добравшись до ближайшей станции, сел в крайний вагон и покатил в сторону центра. На кольце вышел, пересел на круговой поезд и стал перебирать станции по очереди: выходил, смотрел, ехал дальше. Удивила лишь «Новослободская», остальные впечатления не произвели, несмотря на всю задумку и размах. Когда стоял и смотрел, место выбирал специально полюдней, чтобы толкали и не давали думать о мёртвой Женюре. Не хотел видеть дочь в гробу, всё его существо сопротивлялось этому, как умело: даже в какой-то момент мелькнула мысль взять сейчас да кинуться под колёса этого метропоезда, чтобы так и не доехать до крематория. И будь что будет, всё равно это сучье одиночество догонит и доконает – скорее рано, чем поздно.

От Шаболовки шёл пешком, люди подсказали, как найти этот краснокирпичный монастырь и где там проход под малой колокольней с крестом. У входа в крематорий было слабое движение, сначала кто-то зашёл внутрь, затем двое вышли; неподалёку разворачивался автобус с чёрной полосой на боку, но он решил, что это не те, кто имеет отношение к его печальной истории. Те, кого ждал, подъехали ещё минут через тридцать, когда он в очередной раз стал думать, что, быть может, всё это был просто нехороший сон, дикий и нелепый.

На территорию въехал небольшой автобус и остановился неподалёку от дверей крематория. Оттуда вышел мужчина средних лет в сером пальто и простой кепке, с лицом серьёзным и озабоченным. Непонятно каким образом, но Адольф Иванович понял, что этот автобус *его*, хотя точно так же был уверен, что мужчина, который в это время уже заходил в здание крематория, не его зять. Затем из автобуса вышла женщина, лет за сорок пять, в чёрном платке, из-за которого лица её он не разобрал. После неё вышли ещё двое мужчин, и каждый из них точно так же не совпадал с его представлениями об *этом* человеке.

Тот, кто был Павлом Сергеевичем, вышел последним, и Цинк сразу понял, что он и есть вдовец, муж его Женюры. Царёв остановился в двух метрах от автобуса, ничего не делая и ни о

чём никого не спрашивая: ждал, видно, когда скажут что-нибудь сами. Лицо его, казалось, не выражало ничего: по крайней мере, той самой, привычной и общепринятой скорби Адольф Иванович не обнаружил. Однако, сменив очки, заметил другое – теперь это ему было довольно хорошо видно со своей скамейки, – мужчина просто стоял, глядя перед собой в одну точку, и то, как он в неё смотрел, наверно, уже не требовало слёз, они были лишними, даже если и не были выплаканы. Просто не было больше ничего: ни слёз, ни слов, ни сил.

Появился водитель, открыл задние двери траурного автобуса, и Цинк увидел край гроба. Внезапно ему стало дурно, потому что, как только он увидел этот гроб, понял окончательно – там, внутри, она, Женька, его мёртвая дочь. И что нет никакого обмана, ошибки или дурного розыгрыша, а всё так и есть – вот гроб, вот зять, вот сам он, подлый неумный отец, у которого больше не осталось никого и ничего.

Адольф Иванович поднялся и медленно пошёл в сторону автобуса. Приблизился к мужчине, тронул за руку.

– Вы Павел Сергеевич?

Тот вздрогнул, обернулся. Рассеянно глянул на спросившего.

– Адольф Иванович? – и машинально протянул руку. Цинк так же машинально пожал её, и оба тут же расцепились.

«Приятный на вид, – подумал Царёв, – лицо какое хорошее, глаза глубокие, ранняя седина… никогда бы не подумал, что при таком благообразном облике такой клинический случай…»

– Спасибо, что успели, – произнёс Павел Сергеевич, стараясь не придать своей интонации ненужного уклона, – Женя в последнее время много о вас говорила, собиралась к вам приехать, с дочкой.

– Вы мне расскажете, как это произошло, – так же пытаясь не добавить голосу излишних эмоций, довольно сухо спросил Цинк, – потом, я имею в виду?

– Разумеется, – кивнул в ответ тот, – и есть ещё нечто, о чём я тоже должен вам сообщить, Адольф Иванович, но несколько поздней, если не возражаете.

В этот момент из крематория подкатили постамент, и приехавшие с Павлом Сергеевичем мужчины стали перегружать на него гроб.

– Открываем, Павел Сергеич? – спросил один из них, что был чуть постарше другого. – Вроде бы, так положено.

Внезапно пошёл снег, довольно неожиданный для начала апреля, однако уже с самого утра, как только его самолёт, идя на посадку, пробил зону облачности и свет над открывшейся землёй стал пасмурней, чем был над облаками, Адольф Иванович знал,

что и остаток этого страшного дня не станет ясным и погожим. Снег, что редкими рыхлыми хлопьями начал быстро покрывать Донской асфальт и так же стремительно таять, не успев даже мало выбелить твёрдый наст, таял бы теперь и на лице его Женюры, таком же холодном, как и вся эта могильная земля.

– Не надо, – ответил он за Царёва, – катите так, внутри откроем.

Те недоуменно взглянули на Главного, но Павел Сергеевич согласно кивнул, и они медленно покатили гроб к дверям крематория. Внезапно женщина, что была с ними, завыла и обхватила горло руками.

– Женюшка, Женюшка ты наша-а…

– Притормози, Настасья, – едва слышно бросил в её сторону Царёв, – здесь будем прощаться, все истерики и причитания оставь, пожалуйста, на потом.

Они зашли – всё уже было готово к траурной церемонии. Тётка, отчасти напоминавшая внешним видом ту, что когда-то расписывала супругов Царёвых во Владиленинске, смотрела строго и сочувственно – ей уже сказали нужные слова, и теперь она просто уважительно дожидалась своей короткой роли.

С гроба сняли крышку, и он увидел её. Дочь, одетая в строгий костюм и шейный платок, лежала, будто вот-вот собиралась очнуться от глубокого, затяжного сна. И если бы не следы ожогов на её лице, загримированных хотя и тщательно, но не целиком, можно было вновь подумать, что страшное наваждение продолжается.

Принесли цветы, стали укладывать внутрь гроба, сбоку и поверх тела дочери. В этот момент Цинк понял вдруг, что он даже не подумал о цветах, придя прощаться с Женюрой с пустыми руками, без всего. Однако теперь ему даже не было стыдно, было хуже: было – никак, пусто, бездонно, черно, и это означало, что он и сам такой же по существу неживой, как и его мёртвая дочь.

– Уважаемые родные и близкие, – произнесла тётка трагическим голосом, – прощайтесь, пожалуйста… – и отступила чуть в сторону.

Он подошёл, склонился над её лицом и заплакал, так же безмолвно, какой была и тоска его, с которой жил он все эти годы, думая о дочери, о себе и о том, за что его так не полюбила эта проклятая жизнь. Потом прикоснулся губами к холодному лбу, губам, к рукам, сложенным на груди, и, отойдя, на два шага в сторону, замер, уступая место остальным. Всё было кончено, говорить слова – незачем и невозможно, как и не для чего больше было жить, в принципе, – сегодня, завтра или когда-либо ещё.

Он развернулся и пошёл на выход, не хотел смотреть, как

будет с ней прощаться *он, его* непонятные сопровождающие и эта женщина, почему-то всё время пытающаяся пригасить свои рыдания, время от времени переходящие в слабый вой.

У дверей задержался, передумав. Обернулся. И теперь просто молча стоял, наблюдая за тем, как что-то шептал, склонившись над женой, этот Павел Сергеевич, как целовал её в губы, как стоял, согнувшись над гробом, не в силах оторвать от неё взгляда… Как потом всё же дала себе волю эта женщина, как заголосила, не сдержавшись, когда наложили крышку гроба и стали заколачивать по углам… Как те трое, державшиеся чуть поодаль, внимательно следили за происходящим, готовые каждую минуту оказать нужную помощь.

Раздалась траурная мелодия, он качнулся, сдвинулся с места и медленно приблизился к постаменту с гробом. В тот же момент постамент начал опускаться вниз. Через несколько секунд матерчатые створки, перекрывающие собой дорогу в печь, разжались и стянулись. Музыка закончилась.

– Пойдёмте на воздух, – произнёс Павел Сергеевич, положив руку Цинку на плечо, – там и поговорим, если вы не против.

Рыдающую Настасью, поддерживая под руки, трое сопровождающих повели на выход с территории. Тесть и зять присели на скамейку тут же, недалеко от здания крематория.

– Какие у вас планы, Адольф Иванович? – спросил Царёв, приложив платок к воспалённым глазам. – Просто я думаю, нам в любом случае не мешает поговорить не наспех. Ну и, кроме того, я не имею права не сказать вам о вашей внучке. О том, что с ней случилось.

Цинк вскинул глаза:

– Я даже не знаю, как её зовут… А планы… Обратного билета нет пока, так что… и планов, стало быть, нет. Кончились мои планы.

– Я должен уехать часа на два, Адольф Иванович, после этого будут поминки, у нас дома: только свои, ближние люди, несколько человек. Я сейчас завезу вас к нам, там Настасья о вас позаботится, наша помощница по хозяйству, а я вернусь и помянем Евгению. – Цинк молчал. Царёв встал, кивнул в сторону ворот: – Пойдёмте, нас ждут.

Они вышли с территории монастыря, и он дал короткую отмашку рукой. Подъехала огромная чёрная «Чайка», и водитель, проворно выскочив, услужливо распахнул перед ними дверь. Они сели, и через какое-то время машина затормозила у высотки на Котельнической набережной.

– Настя, поручаю тебе Адольфа Ивановича, позаботься о нём, и можешь всё уже готовить, я скоро буду, – распорядился Павел

Сергеевич. Неожиданно Цинк ощутил, какая сила исходит из этого человека: от поворота его головы, посаженной на короткую мощную шею, от голоса, которым произнёс он самые обычные слова, от всего облика.

Они с Настасьей вышли, машина с остальными уехала. Потрясения не было, ни от «Чайки» этой, ни от сталинской высотки: слишком всё перемешалось в голове его, всё, включая страшную потерю, собственное отчаяние, многолетнюю заглазную ненависть к неизвестному родственнику, всем этим атрибутам его подлой начальственной власти, мёртвое лицо Женюры, чёрные створки смертельной дороги вниз, проплешины на подмосковных полях, апрельский снег, которого не ждали, плач посторонней женщины, что завела его в огромную квартиру, шмыгнув носом и проговорила, пока он снимал плащ:

– Я ж вас знаю давно, Адольф Иваныч, мне Евгения Адольфовна ещё когда про вас рассказывала, какой вы художник у неё хороший и про остальное, как жили там сначала, в степи, а после уже в городе.

Он молча кивнул, никак особенно не отреагировав на её слова, тем более что глаза у неё снова намокли, и она, указав ему рукой на гостиную, пошла умыть лицо. Он зашёл, куда было велено, и оказался в огромной гостиной с тремя высокими окнами, через которые был превосходно виден Кремль. «Ну, ясное дело, – подумал Цинк, – так им, наверно, положено: кому-то Кремлём любоваться, а кому – промзоной в степном варианте».

Однако что-то не сходилось – так он чувствовал, хотя объяснения этому пока не находил. И тут он увидел. Вернее, рассмотрел уже не в проброс, а вполне осмысленно, когда протёр запотевшие очки и завершил исследовать взглядом панораму окружавшего его пространства. Это не было картиной, хотя на первый взгляд могло показаться, что этот чёрно-белый квадрат, старательно и с документальной точностью выписанный, представляет собой неброскую живописную работу на холсте, туго натянутом на подрамник, которому так и не нашлось походящей рамы. Картиной нельзя было признать и классический портрет хозяина дома, висевший рядом, слева от неё. Тот был уже в широкой золочёной раме и выполнен не без явных излишеств как по ремеслу, так и по обрамлению. Он подошёл ближе и вгляделся в первую работу. Это оказалась многократно увеличенная и наклеенная на твёрдую основу фотография стартующего ракетоносителя. Нос его был устремлён в небо, а из сопел ракеты вырывалось мощное пламя. Вошла Настасья, поинтересовалась:

– Может, чаю пока, Адольф Иваныч? Пока хозяин-то не

обернулся туда-сюда?

– Туда-сюда, это куда? – переспросил Цинк, продолжая рассматривать фотографию. – У него что, настолько срочное дело, по работе?

Та отмахнулась, хотя он этого и не видел:

– Да у него вся жизнь – срочное дело: как Первого орёлика запустил своего, так, считай, окончательно уж никакой жизни не осталось. До этого тоже была не сахар, но уж когда люди-то у него полетели, живые, то всё, началась тогда жизнь совсем уж бессонная, ни дня, ни ночи в простоте, любой миг – то понос, а то, как говорится, золотуха. То сплошные неполадки да неприятности, а то радости несусветные, и тоже бывало, сплошняком шли; а только сердце-то не железное, как эти ракеты его, само не чинится, а он от него больше отмахивается, чем беспокоится. Видите, даже сегодня, в такой страшный день, что-то там у них получилось, я сразу поняла по тому, как помощники его глазами делали. Вот, поехали разбираться, стало быть.

Цинк обернулся и с удивлением обнаружил вдруг, что Настя эта, до этого с головой укутанная в чёрную шаль, на самом деле вполне миловидная женщина приблизительно его лет, хотя и с несколько простецким выговором.

– Подождите, – слегка оторопев от услышанного, переспросил Цинк, – так он чем занимается, Павел-то ваш Сергеевич? Он разве не… – дальше нужное слово не подбиралось и он невольно заменил его ближайшими по смыслу, – … не в органах государственной власти трудится?

– Это в каких ещё органах? – искренне удивилась Настасья. – Он же ракеты в небо пускает всю жизнь, вам чего ж, Евгения разве не говорила об нём?

Цинк замер. Теперь ему, вероятно, следовало сесть и поразмыслить о том, в каком конкретно месте проходила граница его беспримерного идиотизма.

– Ну, я, если что, на кухне буду, – сообщила Настя, направляясь к выходу из гостиной, – крикните, коли понадоблюсь, или если чаю надумаете.

– Спасибо вам, Настенька, – вздрогнув, поблагодарил её Цинк, – я просто посижу тут пока, обожду Павла Сергеевича.

В углу помещался огромный, под зелёным сукном, старой работы письменный стол. На нём, кроме всякой всячины, массивного письменного прибора из прошлой жизни и небольшой пишущей машинки лежала стопка бумаг. Рядом – какие-то папки на тесёмках и просто листы по отдельности. Справа находилась ещё одна стопка, придавленная сверху другой пачкой, на этот раз рисовальной бумаги. Он подошёл, глянул. Это были акварели,

выполненные явно детской рукой. Верхняя называлась «Фоксик летит на Луну». И ниже «Папочке от Авроши». Смешная мышиная мордочка в скафандровом шлеме улыбалась из иллюминатора высоченной ракеты, остриём нацеленной к звёздам.

Он протянул руку, взял рисунок. Было занятно и странно; ему показалось, что подбор цветов чем-то напоминает его собственные колористические предпочтения. Ну вот, к примеру, взять эту, болотного колера с редкими доливами неожиданно розового… Ну просто закат над спаслугорьевским болотом, любимым местом его первых художественных откровений. Или та, сине-голубая, уходящая краями в фиолет, совершенно неясного сюжета, но чрезвычайно увлекательная по самой идее. Это была внучка, которую Цинк не видел никогда, но уже знал, что имя ей Аврора.

Внезапно глаз его наткнулся на слова: «Е. Цинк. Эдельвейс-гора. Эссе», написанные в правом верхнем углу скромной папки, перехваченной тесёмками на двойной бантик. Адольф Иванович открыл – там лежал с десяток напечатанных на машинке листков. Он присел на диван, положил на колени, стал читать.

14

«Эдельвейс-гора»

Они летели, ожидая чуда, и чудо явилось…

– Смотри, – глазами он указал ей налево. Она повернула голову, – это и есть Аю-Даг, Медведь-гора, — улыбнулся он.

Гора, куполообразная и слегка приплюснутая, казалось, и на самом деле напоминала собой огромного медведя, наклонившегося к морю и пьющего из него солёную воду.

– Теперь понятно, почему «медведь» – кивнула она, прикрыв глаза. Ей снова показалось вдруг, что это сейчас не она, и не он, и не этот ревущий в ушах вертолёт, который раньше ей удавалось рассмотреть только на картинке, а сказка, но уже не придуманная, а настоящая, и что она попала в неё, открыв страницу на выбор, и оказалась здесь, в этом кусочке своей правдивой истории то ли про Золушку-дурнушку, ставшую принцессой, то ли про Машу и трёх медведей, одним из которых был сам он, её любимый и единственный мужчина, другим – его могучий вертолёт, несущий их к легендарной горе. Третьим же был этот огромный медвежий бугор. Ну а Машей была она, готовая любить всех своих медведей сразу и заодно прыгать от радости, просто так, от всего того, что подарила ей жизнь.

– Вот я и думаю, — улыбнулся он, – про этого медведя. Наверное, утомлённый долгими странствиями, зверь наклонился к воде и пил долго и жадно, да так по велению морского бога и застыл, превратившись в огромную гору.

– И? – она вскинула брови и с любопытством уставилась на него, ожидая продолжения.

– И? – задумчиво повторил он её вопрос, – и вот я думаю, что, если бы не встретил тебя, то, наверное, тоже, как этот медведь, застыл бы в какой-нибудь момент и остановился, насовсем.

Они были уже близко. Пилот кинул на него вопрошающий взгляд. Он понял, что тот имеет в виду, и подтвердил кивком, сказав:

– Площадку выбери поровней и слишком высоко не забирайся, мы сами хотим подняться немного, ножками…

– А что, сюда можно садиться? – удивилась она. – Мне говорили, тут заказник какой-то.

– Нам можно, – подмигнув пилоту, успокоил он её, – мы только цветочки местные понюхаем и сразу обратно.

Они сели в районе перешейка, между туловищем и головой

медведя.

– Отдыхай, – сказал он пилоту, – часа три-четыре у тебя есть, – и увлёк её за собой, в сторону вершины. Они сразу попали в небольшую фисташковую рощу. Тут же в изобилии росли папоротники и ещё какие-то неизвестные травы причудливого вида, пробивающие себе дорогу сквозь каменистую россыпь. Поодаль тянулись высокие можжевельники, от которых исходил резкий, остро приправленный еловым духом аромат.

– Господи Боже, – прошептала она, – как же красиво жить на земле…

Он не ответил, только хмыкнул, затем подхватил её под руку и снова повел вперёд, в направлении высшей точки. Дальше было ещё любопытней: минут через сорок усиленной ходьбы начались деревья, высокие и не очень.

– Смотри, – сказал он и указал рукой на одно из них, – это земляничное дерево, совершенно реликтовая вещь, а там – он кивнул куда-то в сторону, – иглица, а рядом с ней ладанник и жасмин, местный, крымский.

– Откуда ты всё это знаешь, – удивилась она, – ты что, постоянно водил сюда своих девушек и попутно выучил наизусть всю местную флору?

Он не ответил, хмыкнул, и они стали взбираться ещё выше. Дальше по склону сплошняком шли дубы, грабы, бук, попалась парочка клёнов и небольшая поросль тощих рябинок. Чем выше они забрались, тем гуще и тенистее становилась растительность.

Ещё через час ходьбы начался жасмин. Они достигли его первых кустарников и синхронно повалились лицом вниз, в травянистый покров, устилавший горную землю в месте их привала.

– Всё, – пробормотал он, вдыхая запахи жасмина и одновременно ощущая лицом исходящий от высокогорной земли крепкий дух, – больше не могу, спёкся, а нам с тобой ещё идти и идти, родная моя.

– Куда? — удивилась она. – Ты что, в самом деле хочешь достичь вершины?

– Ну, такое я вряд ли в этой жизни успею, – бормотнул он, так и не оторвав от земли лица, – мне бы хорошо успеть ещё одного Первого на Луну высадить, тогда и помирать можно, смело уже, остальное покатится паровозиком, одно за другим, я в это верю, моя хорошая, и никто меня в другом не убедит. Прогресс неостановим, мешать ему можно, но остановить нельзя, так устроен человек. – Он поднял голову, резким движением корпуса перевернулся на спину и снова опустился на траву, раскинув в стороны руки. – Если бы мне не мешали… они… мы бы, по моим

расчётам, были там уже через два года. А так… не знаю… чей он окажется, орёлик-то, мой или американский.

Она хмыкнула и сунула в рот травинку:

– А что, такая уж большая разница, чей раньше: у людей что от этого еды будет на столе больше, или они, допустим, смогут путешествовать по миру, или коммуналки отменят и переселят всех в отдельное жильё с горячей водой? – Она выплюнула травинку и переместилась ближе к нему: — Я семнадцать лет в бараке прожила, так все эти семнадцать лет, пока мы с папой не перебрались в город, в будку деревянную ходила, летом и зимой, а в будке той отверстие, в земле — пропасть, чёрная вонючая дыра, а твой Первый уже слетал, кстати говоря, и другие вовсю собирались. Так что кому вершина, родной мой, а кто в своей низине тухлой как жил, так и живёт по сегодняшний день. – Внезапно она вздрогнула, словно очнулась: – Ой, что это я, извини, пожалуйста, лишнего тебе, наговорила.

Он, казалось, словам её совершенно не удивился, продолжая неподвижно лежать на траве, и неотрывно глядел в небо:

– Знаешь, когда я упомянул прогресс, то вообще-то не имел его в виду как таковой, тут ты права. Их ведь три, как ты знаешь, но я думаю лишь об одном из них, так уж я несовершенно устроен. – Он развернулся к ней лицом и почесал мизинцем кончик носа. Он всегда делал так – на эту его особенность она давно обратила внимание, когда он мыслями уходил в себя, и в такие минуты она старалась испариться, тихо исчезнуть, чтобы не мешать ему думать. Сейчас же ей было удивительно и приятно, что этот невольный жест совпал с его желанием поговорить с ней, а не уйти, как обычно, в размышления, отрешившись от всего остального, пустого для него и постороннего. Он снова повторил: – Их три… материальный, социальный и научный. Ты – про первые два, про то, что несёт людям свободу, что приближает их жизнь к понятию справедливости и что, так или иначе, но всё же по мере роста сознания ликвидирует все естественные причины, мешающие такому приближению. Или же, если взять материальное – то нужно удовлетворить самый понятный запрос, именно то, о чём ты и говоришь: есть, спать, дышать, отдыхать, наслаждаться простыми и доступными радостями живота и головы. И точно так же ликвидировать все технические ограничения для того, чтобы ничто и никогда не мешало человеку чувствовать себя удовлетворённым в этом чрезвычайно важном смысле. – Он несколько раз сжал и разжал пальцы. Затем вновь раскинул руки в стороны. – Я же — про третий, единственно для меня важный. В этом и беда моя, родная, и, к сожалению, я это слишком хорошо себе представляю. Я – про процесс, про освоение, про изучение

непрерывно развивающегося познания окружающего мира, что микрокосмоса его, что макро-, что непосредственно космического пространства – и уже не как метафоры, а как сути, как предмета каждодневного труда. И главное, с чем по существу так и не научилось смиряться человечество, – освободить самого себя, своё познание от рамок этой проклятой целесообразности. – Он вскинул руки в небо, чуть приподнявшись, и прикрыл глаза. Шутливо воскликнул: – Господи моё, ну как же хорошо, что у меня и Ты есть, и любимая женщина! – после этого вновь обернулся к ней: — Знаешь, мне ведь об этом, если честно, даже поговорить не с кем. Свои не поймут, просто не захотят вдумываться – и умничать особо некогда о пустом, и план горит, как обычно, хоть продукт у нас и не валовый. Высокое начальство – не услышит, не для этого создано. Так что теперь вся надежда исключительно на подругу жизни. – Внезапно снова посерьёзнел, упал на спину, какое-то время помолчал. Потом сказал: – Знаешь, ведь делать новые открытия становится всё трудней, если говорить об этом в глобальном масштабе, и не только потому, что они часто невыгодны, если мерить отдачу в деньгах. Просто сама способность людей поглощать знания подходит к концу, иссякает, хотя некоторые и полагают, что мерило прогресса – это не сами изобретения, а лишь имеющиеся у человечества возможности. Ну смотри, чтобы было понятней… – он приподнялся на локте и продолжил рассуждения. Ей же показалось вдруг, что в этот момент он просто о ней забыл и что любой её ответ был ему не нужен… – Ты только вдумайся: для того, чтобы поддерживать прогресс за счёт открытий, приходится прикладывать всё больше усилий, тратить громадные деньги на научные разработки, на конструкторские решения, на покрытие бессчётных ошибок и переделок, постоянно увеличивать количество занятых в этой сфере людей. А в итоге? В итоге вовсе не обязательно, что затраты на сам прогресс оправдают результаты, которые он приносит, – странное дело, правда? Ты не задумывалась, к слову сказать, почему Нобелевские лауреаты становятся всё старше? Хотя, казалось бы, как в песне поётся, дорогу молодым, всё у нас будет хорошо, или как там у вас, у молодёжи? – Он улыбнулся. – Понимаешь, сегодняшние открытия требуют гораздо большего времени, в том числе на самообразование, на вход в пространство науки, на изучение закономерностей и всего прошлого опыта. А в результате времени на само изобретение у человека остаётся всё меньше. Видишь ли, в прошлых столетиях тамошние изобретатели невольно отбирали для себя то, к чему проще дотянуться, потому что было всё, и не было ничего – только выбирай. Сегодня же, вполне возможно, сложится так, что при

явном движении вперёд жить человеку – элементарно жить, ровно то, о чём ты только что говорила – станет хуже, а не наоборот. И в этом, как ни печально, состоит парадокс. То есть, получается, что прогресс не связан напрямую с улучшением жизни людей, а какой-никакой рост уровня развития происходит лишь как результат усложнения трудовой деятельности нас же самих. – Он вздохнул, то ли и на самом деле испытывая некоторое сожаление на этот счёт, то ли, наоборот, давая себе тем самым некое отдохновение от забот, — в общем, так, милая моя и единственная, так и не иначе.

Она помолчала, переваривая услышанное. Спросила:

– Стало быть, всё напрасно?

– Что напрасно? – пожал плечами он, прекрасно поняв её вопрос, — почему напрасно?

Она всё ещё оставалась под впечатлением его слов, так её удививших, и теперь уже не знала, как следует к ним относиться: – Ну как же, ты ведь сам говоришь, что любой по существу прогресс приведёт человечество к краху и обеднению. Тогда зачем мы здесь, для чего ты мне с такой гордостью демонстрировал вчера все эти межзвёздные антенны, сигналы ниоткуда и в никуда, про Луну мечтал ещё полчаса назад, про высадку на неё нового Первого?

Он притянул её к себе и крепко прижал. Она уткнулась в него лицом и замерла.

– Мы здесь затем, чтобы приготовить на 8-е число очередной «Зенит», и мне плевать на прогресс как на философскую категорию, как, впрочем, и на регресс, будь и он неладен. Мне надо дело делать, а не думать про то, как избавить себя и других от любых печальных последствий моего труда. Пускай об этом заботятся другие, те, кому по должности положено, в Кремле, в ЦК «ихней» партии, в Совете профсоюзов или в Комитете за мир и дружбу между народами. И пока эволюция не закончилась и не начался процесс инволюции, я буду вламывать и пахать, я буду отправлять корабли туда, куда нужно, и ждать их возвращения обратно и я буду, как умею, противостоять любым негодяям и карьеристам, которые попытаются меня остановить в моём деле. Теперь нас двое, и это значит, что сейчас мне бороться с врагами будет вдвое проще. – И засмеялся, отведя лицо в сторону.

Только сейчас ей стало понятно, что всё то недолгое время, что они прожили вместе, она так и не научилась распознавать этого человека, всякий раз не зная с достоверностью, когда он говорит всерьёз, а когда слова его следует понимать как завуалированную, но всегда необидную ей шутку.

– Ну что, пойдём выше или будем возвращаться? – спросила

она, поднявшись с земли и стряхнув с себя прилипшие к шортам сухие травинки.

– Нет, ещё немного, мы уже почти добрались, – загадочно ответил он и встал с земли вслед за ней. – Это был последний привал перед финалом нашего похода.

Они забирались всё выше и выше ещё минут пятнадцать, то преодолевая по пути высокий кустарник, то огибая непроходимую заросль очередного можжевельника, достающего верхушками своих расплющенных шершавых лап ей до пояса, а то продираясь сквозь непонятно откуда взявшийся лишайник, точь в точь напоминавший ей степной, каражакальский, что нередко присутствовал в живописных работах её отца одним лишь намёком, едва узнаваемым пятном, сделанным парой скупых мазков.

– Всё, пришли, – он остановился и кивнул головой, указывая ей на пространство перед ними. – Теперь смотри сама.

Она посмотрела – и увидела. А, увидев, остолбенела. Небольшая поляна в пологой части склона, что открылась её взору, со всех сторон была зажата буйной растительностью, затруднявшей проход. Однако это не помешало ей сразу обнаружить чудо – цветы, которые теперь уже невозможно было спутать ни с какими другими. Поляна эта, почти ровная и ничем не заросшая, кроме мелкой, потускневшей от жары травы, выглядела так, словно её целиком вырезали из страницы детской сказки, оживили и, бережно перенеся в эту гористую местность, врастили в живую природу. Так не должно было быть, но так было.

Белые звездочки эдельвейсов, распахнутые настежь, призывно торчали тут и там, заполняя собой всё пространство. Их было много, так много, что букет, который можно было из них собрать, не унёс бы на своих плечах никакой сказочный богатырь.

– Давай мы не станем их рвать, – прошептала она, – они слишком прекрасны, чтобы вот так просто взять и умереть в один час. Мы просто на них посмотрим, и всё. Это само по себе будет восхитительно, потом я буду это вспоминать. Они будут жить дальше, а я – помнить, что они живые, ладно? – Она обернулась к нему: – Спасибо тебе, любимый, я оценила, правда.

– Не настолько я романтик, милая, – отозвался он, – у меня есть ещё пожелания чисто практического свойства, – и снова коснулся мизинцем кончика своего носа. Она вопросительно посмотрела на него, однако он не дал ей спросить, опередил, сказал сам: – Вот на этой поляне ты меня закопаешь… – И глянул ей в глаза, внимательно и серьёзно. – Договорились?

– В каком смысле? – искренне не поняла она. – Кого закопать,

кто закопает?

– Урночку, — ответил он, – с моим прахом. А ещё лучше, просто разбросай этот дурацкий пепел по всей поляне, сыпь прямо на эти эдельвейсы, сверху вниз и по сторонам, как сеятель, на звёздочки эти мохнатые – им подкормка, а мне приятно. Буду обитать себе тут помаленьку, сначала с этих самых звёздочек стану на большие пялиться по ночам, ну а уж потом, как насмотрюсь, в землю эту медвежью впитаюсь: всё лучше, чем в кирпиче кремлёвском скучать. — И снова посмотрел на неё, внимательно и спокойно, не давая ей своим пристальным взглядом даже малого повода заподозрить его в очередной иронии, которую она постепенно научилась понимать: – Сделаешь для меня, ладно? Не разрешай им меня — в стену, ты теперь имеешь законное право, не хочу я с ними в одном месте бок о бок, понимаешь? Ну, не нравится мне всё это, не по-божески: хоть Он есть, а хоть бы и нету Его, сердешного. А ты… ты будешь сюда добираться время от времени, навещать меня. И это, поверь, будет лучшая мне память, в этом тихом прекрасном месте: без воя, гимнов и дурных речёвок.

Она почему-то не разрешила себе ответно поёрничать или обратить всё в шутку: вероятно, что-то ей тогда в словах его показалось важным для него самого, хотя и были высказаны они в его обычной, чуть насмешливой манере. Взгляд, однако, говорил об ином, и взгляду она поверила.

– Сюда, так сюда, – улыбнулась она, – как скажешь, милый…

– Когда-то я другое задумал, если уж быть честным до конца, – задумчиво проговорил он. – Подумал, если при жизни на Луне высадимся, попрошу их там же и закопать его, пепелок мой, когда окочурюсь: просто ямку вырыть да сыпануть туда – они же там всё равно ещё одну кирпичную стенку не построят, слишком много чести для одной человечьей единицы; жил себе безымянным и уйду таким же, – и он засмеялся, заливчато, как умел это делать, когда ему было хорошо, откинув назад голову на короткой мощной шее. – И тебе же самой проще: не понадобится лишний раз таскаться сюда, на медведя этого забираться, полянку прибирать… – внезапно он перестал смеяться, откинулся на спину, помолчал… – Знаешь, у меня в подчинении тысячи людей, а только я ведь, по большому счёту, всю свою жизнь провёл один. При этом, как ты понимаешь, мне редко доводилось оставаться в одиночестве, но всё равно я всегда был один. Друзей ведь тоже нет, только преданные единомышленники, соратники по главному делу, те, кому я доверяю больше остальных… – он пожевал травинку. – Люди не из космоса перестали мне быть интересны, а друзья… дружба с коллегами по делу, которому служишь, страшит, друзьям ведь труднее приказывать… Друзей надо просто любить,

ни за что… а уже не получается, иногда не любить хочется, а убить… Вот только ребят своих, орёликов, всё равно люблю как ненормальный, каждого, кого сам отправил и сам же встретил уже на земле. Чёрт, бывает, удивляюсь: чего я голову забиваю себе мусором ненужным? Знаю, помню про каждого всё, — когда родился, женился, как маму зовут, сколько лет сынишке и как его дразнят во дворе, где шрам под ребром получил, в каком году с какого забора свалился, и всякую такую ерунду – ничего не могу с собой поделать, так уж башка устроена: запоминает нужное и ненужное… — Он перевернулся на живот и прижался щекой к траве. – И они меня любят, мальчишки мои, я для них кумир… я им говорил: вот они, шесть «Востоков», и вы все у меня полетите, орёлики мои; и они верили, и сейчас продолжают верить, всем отрядом, потому что я обещал, и они на самом деле летали. Только с Лялей одной не сошлось у меня, не мой она человек оказалась, рот свой открыла поганый и… А-а, не хочу об этом, Бог с ней, она своё отлетала, пусть теперь сливки до конца жизни снимает, мне всё равно, она для меня больше никто. А остальные… они все дети мои, я им говорю, хлопцы, у меня нет детей, вы и есть мои сыновья. А они мне в ответ, но не впрямую, а больше меж собой, – батя, мол, отец, родитель наш. Знаешь, как приятно, когда до ушей такое долетает…

Нет, она, конечно же, не знала, но верила ему, потому что любила его так, как он любил своих орёликов, а быть может, ещё сильней…

15

Хорошо подумать над тем, что случайно оказалось в его руках, Адольф Иванович не успел. Тем более что мысли всё ещё продолжали путаться, и мозги, ввергнутые в шок, не могли угнаться за цепью стремительных и ужасных событий, следовавших одно за другим. Он аккуратно завязал тесёмки, пытаясь придать папке прежний вид, и водрузил её обратно на письменный стол. По крайней мере, одна вещь теперь уже прояснилась для него бесповоротно – то, кем на деле является его секретный зять Павел Сергеевич Царёв. Впрочем, ровно так же понимал он, кто есть и он сам, убогий и уродливый лишенец, по собственной воле избегавший общения с дочерью в течение всех этих лет. А теперь вот встретились, наконец. Вот вы – гражданин Цинк, а вот ваша дочь, гражданка Цинк, выбывшая ныне из списка живущих на этой паскудной земле.

Вошла Настасья, стала накрывать на стол.

– Кроме нас, своих, будут ещё два мужчины, с Павла Сергеича работы, его самые-самые, других он никаких не хочет, – сообщила она Цинку, раскладывая приборы и заполняя стол траурной снедью: кутья, стопка блинов под крышкой, кисель, остальное. Для Евгении предусмотрела отдельную рюмку с водкой, сверху – ломоть черного хлеба. Окинула общим взглядом: – Вроде б всё, теперь только хозяина ждать. – Села на стул и заплакала, горько и надрывно.

Приступы жуткого сострадания к хозяйке, как и сочувственные припадки в адрес Павла Сергеевича, чередовались у Настасьи с внезапно возникающими всплесками совершенно чуждой ей деловитости, порождённой желанием хотя бы как-то облегчить их общие муки. Поначалу она и сама, казалось ей, утратила разум – вплоть до потери ориентации в пространстве: иногда, ближе к ночи, могла вдруг уверить себя, что всё ещё находится во владиленинском жилье и что вот-вот хозяин позовёт её, как бывало, если, конечно, вздумается ему такое. А порой чудилось, что и тут она вроде бы жила, в этой высотке, от самого рождения, и что растила здесь не только Аврошеньку, но воспитала когда-то и саму Евгению, что вытирала ей носик, сажала на горшок, подбирала детские слюнки, водила кататься на велосипедике и что вот-вот Евгения кликнет её, что, мол, приди, пожалуйста, с тряпкой, Настенька. И она помчится на хозяйкин зов, успев сполоснуть и отжать подходящую тряпицу, назначение которой угадывала всегда безошибочно. Недоступным любой фантазии оставался лишь сам он – хозяин. Перед ним как робела

и кланялась всю жизнь, хотя больше мысленно, а не наяву, так ничего со временем в её отношении не изменилось: Бог жил на небе, все остальные – тут, в нижнем приделе.

Как только стало известно о хозяйкиной смерти и Аврошином увечье, всё будто обвалилось вокруг неё, и всё – на голову, в самую чувствительную область, где разум. Выла непрекращаемо, слёз не могла унять, как ни тёрла вокруг глаз и чем бы ни просушивала. Спать тоже не выходило – вместо сна грезились ужасы, страхи, изнутри било короткими тычками, где-то под ложечкой. Толку от неё в первые дни было никакого, и хозяин сразу это понял. Но как только перевёз обратно в Москву на своём самолёте, всё поменялось, обогнав любое её ожидание. Сразу засуетилась: как и чего будет с поминками, как наварить киселя и какого, чего добавить в кутью, коли не нашлось орехов, но зато есть крупный изюм без костей. С морговскими гримёрами сама лично разговаривала, чтобы получше ожоги прикрыли на Евгениевом личике, одёжу свезла, подобрав построже из хозяйкиного гардероба – сама решила, без хозяина. А пока добиралась обратно из покойницкого учреждения, плакала и думала, что ведь это она в первый раз за все годы сделала чего-то для семьи полезное, кроме как выполняла по прямому хозяйству. И слёзы куда-то разом усохли, и стало чуть полегче – а всё потому, что впервые за всё время проживания на общих метрах ощутила себя членом семьи…

Дальше – за короткие эти дни в Москве на удивление быстро привыкла к мысли, что хозяйки больше нет и не будет, и это странным образом пришедшее понимание вдруг резко вернуло разум к обратной точке, от которой и начался этот тяжкий, удручающий отсчёт. А теперь отец Евгении объявился, взявшись неизвестно из каких земель, но и его надо приветить, позаботиться, подать, проводить, и всё тому подобное, чтобы уехал с памятью о семье, а не с одной только болью в раненом сердце. Да и по виду оказался мужчиной приятным, негромким и совершенно не старым, как прежде думалось Настасье. И горе его неподдельное, страшное, хоть и нелады были с Евгенией, как она об этом доподлинно знала. И теперь он сидел на диване, тихий и убитый, не знающий, куда приткнуть красивые руки – она это заметила, ещё когда в крематории повстречались. Подумала ещё, что именно такие руки, наверно, должны быть у художников, которые всю свою жизнь пишут только красивые и никакие больше картины. И седой не по годам – не натягивалось столько белого на остальной вид, даже если и глаза за толстыми круглыми стёклами. Мысли эти, не слишком мешая горькому плачу, который она завела, чтобы попутно заполнить паузу, текли

сами по себе, параллельно с заботой о траурном застолье и ожиданием Павла Сергеевича.

Адольф Иванович смотрел на домработницу и, чтобы каким-то образом избежать неловкости своего присутствия, спросил:

– А как они познакомились, Настенька, не припомните?

Она подняла на него глаза, и Цинк с удивлением обнаружил, что горькое, лишь несколько мгновений назад образовавшееся в них, столь же стремительно обернулось заинтересованным вниманием к его вопросу.

– Как познакомились? – Настя шмыгнула носом и развела руками, – А так и познакомились… – Честно говоря, она понятия не имела о том, как произошла встреча хозяина и хозяйки, на каком рубеже космического знания и производства столкнулись интересы чертёжницы и главного конструктора, но ей очень хотелось ответить, и по возможности обстоятельно, так, чтобы лишний раз приблизить себя к семье и укрепить у гостя впечатление о важности занимаемого ею места. – Так вот, и говорю, – продолжила она, попутно прикидывая в уме историю женитьбы и любви. – Он, значит, сам-то, Павел Сергеич, работал в ту пору… – В этот момент в дверь позвонили, она вскочила со стула и развела руками, на этот раз извинительно. – Пришли, стало быть, пойду открывать, а вы тут сами побудьте пока, ладно?

Они вошли: сам и двое при нём – похоже, сотрудники. Цинк поднялся, молча поклонился. В ответ Царёв кивнул и произвёл рукой приглашающий жест, указывая на стул возле стола. Странная ситуация разворачивалась возле поминального накрытия, объединявшего двух зрелых и честолюбивых мужчин, потерявших самое дорогое, при том, что каждый ещё недавно рассматривал другого в качестве источника основных семейных неприятностей и неудобств. Но если Павел Сергеевич, отыскав тестя и принимая его сейчас в доме, рассчитывал ограничить общение лишь положенным ритуалом, то Адольф Иванович смотрел теперь на зятя другими глазами. В этот момент он уже не думал о том, что из-за своего подлого и склочного характера, из-за этого идиотского заблуждения, умноженного на незаслуженную и уродливо скроенную ненависть к этому человеку, он, по сути, потерял дочь. Нет, теперь в голове его роились иные мысли – как, каким путём повиниться перед всеми ними: перед памятью покойной дочери, перед её великим мужем и даже перед этой милой Настей, которая, как многолетний член семьи, была свидетелем того, как страдала и терзалась его девочка, его Женюра, не имея расположения родного отца. Он же, урод, каких поискать, даже не захотел выслушать дочь, он просто не стал вникать, прекратил общение, наложив собственный

запрет на тему жизни её с человеком, узнать о котором так и не удосужился, вбив в свою больную голову эту дурацкую версию. Где, в какой момент произошло с ним такое, отчего злой рок, многие годы преследовавший его и раньше, так убийственно чётко сработал именно в тот раз – почему?

Они сели, Царёв разлил по рюмкам, взял полуминутную паузу. Затем сказал:

– Здесь сейчас самые близкие, не хватает только нашей дочери. Есть и другие близкие, но так получилось, что эти четыре года, для нас счастливые, мы с Женей прожили в отдалении от многих, потому что нам было так хорошо, как не бывает, хотя… и теперь стало так, как не должно было быть никогда и ни с кем. Я никогда не прощу себе того, что моя жена погибла по моей вине. Я не настоял, не подумал, не проследил. Если ты слышишь сейчас меня, милая моя, прости. Если нет, то пускай мои слова когда-нибудь долетят до тебя, как и моя вечная любовь и вечная память. – Он приподнял рюмку: – Выпьем. И пусть земля и небо примут тебя такой, какой ты была: умной, чистой, любящей и любимой. – Он чуть помедлил, вероятно, не решаясь сказать, но всё же сказал: – И ещё. Я выполню твою просьбу, хотя знаю, что ты уже никогда не выполнишь мою: ты знаешь, любимая, о чём я. Но когда-нибудь мы обязательно встретимся на поляне эдельвейсов, потому что оба мы об этом мечтали.

Все молча выпили и поставили рюмки на стол. Настя попробовала было выпустить из себя очередной причитальный звук, но Царёв лишь слегка повернул в её сторону голову, и звук оборвался, не успев начаться. Тогда она поднялась, обошла всех и вновь наполнила рюмки. Вслед за Царёвым поднялся Цинк.

– Я никого не любил так, как свою дочь… – медленно проговорил Адольф Иванович, – наверное, эта слепая отцовская любовь так и не позволила мне стать мудрей и лучше… и в итоге получилось то, что получилось… последние годы мы не общались… и я… никогда себе этого не прощу… – Слова, что он произносил, выходили какими-то неровными, с затыками, горло сводило слабыми спазмами, которые ему едва удавалось преодолевать. Не хотелось ничего: ни держать в руке поминальную рюмку, ни смотреть в глаза этим людям, ни делиться с ними откровениями, поскольку он не знал, продолжают ли они его ненавидеть, как когда-то ненавидел он, несчастный в своём отцовском горе, не зная, не чувствуя и не видя их ровно так же, как и всех прочих, кто вынудил его жить этой чужой одинокой жизнью. Однако он продолжил говорить, потому что, даже если и не был впрямую виновен в смерти дочери, то во всём остальном вина лежала только на нём самом;

и если бы его Женюра была сейчас живой, то никто не знает, где бы он теперь был и что бы продолжал думать обо всех тех, кто забрал её у него… – Я не знаю, за что чёрная судьба отняла мою дочь, лучше бы она взяла меня вместе с моим чёрствым сердцем и неприкаянной головой, но одно скажу: если и было в моей жизни светлое и настоящее, что останется со мной до конца, то это она, Женюра.

Все молча выпили. Он сел, сунул чего-то в рот, стал медленно жевать, не ощущая вкус и не разбирая, что ест. Ничего не проталкивалось в глотку, да и не хотелось, несмотря на то, что со вчерашнего вечера так и не удалось поесть: во рту было всё так же горько, сухо и мерзостно.

Следом поднялась Настя, после того как один из сотрудников Царёва обошёл стол и вновь налил каждому. Поначалу она чуть замялась, несколько раз глубоко вздохнула, набираясь сил для поминального тоста, но в тот же момент её затрясло, дыхания не хватило, и единственное, что она сумела сделать, это выпустить из себя давно сдерживаемые рыдания, местами вновь переходящие в слабый вой. Однако на этот раз Павел Сергеевич уже не предпринял попытки остановить её, дал отрыдаться, молча переждав, пока её плач не утихнет сам по себе. Так она и села, не произнеся ни слова, не в силах ни пригубить водки, ни вернуть себе надлежащий вид, на который присутствующие вправе были рассчитывать.

Затем снова каждый молча поковырял что-то у себя в тарелке. И опять выпили, два раза, – после слов обоих незнакомых Цинку мужчин. Самих слов он хорошо не запомнил, и не только потому, что уже началось опьянение от выпитой натощак водки: просто догадался, что слова те звучали больше из сочувственных приличий и неподдельного уважения к хозяину дома, нежели от близости этих людей к его покойной дочери. Это было и понятно – теперь уже, когда он прочитал запись её о путешествии на гору, из которой уразумел, что вообще мало кто нужен был им для получившегося таким коротким взаимного счастья.

Вдруг понял, что хочет напиться, надраться, потерять разум, дать себе волю расслабить голову и тело, войти в состояние ухода, отрешиться от всего, что преследовало последние годы, не давая жить, дышать и даже вспоминать – и не только плохое, но и доброе, случавшееся в его сполна неудавшейся жизни.

Вскоре приглашённые засобирались. Он вежливо пожал обоим руки, не помня ни имён, ни отчеств, и вернулся в гостиную, где уже воскресшая Настя начала убирать со стола. Между делом кивнула ему, как окончательно своему: налить, мол, на посошок? Он тоже кивнул, рассеянно, но утвердительно.

Она налила и поднесла ему к дивану, на который он опустился, находясь в состоянии, близком к обморочному. В руке у неё тоже оказалась рюмка, и они, не сговариваясь, опрокинули каждый свою, не говоря слов и не чокаясь, как водится. Тут же она, понимая его состояние, сунула ему в руку хвостовую часть обжатой блином селёдки, и он механически переложил это в рот, чувствуя, как в первый раз за всё время вкус еды достигает его рецепторов. Сухость во рту исчезла, горечь сменилась ощущением чего-то солёно-кислого, а мерзкое, что саднило изнутри, сделалось никаким.

Вернулся проводивший гостей Царёв. Спросил, указав глазами на кабинет:

– Наверное, поговорить хотите, Адольф Иванович?

Цинк кивнул и, с трудом оторвав тело от дивана, поднялся. Павел Сергеевич тоже кивнул в ответ, но на этот раз вопросительно, на стол с неубранной снедью, точней, на бутылку с остатками водки – прихватить?

– Да… – коротко подтвердил Адольф Иванович, чувствуя, что язык ворочается непривычно слабо, – не помешает.

Они перешли в кабинет и опустились в кресла. Между креслами помещался палисандровый стол его отца Ивана Карловича, на котором лежала стопка акварелей; тут же стояла стеклянная банка, откуда торчали кисточки для рисования.

– Мой отец был часовщик, – произнёс Адольф Иванович, – всю жизнь проработал за этим столом.

– Мне Женя рассказывала, – отозвался Царёв. – Знаете, Адольф Иваныч, я вообще думаю, что знаю о вас больше, чем вы обо мне… – и посмотрел ему в глаза, – верно?

Цинк помолчал, затем сказал:

– Вы простите меня, Павел Сергеевич, если только сумеете простить. Я ведь только сегодня узнал всю правду. Да и то, можно сказать, случайно. Нашёл дочкины записи и почитал, пока вас ждал.

– Это какие? – вскинул брови Царёв. – О чём?

– А вы разве не читали? – удивился Цинк. – Там о вас и о ней, о том, как оба вы на гору поднимались, пока не добрались до цветов с мохнатыми звёздочками. Там ещё рассказы лежали и повесть, но не успел посмотреть, времени не хватило.

– Она ведь так хотела, чтобы я прочитал, что она сделала… а я всё обещал… обещал… да так и не удосужился, – с горечью в голосе пробормотал Царёв. – Сначала казалось, что всё это лишь молодые игры, желание ещё больше сблизиться со мной через свои литературные опыты, как будто в этом была некая отдельная потребность. А я ни в какой отдельной потребности не нуждался,

мне было достаточно того, что я просто любил её безумно, с самого первого дня, как только увидел и сообразил, что именно она, Женюра моя, сделана для меня, как никто другой. Но, видно, самой ей этого было мало, она хотела мне это доказать, убедить, что она человек талантливый, самодостаточный, что вправе считаться личностью. А я, упёртый и самолюбивый остолоп, не услышал этого призыва, отверг, получается, обращённую ко мне надежду. – Он налил обоим и, сделав знак глазами, медленно выцедил из рюмки. Цинк последовал за ним.

Павел Сергеевич откинулся на спину и прикрыл глаза:

– Она ведь дала мне свои рассказы не так давно, чтобы прихватил в дорогу, и я, кажется, обещал почитать. Помню, подумал ещё, что хорошо бы снова вывернуться, сослаться на недостаток времени – и всё ради того, чтобы отвести от себя испуг, не разочароваться, отдалить неясное, не споткнуться о любое непредвиденное препятствие… Сказочку написала. Сказала, Аврошке понравилась, я и подумал, вот и хорошо, тут и остановимся, дальше дочки демонстрации литературных дарований, может, и не потребуется, и все будут счастливы, как прежде… – он распахнул веки, и Цинк увидел, что глаза его намокли: теперь свет торшера отражался от его зрачков одновременно с отблесками пятикиловаттных ламп, скрытых за рубиновыми стёклами кремлёвских звезд за окнами сталинской высотки.

– Знаете, это просто чудо какое-то – то, что я прочитал… – в задумчивости покачав головой, выговорил Адольф Иванович, – … у меня в какой-то момент даже сердце защемило, не от боли, от сопереживания… показалось, вижу всё сам, запахи слышу, звуки…

– Она уже умирала… – едва слышно отозвался из своего кресла Царёв, – ей оставалось всего ничего, у меня на руках, я это чувствовал, но не хотел об этом думать, гнал от себя эту мысль, как только мог… А она не о смерти, она о жизни волновалась, о рассказах своих, успела спросить лишь, читал я или не успел ещё, а ведь она просила… Хотела поддержки моей, доброго слова, столько времени ждала, не признавалась, а я ни ухом ни рылом, чурбан недоделанный.

– Выпьем? – спросил Цинк. Тот прикрыл глаза, соглашаясь, и Адольф Иванович налил обоим. Они выпили и помолчали.

– Могу я спросить? – после затянувшейся паузы произнёс Павел Сергеевич. – Понимаю, что теперь уже неважно, но… всё же… почему?

– Почему? – пьяно переспросил Цинк. – А, вероятно, просто потому, что они уничтожили мою жизнь, как сделали это и с

другими, с сотнями тысяч таких же безвинных немцев, как я и мой покойный отец. Заодно они лишили меня и жены, потому что даже если бы она не умерла родами, то всё равно родители её, узнав обо мне, дали ей понять, что или я, фашистский выродок с именем Адольф, или они, родные папа и мама. А когда она умерла, то даже на внучку не захотели посмотреть, на маленькую Женюру. Потом… потом они сожгли наш дом в Спас-Лугорье, когда началась война – из-за того, что немцы. После – уничтожили мои картины, потому что всегда тайно ненавидели, а тут обнаружился удобный случай подтвердить эту ненависть на деле. Ну, а заодно испоганили и папину могилу, там же, в Каражакале, – просто снесли экскаваторным ковшом, не дав перезахоронить.

– То, о чём вы рассказали, звучит, конечно, удручающе… – отозвался, чуть помолчав, Павел Сергеевич, – и не удручающе даже, а просто чудовищно страшно. И я готов всё это понять, разумеется, всю вашу боль, отчаяние, желание уйти в себя, отринуть всё негодяйское и никак не пересекаться с теми, кто позволил всему этому случиться. Я и сам, если уж начистоту, презираю их не меньше вашего: просто в отличие от вас я не могу себе этого открыто позволить – повязан, извините за правду жизни, по рукам и ногам. Но не только ими скован я, Адольф Иваныч, а, главное, делом моим, которому служу и без которого не могу существовать, совсем. – Он поднялся и вышел. Вернулся через полминуты с откупоренной бутылкой. Налил обоим, сел. Они выпили. Спросил: – Можно без отчества?

– Если «Адольф» для вас тоже звучит отвратительно, то можно Адик, – ответил Цинк, – просто Адик и всё.

– Ну, а я Павел, – откликнулся Царёв, и протянул руку, – хотя само по себе имя у вас вполне красивое и, кроме этого урода, ещё масса замечательных людей носили его, смею заметить. Так что будем знакомы, Адик.

– Будем, – отреагировал Адольф Иванович. – Будем, Павел Сергеевич. – И добавил: – Извините, с вами я по имени, боюсь, не смогу, вы великий человек, воистину, просто не одолею этой границы.

– Ну, тебе видней, – покачал головой зять, – не стану настаивать. – И снова налил.

Опьянение, которое в эти минуты испытывал Цинк, было необъяснимо странным. С одной стороны, водка, которую он в себя вливал, казалось, ухала куда-то вниз, не задерживаясь и не касаясь сознания ни одной своей каплей. И так было до определённого момента: до тех пор, пока тупая ноющая боль неизвестной природы, которая, распределившись равномерно по

всему телу, не отпускала его с самого начала, внезапно не ослабла, став такой же неопределённой взвесью, точно так же сковывающей тело, но уже не изнутри, а снаружи. Именно с этого момента он стал отчётливо понимать, что при ясном всё ещё сознании речь его управляется так себе, едва-едва, и, чтобы выговорить слово или произнести законченный оборот, голове его, мышцам языка, гортани, требуется предпринять отдельное непривычное усилие. Однако именно это, как ни странно, заставляло его выдавливать из себя непослушные слова, говорить, говорить, собирая их в кучки, соединяя в общий поток с разрозненными мыслями и всё еще не устоявшимися чувствами. Но теперь он знал, что есть такой человек на земле, которому всё это нужно не меньше, чем самому ему. А, поняв такое, неожиданно заплакал:

– Понимаете, Павел Сергеич, они просто забрали полмиллиона моих соплеменников и послали на смерть, на унижение, на каторгу – только за то, что их предки когда-то оказались на этой земле, которая через сотни лет сделалась всем им неродной. Но только они об этом не знали, они давно были такими, как все – как вы, как ваша Настя, как остальные: покрестились, стали рожать детей, землю пахать, собирать урожай, менять потихоньку имена – пускай не все, но некоторые. Учиться стали, трудиться, верить в идеалы и детям своим наказывать жить в добре и любви… А их за это – мордой в грязь, в смерть, в Гулаг… – он поднял на Царева глаза, – выходит, одни у них товарищи, а другие уже изначально граждане, такие, как мы, граждане Цинк, не достойные стоять рядом.

– Ну, допустим, – помолчав, согласился Царёв, – но я-то отчего сюда затесался, для чего ты на меня с самого начала собак спустил?

Адольф Иванович прекратил плакать так же внезапно, как и начал:

– Я-то уверен был, что вы один из них, что такой же, к тому же ещё и… подержанный.

Павел Сергеевич почесал мизинцем кончик носа, одним большим глотком выпил налитое и сказал:

– Ну да, один, в общем, но только с другой от них стороны, если к тому же учесть, что девять лет Гулага оттянул, от Колымы до Владимира.

– Как это? – не понял Цинк, – вы и Гулаг? Как это возможно, за что?

Царёв грустно усмехнулся:

– За что… Думаю, за то же самое, за что и твоих в сорок первом куда следовало отправили. Верней, куда не следовало. За

то, что люди, а не скоты продажные, за то, что жить хотели наравне со всеми, за то, что нос по ветру не держали, как следовало держать, за то, что всякой мрази сталинской могли помешать самим фактом своего существования на одной с ними земле. Да мало ли за что… – На секунду он задумался, затем продолжил: – Знаешь, Адик, когда меня первый раз освободили, ещё условно, выхожу я, а впереди солнце встает. Утро. Позади – чёрная дыра лагеря. Я тогда на приисках отбывал, золотых, так вот меня оттуда грузовик один до Магадана добросил, за сапоги. В Магадане – мороз, голод. Иду из последних сил, качаюсь. И кончаюсь, на самом деле, вот-вот рухну и замёрзну. Или собаки порвут, пока ещё тёплый, или в сугробе до самой весны останусь, если повезёт чуть больше. И вдруг… прямо на дороге – хлеб! Думаю, померещилось. В Бога-то я не верю… Ну, по крайней мере, тогда не верил. Однако наклонился, поднял. И вправду – хлеб, горячий еще… Кто мог его мне подбросить, какая-такая сила небесная? Скорее, кто-то потерял или же из хлебовозки на ухабе выпал. Не знаю… И хорошо, что я жевать мог, а то, когда мне на допросе однажды челюсть свернули, я две недели потом через трубочку жидким питался. Отощал невозможно, но выстоял. Вот и в этот раз выжил, и только благодаря тому хлебу, это знаю точно… Потом… потом я не утонул вместе с кораблём, что до Находки шёл. После – поездом на Москву. А только в Хабаровске с поезда этого всё равно меня сняли: сказали, если не ссадить этого, не выживет человек, цинга у него страшная… Дальше взялся выхаживать меня какой-то дедушка, повёз в сопки, усадил на траву, прислонил к дереву, сказал, сынок, сиди тут и черемшу кушай. А черемша – это трава такая, стебли и вкус у неё на чеснок похожи, только нежные и очень сладкие. Так вот он черемшой той меня и вылечил. Зубы через несколько дней укрепились, силы вернулись, в общем, встал на ноги. Оттого и не сдох, брат ты мой, и опять же благодаря людям, другим человекам: а они есть, Адик, их гораздо больше, чем ты думаешь, потому что как бы ни было страшно и гадко, но вера в доброе всё равно должна быть сильной, и тогда не мы с тобой, а сами они будут нас страшиться и заискивать. Только, боюсь, не скоро сделается такое, не успеем мы, хотя и подойдём близко, почти-почти. – Внезапно он улыбнулся: – Кстати говоря, уже в наши дни решил я попробовать черемшу эту волшебную орёликам моим на орбите давать, ну, чтобы организм в норме поддерживать. И оказалось знаешь чего? А что черемша эта помогает в космосе лучше всяких препаратов и витаминов, ты понял?

Цинк не ответил, налил и подвинул рюмку к Царёву. Тот взял. И Адольф Иванович спросил, сам не зная для чего:

– Жить-то как дальше, Павел Сергеевич? – и опрокинул водку в себя. Он был в том состоянии шаткого равновесия, которое случается у водолаза при нарушении режима декомпрессии: когда газовые пузырьки, образовавшиеся в крови из-за перенасыщенности дыхательной смеси углекислотой, закупоривают кровеносные сосуды, нарушая общее кровоснабжение и питание тканей организма. На эту опасную глубину Адольф Иванович Цинк погружался долгие годы, испытывая неудобство, страдания и боль, однако лишь теперь болезнь эта обрела окончательно тяжёлую форму. И выбор зависел только от него: медленно выбираться на поверхность или же махнуть на всё рукой и дожидаться последнего бесповоротного удушья.

– Жить как, спрашиваешь? – отреагировал тот: – Я не знаю, какой у тебя выбор, Адольф, у меня он в любом случае понятный. Прежде всего – дочь, внучка твоя. Завтра я лечу на космодром, оттуда вернусь уже с ней. Она не видит после аварии, обожжена роговица обоих глаз, но Аврорка об этом ещё не знает. Вероятно, уже не будет видеть никогда. Так что дела мои такие, и больше никакие. Остальное – как получится. – Он тяжело поднялся и теперь стоял, опираясь на ручку кресла. – Знаешь, Адик, думаю, было бы правильно, если бы ты пожил у нас несколько дней, увидел бы Аврору, сказал бы ей какие-то слова, подержал бы за руку… Не знаю, я ещё не советовался с детскими специалистами. Но в любом случае, теперь для неё важен всякий внешний контакт, тем более, с настоящим, родным дедушкой. Я её подготовлю, придумаю что-нибудь, какую-никакую подходящую версию подберу – она ведь даже про маму свою пока не знает… И еще… Если будешь рядом, возможно, это сработает во благо. – И посмотрел на него: – Ну что, останешься?

– Останусь, Павел Сергеич, – уже на самом деле едва-едва шевеля губами, пробормотал Цинк, – конечно, останусь. Завтра позвоню на работу, чего-нибудь придумаю…

– Ладно, – одобрительно кивнул Царёв, – сейчас позову Настасью, она здесь тебе и постелит, в кабинете. А с утра обживайся, она позаботится, но меня уже не будет. Теперь извини, хочу побыть один, мне скоро уже вставать… Бывай… – и вышел.

Через пару минут зашла Настя, неся в руках стопку чистого белья, и начала стелить. Адольф Иванович с трудом оторвал себя от кресла, подошёл к окну. Там была Москва, которой он не видел и не знал, кроме того, что за краснозубчатым кирпичом, какой хорошо просматривался с этой верхотуры, окопались те, кто так и не захотел, чтобы ему, Адольфу Цинку, старшему технику из

Караганды и бывшему художнику, хотелось жить дальше. Однако сейчас она горела вечерним светом, эта чужая ему Москва, сигналя Цинку, что он всё ещё живой.

Он всматривался в реку, что текла под окном кабинета, видя и другую, входящую в неё своим худым притоком, глядел мутным взором на набережную, которая в другое время, возможно, и приковала бы к себе его слабые глаза. Он приоткрыл окно и попробовал ощутить отголоски городских шумов, из тех, что сумели добраться до 25-го этажа, где последние годы жизни провела его Женюра. Он стоял и думал, глядя вниз, о том, как коротка оказалась вечность, которую, получается, придумали для смерти, а не для жизни. Придумали не для того, чтобы вкушать блаженство, помышляя о безбрежных океанах, в которые ласковая волна унесёт когда-нибудь всякую живую душу, а затем, чтобы плюнуть с высоты вороньего полёта в этот серый бездонный развал между отвратительным и совсем худым, испоганив самою надежду на то, что она вообще есть, эта окаянная вечность.

16

Когда он проснулся, то первым делом заказал Караганду. Там ответили, и он сообщил им, что выйдет, как только утрясутся его семейные дела, связанные с похоронами дочери и болезнью внучки. Сказал и подумал, что дела его теперь и правда сделались семейными, несмотря на то, что никакой семьи-то, по сути, как не было, так и нет. Выходит, и смерть некоторым образом объединяет, и эта внезапная мысль стала для него неприятным открытием в это тусклое московское утро.

Потом они с Настей позавтракали вчерашними блинами, и Цинк решил, что пока он ждёт Царёва, можно бы взглянуть на Москву не только с верхней точки, но что-нибудь глазом зацепить с нижнего ракурса, если у него хватит решимости в такой момент болтаться по чужому городу беззаботным убогим туристом. Тем не менее он решил, что это будет правильней, чем сидеть в квартире и ждать, пока Настя, отмолчав какое-то время, вновь зарыдает, или же самого так прижмёт, что ему будет перед ней неловко, хотя слабости этой стыдиться нечего: всё равно так тяжело, как ему сейчас, не было и не будет даже Павлу Сергеевичу при всём его величии и благородстве.

Он уже совсем было собрался уходить, но неожиданно вспомнил про письменный стол хозяина квартиры, на котором он вчера обнаружил рукопись дочери. Адольф Иванович снял туфли, скинул плащ и вернулся в гостиную. Там он снова перебрал стопку и обнаружил другие папки, точно так же связанные линялыми тесёмками. Оказалось, в них ещё одно эссе, сказка, повесть и четыре рассказа, законченные и датированные. Повесть была вполне объёмной и, можно сказать, тянула на небольшой роман. Рассказы – каждый примерно страниц на сорок.

Он сказал Насте, что передумал уходить, и вернулся в кабинет. Там скинул пиджак, повесил на спинку стула и опустился в кресло. Читать начал со «Степного эссе» и с первой страницы понял, что это про него. Дочь описывала, как седой, хотя и не старый ещё человек, в круглых очках с толстыми стёклами, в ношеной робе из чёрной кирзы идёт, чуть согнувшись против ветра, по пустынному полю: на плече его тренога, в руке – подрамник, остальные причиндалы – в холщёвой сумке. Он спешит, чтобы не упустить короткие минуты заката, когда скупое солнце вот-вот покинет степь, оставив после себя один лишь сумрак и пыльную позёмку, сделавшуюся почти не видной глазу. Иссохшие стебли прошлогоднего репейника хлещут его по ногам, мешают идти, царапают остро и больно там, где кончается

брезентовая штанина, не достающая до края кирзового башмака…

– Господи… – шептал Цинк, перелистывая рукопись и поглощая строку за строкой. – Боже мой, это не случайно, не может быть, она же беспредельно талантлива… это я, убогий, бездарный, прожил жизнь и ничего не знал, я даже не догадывался, какая у неё поразительная душа, какой верный и точный глаз; я никогда не верил ни в какого Бога, я даже не знаю, есть ли этот Бог, или виной всему какая-то другая сила, но когда я писал свои картины, то всегда знал, что в это время я разговариваю именно с Ним… как и знаю теперь, что это был не я, это она уже тогда разговаривала с Ним вместо меня, когда писала свои первые буквы, ставшие словами и фразами, потому что так нельзя написать, не слившись с небесами, это просто невозможно…

До возвращения хозяина Адольф Иванович так никуда и не вышел. Всё оставшееся время он провёл в квартире на 25-м этаже, неотрывно читая произведения дочери. Не спешил, вчитывался в каждое слово, продолжая поражаться тому, откуда в его Женюре такое понимание жизни и такая способность к художническому восприятию слова. Он читал и не переставал мысленно сравнивать её палитру со своей: слова – с красками и цветом, отдельные фразы – с готовыми эскизами, сюжет целиком – с композицией в целом. Её герои, помещённые в пространство текста, походили на детали пейзажа, встроенные единственно возможным образом в композицию его холстов. Разница была лишь в одном: он был всё ещё живой, но картины его были убиты – дочь же была мёртвой, однако тексты её были живы, целы и невредимы.

Последней была повесть, которая называлась «Четверо». Ему оставалось полстраницы, когда нервы его, натянутые до предельной точки, не выдержали напряжения и он расплакался, не в силах дочитать последние строки. Его колотило изнутри, на спине образовался липкий пот и начал медленно струиться вниз по телу. Он откинулся на спинку кресла и какое-то время сидел в неподвижности. Чувство, захватившее его, было настолько сильным, что Цинк едва справлялся с эмоциями: главным было унять частую дрожь, гулко отдававшуюся мелким эхом где-то между рёбер с другой от сердца стороны. Слёзы не кончались, но на них он внимания не обращал, просто вытирал их поочерёдно тыльными сторонами ладоней.

В этот момент, незадолго до ужина, вошла Настя, принесла чай. Поставила на стол, спросила:

– Сейчас будете, Адольф Иваныч, или после подать, когда поедите? – Он не ответил, просто шмыгнул носом и несколько раз

поморгал веками, высушивая ресницы. – Вам чего, снова нехорошо? – обеспокоено осведомилась Настасья. – Может, пилюлю? А то вон Павел Сергеич-то полетел за Аврошкой, а взять забыл. Так хоть вы попейте, чтобы сердце не забеспокоилось лишний раз.

Слова эти, проговоренные Настасьей, хорошие, простые, чуть наивные и довольно смешно звучавшие, вернули его в прежнее состояние. Он помотал головой, отказываясь от чая, и сказал ей:

– Ты присядь лучше, Настенька, мне тут осталось всего чуть-чуть, я дочитаю, а ты послушай, как красиво написано.

Она понятливо кивнула и села, сложив руки на коленях. Цинк же взял последнюю станицу рукописи и прочитал вслух, чуть замедлив темп, чтобы получалось слегка нараспев:

«Иногда, ранним утром, тоже в июне и тоже ближе к концу его, Настенька просыпалась в томительном волнении и шла в бывшую спальню покойной свекрови проверить Ивана Карловича. И каждый раз находила его неспящим. Он радовался ей глазами и пытался что-то сказать. Но только она и так знала наверняка, чего он хочет. Она пересаживала его в материнскую каталку и вывозила на веранду, как раз к тому времени, когда солнечный диск подбирался к небу снизу и, коснувшись его оранжевого края, небо заливалось густо-розовым: над домом его отца Карла Фридриховича, над Блажновыми, ставшими роднёй, над пожарным прудом, чьи подземные источники так и не сумели осилить глинистой мути его воды, над всей их Спас-Лугорьевкой и ещё шире, от края до края. И разливалось это густое и светлое с пронзительной и быстрой силой…

И не знал Иван Карлович, где начинаются эти края и где кончаются, когда из розового свет становился бледно-розовым, чуть погодя – просто бледным, а уж после него – утекал вовсе: и начинался другой свет, тоже постепенный, но всё же другой, дневной, совсем на рассветный непохожий…»

– Ой! – неожиданно воскликнула Настя.

– Что такое, милая? – Адольф Иванович вопросительно поднял брови и с удивлением посмотрел на домработницу.

– Так Блажновы – это ж мы. Я же и есть Блажнова. И Настя тоже я. Это ж откуда Евгения взяла такое, это ж получается, про меня тоже…

– И про тебя, и про всех нас, – улыбнулся Адольф Иванович, – про всех нас, про людей хороших и так себе. Знаешь, мне теперь кажется, что у моей дочери был особый дар чуять прекрасное, слышать чуть больше других, но она умела этого не показывать, она решила хранить это в себе, накапливая что-то очень важное, чтобы когда-нибудь потом отдать это людям, сделав так, что и

для них это станет значимым.

Настасья в задумчивости приоткрыла было рот, чтобы высказаться, но в этот момент раздался звонок в дверь, и она подпрыгнула на месте, в радости и тревоге одновременно:

– Приехали!

Они зашли через пару минут, отец и дочь. Павел Сергеевич, передвигаясь короткими шагами, вёл Аврору за руку, предусмотрительно опережая её на полшага, чтобы та, не дай бог, не задела чего по пути. Цинк, волнуясь, поднялся, тут же сел, снова встал. Он явно был растерян и не пытался этого скрыть. Это была его внучка, дочка Женюры, чудное маленькое создание со светло-русыми волосами, слегка обожженными вокруг лица, на тонких ножках, затянутых в серые чулочки, в синем платьице и тапках с белыми пушистыми помпонами. На глазах её была повязка, так по сей день и не снятая.

Царёв усадил дочь в кресло, погладил по голове. Сказал:

– Вот мы и дома.

– А мама скоро придёт? – осведомилась Аврошка. И тут же добавила: – А когда она вернётся, мне уже можно будет это снять? – и потрогала рукой повязку, – а то я уже порисовать хочу.

– А к тебе дедушка в гости приехал! – в ответ на её вопрос внезапно сообщил Павел Сергеевич. – Папа твоей мамы. Он приехал издалека, специально чтобы посмотреть на тебя и познакомиться с тобой.

– Да? – оживилась девочка. – А где же он, где? – и стала озираться по сторонам в поисках неизвестного дедушки.

– Я здесь… – негромко отозвался Цинк, уняв, насколько получилось, очередное сердцебиение и, приблизившись к ней, поцеловал её в голову. Взял её ладонь и нежно сжал в своей. – Я твой дедушка. Дедушка Адик.

– Ты тоже Цинк, как мама? – спросила Аврошка.

– Цинк, самый настоящий, – ответил он, – а ты?

– А я Царёва! – с гордостью отозвалась Аврошка. – Аврора Царёва, художник по рисункам и акварелькам, – и протянула вперёд руку, пытаясь нащупать его лицо. Он с готовностью подставился щекой под её ладошку, и она стала трогать его нос, губы, очки. – Ты чего, плохо видишь? – спросила его она. – Зачем тебе эти кругляшки?

– Это чтобы лучше тебя ви-идеть! – зарычал он, притворяясь волком, – и чтобы съесть – ам!

Девочка завизжала и засмеялась.

– Когда мне снимут повязку, я тебя сама первая съем, понятно?

– Понятно, – ответил Адольф Иванович, – буду очень тебе

благодарен, внученька.

– А почему ты так долго не приезжал? – спросила она вдруг, перестав смеяться.

– У дедушки было много работы, а ехать ему очень далеко, родная, – ответил за него Павел Сергеевич, – зато теперь он будет приезжать гораздо чаще, – и вопросительно глянул на Цинка, – да, дедушка?

– А какая у тебя там работа? – спросила она. – Ты тоже ракеты делаешь, как папочка?

– Нет, – улыбнулся Цинк, – я их не делаю, я… – на мгновенье он задумался, но тут же продолжил, – я художник. Я пишу картины, большие и маленькие, маслом и гуашью, я рисую карандашом и углём, я мастерю акварели, как и ты, маленькая.

– Ой! – воскликнула Аврошка. – А чего же ты мне сразу не сказал? Мы с тобой теперь вместе порисуем, ладно? Ты будешь рисовать меня, а я тебя, а потом поменяемся.

– Это как? – не понял Цинк. – В каком смысле поменяемся?

Она подумала чуть-чуть и пояснила:

– Ну, это значит, ты будешь рисовать папу, а я маму, а потом тоже наоборот, да?

Цинк кивнул головой, совершенно забыв, что жест его остаётся не воспринятым ею, но тут же поправился: – Да, милая, конечно, будем.

– Всё, Аврошенька, спать… – строго сказал Павел Сергеевич и сделал знак Насте. Та подошла, бережно взяла её за руку и осторожно повела за собой. Напомнила уже в дверях, обращаясь к Цинку:

– Я вам там же постелила, Адольф Иваныч, а Авроша со мной сегодня будет.

– Спокойной ночи! – произнесла девочка, обращаясь ко всем сразу.

– Спокойной ночи, доченька, – ответил Царёв.

– Спокойной ночи, внученька, – ответил Цинк.

Они вышли, и Павел Сергеевич обратился к гостю:

– Как вы тут, не заскучали?

– Я прочитал то, что она написала, – отозвался Цинк, – это просто восторг, у меня нет слов. Вы читали?

– Я хотел взять с собой, но снова не сошлось, вспомнил об этом лишь в самолёте. Возьму, пожалуй, на ночь, хотя… – он потёр ладонью в районе сердца и поморщился, – неважно себя чувствую, если честно, давно так нехорошо не было… – С этими словами Павел Сергеевич подошёл к письменному столу, взял папки и пошёл к себе. Обернувшись, уже в дверях, сказал: – Утром увидимся, Адольф Иваныч, спите спокойно. И спасибо, что

дождались Аврошку, вы ей понравились, я знаю свою дочь.

17

До утра Павел Сергеевич Царёв не дожил, хотя выяснилось это не сразу. Утром, когда Аврошка ещё спала, а Цинк ещё только собирался вставать, он услышал, как Настасья что-то кричит в телефон, на той стороне квартиры. Он быстро накинул рубашку, влез в брюки и вышел в коридор. Она уже и сама шла к нему, сдавливая голос, чтобы не разбудить девочку:

– Просил побудить в семь, так я зашла, а он плохо дышит и глазами не смотрит. – И заплакала. – Что же это такое, Адольф Иваныч, как же это? И пилюли его нетронутые лежат.

Через двадцать минут «Скорая» увезла Царёва. А ещё через полтора часа, когда Аврошка ещё спала, им позвонили и попросили кого-нибудь из близких. Как самый близкий трубку принял Цинк. Ему и сообщили, что реанимационные мероприятия успеха не принесли, диагноз – острая ишемия миокарда. Слишком поздно в «Скорую» сообщили о сильнейшем сердечном приступе. Сочувствуем вам, сказали ему, однако в вашем случае, поверьте, медицина оказалась бессильной. Тем более, если учесть, что негативную роль сыграла невозможность введения в горло дыхательной трубки из-за особенностей строения челюсти покойного в результате старой, похоже, травмы.

Он нажал пальцем на рычаг и едва слышно выговорил, адресуя слова неведомо кому:

– Убили-таки его, из прошлого догнали и добили.

Настя обхватила горло и пошатнулась. Она глядела на Цинка, всё ещё ожидая услышать от него что-нибудь понятное и обнадёживающее вместо этих туманных слов про какого-то неизвестного, которого кто-то догнал.

– Нет больше Павла Сергеевича, – тихо произнёс Адольф Иванович, глядя в пол. – Умер он, не успели спасти, сердечный приступ. – И тут же добавил, указывая на дверь и удивляясь собственному хладнокровию: – Не нужно кричать, ребёнок ничего не должен знать. Папа улетел, всё!

Она мотнула головой, давая понять, что слова его дошли до её сознания, после чего медленно опустилась на паркет и бесшумно заплакала, так и не отпустив от горла обеих рук. Сам же он, оставив её на полу, чтобы она начала привыкать к этой новой страшной мысли, пошёл в хозяйскую спальню. Его интересовал один вопрос, на который он хотел получить ответ. И он его получил: папки лежали на столе, связанные всё тем же бантиком.

Цинк никуда не полетел. В тот же день он дал телеграмму с

просьбой о внеочередном отпуске по семейным обстоятельствам. Ответ его не интересовал, с этого дня ему нужно было думать о тысяче гораздо более важных дел, нежели участие в проектировании открытых разработок в местах залегания полезных ископаемых.

В отличие от бедной Насти, окунувшейся в горе целиком и без остатка, ему следовало хранить спокойствие, не поддаваться ужасу происшедшего – теперь уже двойному – и постараться сделать так, чтобы на время похорон Аврора оставалась в абсолютном отдалении и чтобы до ушей её не долетела никакая случайная информация относительно отца.

Мысли работали на удивление чётко и слаженно, почти без сбоев. Он принуждал себя не думать о дочери и Царёве, стараясь всё время размышлять о другом, и главным в этих мыслях была Аврора, внучка.

В день смерти, буквально через полчаса после того, как стало известно, кто скончался, государственная машина закрутилась на полные обороты. К ним постоянно звонили, что-то уточняли – как всё было, когда увезли, что сказали, когда забирали; как сообщили о смерти и в каких конкретно словах; почему они вызвали обычную «Скорую», а не набрали специальную медслужбу для номенклатурных работников; как Павел Сергеевич чувствовал себя накануне и когда жаловался на сердце в последний раз. Цинк отвечал по-военному, чтобы донести суть и не уходить в пустое: ему надо было параллельно, практически каждую секунду отслеживать, что там с девочкой, что она слышит и что может понять. Настя то включалась, как могла, то вновь силы оставляли её, и она валилась на диван в своей комнате и лежала там неподвижно до тех пор, пока Адольф Иванович не появлялся у неё и суровым голосом не просил покормить Аврору или же вывести её во двор на время появления в доме посторонних.

Первыми объявились двое в одинаково серых костюмах. Они вежливо поздоровались, предъявили документы государственной фельдъегерской службы и попросили выдать госнаграды для использования в траурной церемонии. Он вызвал со двора Настю, и та, оставив Аврошку в комнате, указала, утерев глаза, на комод в спальне. Оттуда и забрали, упаковав всё по отдельным мешочкам, опечатав на глазах родни и оставив положенные квитанции: две звезды Героя соцтруда, три «Ордена Ленина», орден «Знак почёта», медали, лауреатский знак. Через час приехали двое, которые были на поминках. Он, честно говоря, не помнил, как их зовут, но, по крайней мере, с ними можно было разговаривать как с единственно близкими к Павлу Сергеевичу

людьми. В тот день они познакомились заново и сели толковать в кабинете.

– Он ведь всю свою жизнь прожил неназванным, понимаете? – сказал первый. – И только теперь стране и миру предстоит узнать об этой крупнейшей фигуре в истории человечества.

– Сейчас начнётся такое, что страшно подумать, – мрачно добавил второй, – сначала они его в стену засунут, потом начнут корабли, улицы и города именем его называть, а сразу вслед за этим драчка пойдет промеж них, кого на его место ставить, кому возглавлять теперь отечественное ракетостроение: «Царь» умер, да здравствует царь.

– Он был великий человек, – снова вставил первый, – даже я бы сказал, величайший, и это не пустые слова.

– И что я должен делать? – спросил, обращаясь к обоим, Адольф Иванович, не очень понимая собственную роль в предстоящих делах.

– Просите, – коротко ответил второй.

– Вы теперь единственный дееспособный родственник, – пояснил первый.

– Но что я должен просить? – не понял Цинк. – У кого?

– Всё, что угодно, – откликнулся второй, – сейчас ещё можно успеть, пока волна не сошла. У вас ребёнок его на руках, родная дочка, ваша внучка.

И он понял – то, о чём не успел ещё подумать. И спросил.

– Я хочу опекунства, как это сделать? Больше ничего не надо.

– И просите пособие по потере кормильца, но только не обычное, а по спецраспоряжению, они должны сделать, прецеденты были уже, – объяснил первый. – А насчёт опекунства – это мы запустим, это получится, тут всё чисто.

– Вот, собственно говоря, всё, что мы можем сделать для Павла Сергеевича, – добавил второй, – вы-то не знаете, конечно, но его ведь многие не любили, если уж до конца быть откровенным. Он же никому не позволял просто так кататься, чтоб на чужом хребте в рай заехать, он и в ЦК мог голос поднять, а они чувствовали, что не любит их, да вот только поделать ничего не могли, поздно стало, без него уже никак, без него сплошная дырка от бублика.

– А с ним – головняк сплошной, – покачал головой первый, – никому мало не казалось, так что теперь одни тайно вдохнут, другие точно так же выдохнут.

– Можете, кстати, «Волгу» просить для опекунских нужд, – внезапно вспомнил второй, – дадут, никуда не денутся.

– И при медицине остаться, как члены семьи выдающегося деятеля, – прибавил к сказанному первый, – хотя… это больше

вас самого касается: насколько нам говорил Павел Сергеевич, с Авророй заниматься в этом смысле уже бессмысленно, зрение, сказал, всё равно не восстановишь, раз роговица выжжена.

– Спасибо вам, – пробормотал Адольф Иванович, – я, честно говоря, до сих пор нахожусь в растерянности, не знаю, с чего начинать, я же тут человек, можно сказать, со стороны, я даже в Москве до этого, по сути, не был: от аэропорта и сюда – всё.

– В общем, если что, обращайтесь, – поднимаясь, сказал второй, – Павел Сергеевич о вас хорошо отзывался, а для нас это тоже как память о нём.

Цинк встал.

– Я ещё вот чего хотел узнать, – произнёс он, прикидывая, как лучше сформулировать вопрос, – в общем, такое дело… Можно бы урну с пеплом обратно в семью получить, а не оставлять похоронщикам? Ну, чтобы не в стену или куда там ещё, а чтобы мы сами, по его воле распорядились. Просьба такая будет значить что-нибудь для власти или нет, как думаете?

Первый обречённо махнул рукой:

– Даже не помышляйте, Адольф Иваныч, не отдадут, им же погромыхать в очередной раз надо, спектакль на весь мир устроить, в стену замуровать, чтобы все знали, кто тут кто.

– Они бы лучше тогда об этом думали, когда он срок на прииске отбывал, – так же обречённо покачал головой второй, – безнадёжно, Адольф Иваныч. Забудьте думать, даже слушать не станут, скажут, в таких случаях за личность решает страна и народ, даже если завещание имеется.

– А страна у них – это они сами, – развёл руками первый, мотнув головой куда-то за окно.

– А Настю хотя бы можно прописать здесь, как думаете? А то она, как выяснилось, вообще без прав. Кто же думал, что так всё обернётся.

– Про это выясним, – пообещал первый и протянул руку для пожатия. Цинк благодарно пожал её в ответ.

– И сразу дадим знать, – подтвердил второй и тоже обменялся с ним рукопожатием. Адольф Иванович проводил их до дверей и на прощанье сказал:

– Пожалуйста, передайте кому надо, что поминки сделаем сами, семейные, без кого-либо со стороны. А они, если хотят, то сами пускай, да? Мы – сами по себе, они – сами, как-нибудь так, ладно?

– Скажем, – заверил его первый, – а вообще, не знаю, как вы держитесь ещё, Адольф Иваныч: так всё навалилось на вас, чистый кошмар: дочь, зять, внучка.

18

Это был второй день после смерти главного конструктора. Цинк, как умел, развлекал внучку, стараясь упредить любые её вопросы насчёт папы, мамы и её всё ещё больных глазок, которые она готова была задавать по сто раз на дню.

Настасья же, не отжив положенного срока привыкания к бедам, была всё ещё плоха. Она, конечно, выволакивала себя на кухню, пытаясь делать то, что обычно делала для семьи, но всякий раз, как только глаз её наталкивался на Аврошку, она начинала неудержимо рыдать и сразу же уходила к себе, выполняя строгий наказ Адольфа Ивановича. Любое слово, исходившее теперь уже от него, её затуманенный разум всё ещё не воспринимал как сказанное новым хозяином. Однако следовала она словам этим смиренно и безответно, не рассчитывая ни на какую личную самостоятельность. Всё перепуталось в голове: жалость, боль, страдание, бессонница, память о поминках хозяйки и забота о предстоящих поминках покойного хозяина, непереносимая печаль по девочкиной немощи и невозможность выказать ей сочувствие, полное отсутствие душевных сил и надобность в ежеминутном участии в любом домашнем деле, за какое ни возьмись. Разве что уходила в продуктовый и предательски, хоть чаще и невольно, выискивала повод задержаться, чтобы посидеть лишние полчаса на лавочке, одной, поплакать наперёд, сколько выплачется, и тем самым оттянуть момент возвращения в неспокойную гавань.

До этого дня жизнь её текла мерными и покойными годами, но всё перевернулось разом, считай, за несколько страшных дней, каких раньше никогда не бывало. Теперь уже главный обман её жизни, что случился когда-то от подлого жениха-паровозника, казался ей пустой и потешной пустяковиной, если поставить его в один ряд с горем, что обвалилось на её семью. Других же болей, как таковых, если откинуть материну кончину в той ещё жизни, больше не оставалось. Всё, что накопила за годы зрелости душа её, так или иначе было связано с ними, с Царёвыми, с их радостями, горестями, с их доченькой и их ракетами в дальнее небо с живыми людьми на борту или без никого.

Стране объявили новость лишь к концу второго дня, после чего началось то самое, чего так опасался Цинк. Прежде всего, валом пошли соседи, не имевшие ранее представления о том, с кем соседствовали все годы в общей высотке. Ну да, видели порой, как привозит-увозит сначала чёрная «Волга», а поздней – чёрная «Чайка» солидного дядьку в пальто, а больше – кто?

чего? – тишина. Постоянно звонили в дверь, реже – по телефону. Однако Цинк не открывал, полагая, что ничего, кроме вреда, такая навязчивая психическая атака внучке не принесёт. К этому времени уже все и не один раз отсмотрели сообщение по телевизору, прослушали Правительственное сообщение по радио, прочитали некролог, опубликованный в центральной прессе за подписью Брежнева и остальных членов Политбюро. Дальше шли секретари ЦК, маршалы, министры, академики. В общем, соседи вполне искренне готовы были идти напролом, если не получалось достичь соприкосновения с этой всенародной бедой в более интимном варианте.

Цинк почти не отпускал Аврору от себя. Вместе с ней ел, помогая внучке не промахнуться мимо рта, помогал умывать личико так, чтобы не намочить повязку, чистить зубки и полоскать рот: при этом неумолчно разговаривал, чтобы постоянно отвлекать девочку от насущного и не дать шанса лишний раз спросить о ненужном.

Много читали вслух. Начали со сказок, что изобильно наличествовали в квартире. Она слушала, иногда перебивая деда, когда ей требовалось уточнить для себя ту или иную деталь, и он старательно и подробно объяснял про то, как Машеньке из сказки «Машенька и медведь» удалось так незаметно схорониться в туеске, что медведь её даже не обнаружил. Или почему Шалтай-Болтай, забравшись на стену, заснул на ней, и вся королевская рать не смогла его потом собрать. И что такое рать, и почему она королевская.

На третий день принялись за «Капитанскую дочку», хотя и понимал Адольф Иванович, что рано ей, однако Аврошка слушала как заворожённая, забыв обо всём на свете и почти не задавая попутных вопросов. Она сжалась в кресле в комочек, подтянув под себя ножки, и, замерев тихой мышкой, впитывала в себя волшебные звуки пушкинского текста, который Цинк зачитывал неспешно и с выражением. Такое дело устаивало его как нельзя лучше.

Времени на это совместное чтение им хватило вплоть до момента, когда Правительственной комиссией по похоронам было объявлено о дате прощания страны с Павлом Сергеевичем Царёвым. Цинка предупредили заранее, и он попросил Настю раздобыть галстук для своего единственного костюма, в котором приехал. Та сходила в универмаг, купила самый простой – тёмно-серую селёдку.

Утром другого дня за ним приехали двое, в неизменно серых костюмах, вежливо усадили в машину и доставили к Колонному залу Дома Союзов, где уже был установлен гроб и организовано

прощание с покойным. Уезжая, он сказал Аврошке, что будет после обеда и чтобы она хорошенько поела, поспала и не приставала к бабе Насте со всякой ерундой. Он вернётся, и они почитают Пушкина, да? Настасье же строго-настрого запретил включать телевизор, чтобы даже духа этой траурной церемонии не было в родительской квартире – упаси Бог.

Все дни, что он до этого провёл в столице, несмотря на середину весны, были пасмурными и угрюмыми. В это же утро Москва, словно очнувшись от затяжного и надоедливого мрака, вздрогнула и словно заново высветлилась, обретя новый, свежий и неприлично оживленный вид. Выкатившееся над городом утреннее солнце залило мостовые светом, от которого глазам, уже привыкшим к затянувшемуся ненастью, сделалось больно и непривычно. Но, быть может, так всего лишь показалось Цинку из-за сотен тысяч разных человеческих лиц, ещё до начала церемонии выстроившихся в бесконечную змею, извивавшуюся от Советской площади. Многие были с цветами, на некоторых лицах читалось нескрываемое горе, но эта скорбь была светлой, чистой, и, помимо сожаления об утрате, в ней одновременно виделась надежда и благодарность. Адольф Цинк как художник не мог этого не оценить.

– Надо же… – сочувственно протянул один из сопровождающих, пытаясь сделать приятное родственнику главного конструктора, – вчера ведь ничего ещё не знали ни о каком Царёве, а сегодня вон сколько их, да с цветочками, не просто так.

– Горе общее и гордость общая, – добавил другой, открывая Цинку дверь автомобиля, – не к живому, так хотя бы к мёртвому теперь прикоснутся. Он, по сути, и прожил-то жизнь свою не на земле, а в небе, так что ещё при жизни небожителем сделался.

На Доме Союзов, перекрывая весь фасад, висел огромных размеров портрет Павла Царёва. Цинка, уважительно придерживая за локоть, провели в зал, где всё было готово. Там его усадили в полукресло неподалёку от гроба с телом покойного. С этой точки Адольфу Ивановичу было хорошо видно лицо Павла Сергеевича. Оно было спокойным и как будто ещё живым. Казалось, зять его сейчас проснётся, откроет глаза, кивнёт в сторону неба и пробормочет, потерев мизинцем кончик носа: «Пустое всё это, брат ты мой, ничего этого нам с тобой не надо… – и глянет в потолок, разделяющий его с небом, – главное не здесь, главное – там и больше нигде…»

Начиная с двенадцати потянулся народ нескончаемой траурной толпой. Цинк же, единственный из родственников умершего, сидел на стуле неподалёку от почётного караула, в

котором, меняя один другого, сначала отстояли первые лица государства. Позже их сменили другие, рангом пониже: руководители, академики, военные. Незадолго до начала церемонии каждый из них счёл своим долгом подойти и лично пожать руку Адольфу Ивановичу, произнеся слова, по большей части дежурные, но всё-таки искренние и хорошие. Люди же, простые, кто выстоял почти три часа, глядели в его сторону сочувственно, угадывая лишь, что там, куда смотрят, горе это несравнимо большее, нежели их собственное.

Цинк, как ни странно, это чувствовал. Он сидел, прикрыв глаза, и думал о том, в каком месте он совершил свою главную в жизни ошибку: когда ненавидел всех *их*, скопом, без разбора – за всё, что *они* сделали с ним, или же наоборот, не сделали, из того, что сделать должны были и могли… или когда сам же он опустил руки, прокляв всё и вся и объявив негласный бойкот тому, кого сам не удосужился лучше узнать, чтобы осознать важное и отрешиться от всего дурного, оставив кусочек места под общим солнцем для себя, неудачника и непротивленца. Странное дело, теперь ему казалось, что вся его прошлая жизнь, такая злая и путаная, будто бы медленно, со ржавым скрипом выворачивает на прежнюю дорогу, пускай изъезженную чужими колёсами и совсем разбитую. Самое страшное, что только могло изранить и довести до края любого человека, уже случилось: не успели ещё высохнуть слезы и первым слабым рубцом затянуться раны, не ослабла душевная боль, не воспрянула и надежда, потерянная и окончательно забытая. Но при всём при том нечто новое, другое, совершенно незнакомое шевельнулось в его больной середине – так, что сначала заставило Цинка лишь прислушаться, но через какое-то время он уже и сам это слышал. «Наверное, это люди… – подумалось ему в тот момент, когда всем, кто не успел проститься до 20-ти часов, продлили время прощания ещё на один час… – Это всё добрые люди, которых просто нельзя взять и отменить, как *они* отменили когда-то меня, моего отца и мои картины… Народ – это не я, народ – это все мы, это наш общий разум, наши глаза, мысли, наше доброе, которого, я знаю теперь, не меньше, чем злого, потому что доброе, как вода – оно рано или поздно найдёт себе щёлочку и прольётся, чтобы увлажнить иссохшее место и взрастить ещё немного доброты. И никакая сволочь, отдельная или намертво спаянная с другими такими же, не одолеет нас, если мы просто останемся людьми со всем тем, что отпущено нам природой и комком безвестного разума, будь он человечий, Божий или принадлежащий богочеловеку, на которого, даже если не веришь впрямую, но всё же правильней полагаться».

19

Когда его привезли в десятом часу вечера, Настя укладывала Аврору. Адольф Иванович зашёл сказать спокойной ночи и поцеловать внучку в лобик.

– А когда папа с мамой приедут? – спросила она его, закрывая глаза.

– Очень нескоро… – серьёзно ответил Цинк, – через год или два. У папы важная работа, и мама должна быть рядом с ним. Они уже сейчас рядом и просили тебя поцеловать. Вот я зашёл, чтобы выполнить их просьбу, – и снова поцеловал её в лоб.

На другой день утром чёрная машина вновь увезла его. В Колонном зале вокруг урны с прахом застыли солдаты, отдающие последние почести, и снова почётный караул менялся каждые три минуты. Траурная процессия шла до середины дня. У Исторического музея урну приняли космонавты и несли её до самого Мавзолея. Первым с трибуны говорил Брежнев, следом за ним выступали остальные, и Цинк слушал их прощальные слова, стоя в прямой близости от площадного каменного пантеона. Он вдруг подумал о том, какую странную штуку сыграла с ним судьба: вот он, провинциальный обрусевший немец из уцелевших, художник без картин, отец без дочери, дед слепой внучки, стоит сейчас рядом с первыми лицами могучего и нелюбимого им государства, с сильными мира сего, кто манипулирует судьбами стран, людей и континентов, и все они делают ему глазами, жмут руку и произносят утешительные слова в связи с безвременной кончиной того, кого он ещё недавно презирал и проклинал всей душой. И это не был бред, это не походило на абсурд – это была взаправдашняя жизнь, которая настигла и приковала его к себе, прихватив за отворот единственного пиджака.

Речи завершились. Брежнев и ещё четверо-пятеро из его ближайшего окружения отнесли урну к кремлёвской стене… Там, под грохот артиллерийского салюта они водрузили её в нишу. Потом нишу закрыли плитой. Всё было кончено. Одна жизнь Адольфа Цинка иссякла, ещё не умерев, другая – забрезжила где-то неподалёку, сигналя о возможной скорой расплате за себя же.

Вечером Настя собрала поминки на троих, так они решили сами, извинившись перед коллегами Павла Сергеевича. Впрочем, те всё поняли и приняли, тем более что поминки настоящие, масштабные, были и так у них запланированы. Поминальный стол один в один повторял предыдущий: кутья, стопка блинов под крышкой, селёдка, кисель, остальное. Разве что лишних рюмок на этот раз было две: день поминок заодно стал девятым днём

памяти Евгении Адольфовны, так уж всё печально сошлось, и Цинк подумал, что это, может, и к лучшему, лишний раз не потребуется сочинять для Аврошки сказку насчёт причин этого странного застолья, когда в воздухе пахнет водкой, никто не смеётся и не говорит лишних слов. За этим столом теперь их было трое – остатки семей Царёвых и Цинков, соединённые общим горем.

– Вкусно, – радостно сообщила Аврошка, когда Адольф Иванович, предварительно свернув трубочкой, сунул ей в рот блин с мёдом и она откусила.

Настасья молча выпила рюмку, поставила на стол и вышла из гостиной. Через минуту вернулась с мокрыми глазами, и Цинк отметил про себя, что на этот раз обошлось без звуков – опыт двойного горя и его, Цинка, неослабный контроль не прошли, видно, даром. Он молча кивнул ей и одобрительно сделал глазами. Она так же прикрыла и открыла веки, давая ему понять, что догадывается, о чём он.

– А когда мне уже глазками можно будет смотреть? – вдруг спросила Аврошка, нащупывая на столе возле себя стакан с ситро. – Вы же обещали, что скоро, а скоро уже прошло, уже началось долго. Я хочу папе с мамой поскорей картинку нарисовать.

– Думаю, что к тому времени, когда они вернутся, ты успеешь, милая, – неопределённо отозвался Цинк, – ну а если что, я всегда тебе помогу, Аврошенька, ты же знаешь, твой дедушка художник, и вместе мы сделаем с тобой всё, что захочешь.

Этой ночью он почти не спал. Думал о том, что же будет дальше, какое из событий произойдет теперь вслед за каким и какова отведённая ему роль в последствиях этой трагедии. Страха не было – он кончился, уйдя в небытие вместе с первыми полновесными заботами. Другое одолевало теперь его мысли, гораздо более неясное и непредсказуемое, чем то, что уже и так случилось. Прежде всего, нужно было научиться жить одной жизнью с невидящим ребёнком, вернее, научить свою слепую внучку существовать в невидимом ей пространстве. Параллельно с этим медленно, но методично уводить память ребёнка в сторону от родителей, хотя бы на первые годы, причём делать это максимально безболезненно для детского восприятия. Дальше придётся что-то делать и с собственной жизнью – перебираться из Караганды сюда, получать опекунство и, как это ни странно, искать работу в Москве, чтобы не оказаться в положении вне закона. Счастье ещё, что есть Настя, иначе бы путь Авроше – в специнтернат для слепых детей, где в первый день просветят, кто был папа и почему он больше не приходит домой. Из всего этого

абсолютно ясным пока оставалось одно – на жизни в Казахстане в любом случае надо ставить крест. Утром он заказал разговор с институтом, поздоровался и спросил у начальства:

– Смотрели телевизор?

С той стороны ответили без запинки:

– Приносим глубочайшие соболезнования, Адольф Иванович, с вашей невосполнимой утратой, институт скорбит вместе со страной. Если нужна помощь, только скажите.

– На двух неделях отработки настаивать станете? – осведомился он, имея в виду своё очевидное увольнение. – У меня внучка на руках, сирота.

Там помялись, но согласие подтвердили, сказали, что не станут – в виде исключения.

– Спасибо, – коротко поблагодарил Цинк, – я сегодня же дам телеграмму, «по собственному желанию». – И положил трубку.

По крайней мере, одно дело было сделано, хотя, если честно, он так и не понял, то ли раньше думал о людях хуже, чем они есть на самом деле, то ли, обретя в их глазах новый статус, просто подпадал теперь под действие неписаного закона для персон, расположенных близко к номенклатуре. Было уже плевать.

Днём позвонил коллега Павла Сергеевича, сообщил, что дело опекунства будет решено в ближайшие дни, он с одним большим маршалом договорился в ходе поминок, и тот сразу кому надо позвонил. Правда, добавил, что насчёт домработницы пока не ответили, дали понять, что дело непростое, вплоть до невозможного. Зато решение по пенсионному обеспечению сироты на лучших условиях выйдет уже днями: объяснил, кому писать под это дело заявление и что сделать ещё. А как всё закрутится – выписываться со старого места и прописываться в высотку на Котельниках.

Таким образом решались и прочие дела из основных. Бытовые проблемы, о которые он чуть не сломал себе голову, разлетелись, словно скорлупки, отщёлкнутые от ореха, раздавленного одним коротким нажатием специально созданного для этого механизма. Однако чувство неясной несправедливости всё же не отпускало. Ощущение было привычным, сама же несправедливость – новой, перевёрнутой с ног на голову, поменявшейся с минуса на плюс и потому дареная ни за что. Он не привык к тому, что так гладко, бойко и без запинок что-либо может получаться в этой жизни. Весь предыдущий опыт говорил об обратном: уже изначально он был лишенец везде, куда ни сунься и сколько мысленно ни взывай к справедливости, той самой, обычной и обслуживающей большинство людей – ведь до

этого ничто за все годы прозябания его на земле не сошлось у него ни с чем так, как тому надлежало быть.

«Выходит, – думал он, пока стоял в очереди, чтобы отправить телеграмму в Караганду, – лишь смерть самых дорогих расставила всё по законным местам, а были бы живы и здоровы, так и тух бы себе дальше на своей девятиметровой родине, продолжая вдыхать устоявшийся запах кислой браги, и точно так же, как и раньше, лицезрел бы вечно недомытый щербатый пол в коридоре, где двоим уже не разойтись».

Внутри саднило, беспокоило, на душе было неуютно. Мысли снова растекались, собираясь обратно неохотно и тяжело. Вероятно, сказалось дикое напряжение последних дней, выхода которому он позволить себе уже не мог: или постоянно пересекался с внучкой, или просто всякий раз помнил, что, дав себе слабину, может не выдержать, завалиться где-нибудь на ровном месте и больше не подняться. И тогда что – финал всему? Такого права у него не было. Начиная с этих дней, собственная смерть уже не касалась лишь одного его, зато нынешняя жизнь, в отличие от прошлой, обрела дополнительный смысл, хотя и сделала Адольфа Цинка заложником чудовищно жестоких обстоятельств. Он понимал это, как никогда раньше, и потому нужен, необходим был передых, тем более что он так и не придумал ещё, как станет отвлекать Аврошку от неизлечимой слепоты и что будет с ними всеми, когда она рано или поздно постигнет случившееся своей детской головой.

Через четыре дня, договорившись с Настей, что та присмотрит и позаботится о девочке в одиночку, он улетел в Караганду. Коммунальная квартира встретила Цинка с тем же стандартным безразличием, с каким они расстались. Запахи были прежними и даже, как показалось ему, стали ещё кислей и непереносимей. Кто-то, обнаружив его в коридоре, равнодушно кивнул, а кто-то и не заметил или сделал такой вид. Жизнь стояла ровно на том же месте, затормозив самою себя в точке возврата. Или невозврата – всё равно.

После всего, что произошло с ним, у Цинка появилось чувство, что он вернулся из космоса, но только не домой, а в некую промежуточную невесомость, в которой вакуум почему-то имеет конкретный запах, а материальные предметы весят больше положенного и потому тянут к земле сильней, чем хотелось. Тусклого света общей лампочки едва хватало, чтобы миновать длинный коридор, не задев по пути висящих на стене тазов, грубо, в два яруса сколоченных полок для всякой всячины, пожилого соседского велосипеда, и сунуть ключ в замочную скважину.

Все девятнадцать лет, что он прожил на этих убогих метрах, Адольф Цинк не прикасался к кисти. Да, он знал, помнил, что это был его выбор, его личный протест против всеобщего негодяйства, против лжецов, хамов и уродов всех мастей, против той нескладной жизни, в какую затащило его не по своей воле, и что лишь таким единственным и бездумно глупым способом он может выразить то, что чувствовал, не умея перебороть это в себе никак иначе.

Он зашёл и осмотрелся. Всё, как и прежде, было на своих местах: однако мест этих, показалось ему, теперь сделалось так мало и были они столь ничтожны, что Цинку вновь захотелось выйти на улицу, набрать в грудь степного воздуха, смешанного с ветром промышленной окраины, и долго стоять так, насыщая взгляд ландшафтами бывшей промзоны. Он вбирал в себя последний дух обитания на этой земле и думал, что пейзажи эти предназначены не для того, чтобы их писать, а чтобы они видом своим вытравливали из человека зачатки доброго и прекрасного. Вместе с тем ему было грустно и светло. Печаль шла изнутри, добирая, доскребая остатки боли в том месте, где левые рёбра вонзаются в спинной ствол. Было ещё больно, но уже терпимо. Свет же струился снаружи: зародившись где-то в занебесье, теперь он уже, пробив облака, падал, обливая фигуру Адольфа Ивановича своим ясным колером, не имеющим ни оттенков, ни смешений; он словно говорил, словно подсказывал ему путь к надежде – что именно он, Адольф Цинк, художник без имени, без судьбы и без картин, как никто другой нужен маленькой девочке Авроре Царёвой – и без него у неё не будет ничего, совсем ничего и никогда.

Все дела он свернул за четыре дня: выписался, снял со сберкнижки остатки сбережений, получил расчёт в институте, забрал трудовую книжку, упаковал два чемодана вещей, купил обратный билет, запер комнату на два оборота и на пятый день улетел в Москву, к месту новой постоянной прописки с внучкой и домработницей Настасьей Блажновой.

20

Повязку не снимали ещё около полугода. Всё это время Цинк готовил девочку к тому моменту, когда она, избавившись от неё, обнаружит, что света почему-то вокруг не добавилось, а предметы, оставаясь теми же на ощупь, не сделались ощутимыми для глаз. Он не знал и не мог знать, что последует вслед за этим, однако хорошо понимал, что должен быть готов к любой реакции. Задача его была сделать так, чтобы трагедия, уже ставшая к этому времени давней, не обратилась в новую, которая, возникнув, разом уничтожит всё то, чего ему удалось достичь за эти трудные для них обоих месяцы. Теперь он был законный опекун собственной внучки, и этот новый статус подтверждался всеми нужными документами.

День за днём Адольф Иванович приучал её двигаться всё уверенней, чтобы, постепенно привыкнув к дополнительным возможностям, девочка могла ориентироваться в домашнем пространстве почти безбоязненно. Всякий раз, когда Аврошка заводила разговор о повязке, он сажал её на колени, гладил по голове и негромко говорил, стараясь придать голосу беззаботную интонацию.

– Ну мы же с тобой хотим, чтобы глазкам не было больно, правда?

– Правда, дедушка, – каждый раз соглашалась Аврошка, – но я очень хочу порисовать, а она мне мешает.

Он снова гладил её по головке и предлагал вариант.

– А мы и так научимся, наощупь. Даже ещё интересней получится, и скоро уже попробуем, совсем скоро. Пальчиками, да?

– Как это? – не поняла Аврошка. – Пальчиками не получится красиво, акварельки ровно не лягут.

– А мы маслом попробуем, а не акварелью, – не соглашался дед, – ты будешь чувствовать рисунок кончиками пальцев, ты словно ощутишь свою же работу зрением, но только другим, внутренним.

– Это как? – искренне не понимала она.

– Это когда не только глазки, но и сердце твоё чувствует картину, как будто оно само притрагивается к краскам, к картону, к холсту, и от этого ему становится хорошо и приятно.

– А когда мы попробуем? – нетерпеливо интересовалась Аврошка, но тут же могла неожиданно вспомнить и другое, что вынуждало Цинка вновь изобретать версии одну уклончивей другой.

– А маме с папой такие мои картины понравятся, когда пальчиками и без глазок?

– Я в этом просто уверен, милая, но ты же знаешь, что они сейчас очень далеко и увидят их не скоро, а когда приедут, мы к этому времени уже нарисуем с тобой кучу картинок, и маслом, и гуашью, и воском, и ещё всяких-превсяких. Они посмотрят и скажут: вот это доченька у нас, вот так умелица, вот так солнышко наше золотое!

– У меня солнышко лучше всего получается, если апельсин рисовать, а вокруг жёлтое вместе с белым: так бывает летом, на улице, когда смотришь на него, а ничего не видно, только больно глазкам – и больше ничего.

– Ну вот! – радостно воскликнул Адольф Иванович. – Не видишь, а вроде бы и видишь, и помнишь, и отлично всё себе представляешь. Так и будем рисовать – по памяти, включив воображение.

– Это как? – попросила пояснить Аврора.

– Видишь ли, – ответил он ей тогда, – все люди разные, и мир вокруг себя они тоже воспринимают по-разному. Можно рисовать, изображать людей, предметы, природу, всё, что угодно, но не только для того, чтобы добиться полной схожести, ну, как будто это фотография нашей ракеты на стене, где всё так, как на самом деле… но художник потому и художник, что *видит* этот мир… – на этом месте Цинк запнулся, но тут же, опомнившись, продолжил, – … что *чувствует* этот мир не так, как ощущают, как понимают его все, а несколько иначе, по-своему, пропустив его через своё художественное воображение, через душу, голову, сердце… Он старается сделать так, чтобы другие люди, которые увид… которые ознакомятся с его работой, постигли красоту его представлений о ней точно так же, как и сам он. Чтобы они разделили с ним его радость от того, как он это придумал, как перенёс то, что почувствовал, на бумагу, на картон, на холст… – ему было нелегко подбирать слова, он тщательно следил, чтобы речь его не изобиловала словами «видеть», «посмотрят» и прочих, предполагающих совершиться тому или иному действию при помощи глаз… – Он снова погладил её по голове и решил уточнить для себя: – Не очень понятно, наверное?

– Нет, понятно, дедушка. Даже очень… – самым серьёзным образом отреагировала Аврора. – Ещё, пожалуйста, расскажи про это воображение.

– Ладно, раз так, – согласился, Адольф Иванович, – слушай… – он чуть задумался и продолжил: – Знаешь, ведь воображение в художественном творчестве допускает значительный отход от правды, от действительности, от того, как

есть и как быть должно, если забыть о похожести. Когда очень похоже, это тоже, конечно, возможно, это тоже мастерство и тоже искусство, но совершенно не обязательно, что это же самое понравится человеку думающему, чувствительному, обладающему развитым воображением и вкусом.

– Это как бабы Настины блинчики с творогом и сметаной? – перебила она его. – Так же вкусно?

– Даже ещё вкусней, – не растерялся Цинк, – потому что не всякую еду непременно нужно съесть, бывает такая еда, о которой вкусней говорить, чем её жевать. – Он улыбнулся. – Так вот я и говорю… если ты, к примеру, рисуешь портрет, то не самое главное в нём передать все мелочи лица, все прыщики и морщинки. Не это главное в портрете.

– А что, – заинтересованно спросила Аврора, – что же тогда главное?

– Что? Быть может, это просто сказка, которую художник сочинил для того, чтобы как можно точней передать свои переживания о том, каким он чувствует этого человека, что у него внутри, из каких кусочков он собран и чего он хочет, чтобы о нём думали другие люди. Снова непонятно?

– Нет, снова понятно, дедушка, – не согласилась Аврошка, – очень даже понятно. Ещё расскажи.

– Ну раз ещё, скажу, – кивнул он в ответ, на секунду упустив из виду, что жест его она всё равно не видит, – важную вещь скажу, а ты постарайся вникнуть в суть, ладно? – Она с готовностью кивнула. – Так вот, чтобы проникнуть в настоящее, следует от него отойти на некоторое расстояние, и чем сильнее твоё воображение, тем ярче и удачней будет результат. Для примера: если мальчик-с-пальчик в сказке совершает подвиг или просто поступок, какой совершил бы взрослый человек, то нас с тобой это удивляет больше и поражает воображение сильней, правда? – Она кивнула. – Так вот это и есть то самое отклонение от действительности, которое производит на нас впечатление ещё и потому, что так не бывает. Но так есть. И нам с тобой это нравится. Это дарит нам ещё одну радость – мы придумали себе игру, сказку, а она вдруг сделалась никакой не игрой, а самой настоящей маленькой историей, в которую мы поверили и которой насладились, увидев в ней неожиданную правду. – И снова промахнулся, употребив, «увидеть».

– А как же без глазок увидеть, что я сама нарисовала? – удивилась она, внимательно выслушав его.

– Душой, – не задумываясь, отозвался Цинк, – сердцем и душой, и никак иначе, потому что сам человек может быть маленьким, а душа его будет большой и доброй, согласна?

– А душа – это что?

– Душа – это и есть твоё внутреннее зрение, – не задумываясь, отбился Цинк, – как у Фоксика твоего, у летучего мышонка, помнишь, которому солнце обожгло глазки, но он всё равно научился видеть? Душа – то самое, что живёт в нас, в самой потаённой серединке, что смеётся и плачет вместе с нами, когда нам хорошо или когда нам больно. Она постоянно подсказывает нам, как достичь гармонии в жизни, как научиться жить так, чтобы не думать о плохом, как извлекать радость из каждого прожитого дня, из каждого сказанного тобой слова, из каждого мазка, нанесённого пальчиком или кистью, даже если этого не видят твои глаза… – Цинк говорил, продолжая механически гладить Аврору по голове, ощущая на своих коленях исходящее от неё родное детское тепло; он думал о том, как рождаются в нём, откуда берутся эти странные звуки, складывающиеся в правильные слова, которых он прежде не знал и никогда не произносил, и как сам он ещё недавно жил целиком вразрез с теми смыслами, которые сейчас в них вкладывал.

– А душа только у художников есть, – вдруг спросила Аврора, – как у нас с тобой? Или у любого доброго человека, как наша баба Настя?

Адольф Иванович улыбнулся. Вопрос был неожиданный, но после его слов уже вполне закономерный.

– Душа есть у всякого человека, – пытаясь сохранить серьёзность, ещё раз попробовал объяснить Цинк, – просто у художника она чаще болит, потому что сделана из очень-очень тонкого материала, почти что из чистого невесомого воздуха. У других же, кто чувствует разные вещи не так остро, как мы с тобой, она, как правило, чуть тяжелей и не такая ранимая. Так что готовься, милая, что придётся немножечко приспособиться к этой самой душе и постараться сделать так, чтобы ни ты на неё, ни она на тебя не обижалась, договорились?

21

Почти сразу, как вернулся из Караганды, он нашёл себе работу. Времени она у него отнимала немного, но главным её достоинством стало не это. Теперь ему, чтобы попасть на службу, достаточно было спуститься на лифте с 25-го этажа, пройти сотню метров в сторону от подъезда до левого крыла здания и войти в помещение кинотеатра «Иллюзион», расположенного здесь же, на первом этаже их респектабельной высотки. В тот день, когда это началось, он, обнаружив на фасаде кое-как намалёванный плакат с очередным фильмом, просто зашёл, спросил директора и сообщил, когда та спустилась:

– Моя фамилия Цинк, я художник, живу в этом доме, и знаете, мне бы очень хотелось, чтобы ни вам, ни мне не было стыдно за такую работу, – и кивнул за окно, имея в виду плакат перед входом.

– Да он у нас вообще-то ничего, но сильно пьющий, – вздохнула директриса, – но и вы меня поймите правильно, товарищ Цинк, где я на такую зарплату нормального найду, надёжного, чтобы и умел, и не пил, и с подходом?

– Я не пью, – заверил её Адольф Иванович, – совсем, – и на всякий случай уточнил, уже скорее в силу выработанной с годами привычки, чтобы уже на этом предварительном этапе не выдать себя с головой, – зовут меня Адик, а подход – не сомневайтесь, останетесь довольны.

Он вышел на работу через две недели, которые потребовались для того, чтобы рассчитать его предшественника. Денег и на самом деле было мало, но себя он ненавидел не за это – за то, что с его, получается, нелёгкой руки человек, которого он не знал и даже никогда не видел, лишился какого-никакого, но привычного для него труда. Однако мучительство его в самое короткое время было копменсировано неограниченным доступом к краскам, полному набору художнического инструментария и всем остальным сопутствующим материалам.

Первую работу Адольф Цинк сделал быстро и чрезвычайно достойно, так что директриса глянула и ахнула. «Броненосец «Потёмкин» в лучших традициях гиперреализма рассекал морскую гладь, взметая после себя бураны революционного бунта и одновременно поднимая флаг матросского непокорства. При этом дымы, валившие из всех трёх труб, были трагически чёрными, но окантовывались заметно размытыми белёсыми нимбами. На всё ему потребовалось два часа: четверть времени ушло на обдумывание, оставшиеся девяносто минут – на

исполнение.

Он писал впервые за девятнадцать лет, отнятые у него неизвестным врагом. Работал, дрожа от нетерпения и страсти, напомнивших ему те волнующие минуты, когда он, как и теперь, дрожал когда-то перед первой близостью с Верочкой, так и не ставшей ему женой, как приближал себя к долгожданному моменту, когда она, раздевшись догола, уже окончательно и навсегда сделается его женщиной. Это было удивительное чувство. Точнее, теперь уже оба они были для него такими: то, прошлое, до конца так и не забытое, и это нынешнее, восставшее в памяти его, в руках, в движении кисти, в работе мысли, в том, как прицеливался глазом, уже прикидывая композицию, и то, как лягут краски и какой придётся добавить, чтобы ослабить основную, которая и станет несущим цветом плаката. Ему казалось, что из него, как из упрямого алкоголика с многолетним мученическим стажем, некто добрый и участливый одним движением вырвал вшитую некогда антинаркотическую капсулу, тем самым освободив его от обета, данного злой воле, лишившей его когда-то кисти и холста.

Ну а на объявления, касавшиеся курса лекций, типа «Кинолекторий Госфильмофонда», «Актёр в кино», «Киноискусство стран и народов мира» на деле уходили даже не десятки – просто минуты. Тушь, перо, прищуренный глаз.

Иногда он приводил с собой внучку, когда знал, что управится быстро и это маленькое путешествие её не утомит. Повязка её была больше формальная, и по размеру и по существу, поскольку ничего уже не меняла и никак не влияла на зрение девочки, вернее, на его полное отсутствие. Цинк же относился к этому весьма строго, следя за тем, чтобы Аврора ненароком не сорвала её и тем самым не обнаружила раньше времени факт собственной слепоты. Он делал это исключительно с целью оттянуть, насколько получится, тот момент, когда уже больше не сможет удерживать внучку от затянувшегося обмана. Однако он при этом рассчитывал, что такой объёмный по протяжённости кусок жизни, когда полностью отсутствует зрение, вынудит её так или иначе привыкнуть к новому положению вещей, и переход девочки в постоянную слепую жизнь не окажется столь болезненным.

Он не знал, но он так чувствовал, ему так виделось и он надеялся, что сумеет подготовить её к этому. Он предполагал, что затянувшаяся ложь станет ей во благо и не добавит новой травмы. Врач, которому он её показал, исходя из соображений практического порядка, что лучше перебдеть, чем недобдеть, имеющийся диагноз, разумеется, подтвердил, однако заметил,

что, на его взгляд, остаётся более-менее чувствительная область в левом глазу, где небольшая часть роговицы подверглась ожогу в меньшей степени по сравнению со всей остальной поверхностью, и что у него есть ощущение, что некоторая часть света будет этим глазом восприниматься. Света – уточнил он, но не видимости, не изображения и даже не контура предмета. Можно говорить лишь о некоторой вероятностной области световой размытости, в которой тёмное и светлое вполне могут фиксироваться локальным остатком роговой оболочки, не полностью утратившей чувствительность. Это, однако, не отменяет бельм на обоих глазах и не улучшит уже неисправимых изменений расположения век – что же вы хотите, уважаемый, 4-я стадия – это серьёзно, серьёзней мало что бывает. А итог, и от этого, к несчастью, никуда не деться – так называемая гражданская слепота.

– Почему гражданская? – удивился Цинк. – Разве это как-то связано со званием гражданина?

– Ну что вы, – пожал плечами доктор, – гражданская означает всего лишь бытовая, практическая, понижение способности зрительного анализатора до уровня, не позволяющего заниматься большинством видов профессиональной деятельности. Ну и, кроме того, как сами понимаете, все эти ограничения в передвижении, самообслуживании, ну и прочие неприятные добавки.

«Стало быть, есть гражданские слепцы, как моя девочка, – неожиданно подумал Адольф Иванович, выходя из кабинета глазника, – а есть и душевные, как те, кто отнял у меня мою жизнь, но есть и просто граждане, такие, как сам я, никчемный и никому не нужный гражданин Цинк, всё ещё не потерявший зрения вопреки своему паскудному гражданству, но так толком и не научившийся помогать одним, противостоять другим или же сделаться в этой жизни кем-то настоящим, о ком самому себе было бы не противно думать и кто бы не заслуживал презрения.

Свою работу в кинотеатре Цинк исполнял честно и в срок, при том, что, делая её, не испытывал неприятного чувства, которого изначально опасался. А иногда получалось даже с некоторым удовольствием, и редко – с абсолютной отдачей, если можно так рассуждать о качественном, но вполне ремесленном изготовлении художественного продукта. Однако в любом случае не работа занимала его мысли. Теперь он думал о том, что, наверно, следует потихоньку готовить девочку к постижению навыков ориентирования в незнакомом ей пространстве, о том, что в скором времени ему надо будет ближе ознакомиться с правилами обучения слепых детей буквам, чтению и всему прочему, чем обычно обставлена жизнь незрячих, как и выяснить

для себя, с чего правильней начинать и как развивать своего ребёнка так, чтобы свести ущерб от потери зрения к наивозможнейшему минимуму.

До истечения года, который он назначил себе и внучке в качестве предварительной галеры, которая, будучи заряжена надеждой, всё равно никогда не пристанет к сухому берегу, оставалось всего ничего. Каждый день, приближавший момент злой истины, страшил его. Хотелось посоветоваться, но он не знал, с кем. Настя, продолжавшая верно служить дому, оставалась всё той же преданной, тёплой и единственно надёжной опорой его делам: это если не говорить о том, как безумно любила она и жалела Аврошку, сделавшуюся ей натурально родной внучкой. Однако при всём при этом Цинк, продолжая использовать её заботу и доброту, предпочитал держать Настасью чуть в стороне от решений, касающихся главных внучкиных дел и принимаемых только им самим. Та, правда, и не рвалась советовать: для неё, как и раньше, главным было накормить, помыть, уложить, сводить в туалет, проследив за тем, как девочка справляется со всеми своими делами, и, если что, лишний раз помочь в промежуточных трудностях.

Вскоре после того, как улеглись первые семейные боли и миновал сороковой день от смерти Павла Сергеевича, он положил ей зарплату. В тот вечер они, почти незаметно для себя, уложив Аврошку, тихо посидели на кухне вдвоём, приняв по рюмке-другой и помянув добрым словом хозяина квартиры. Незадолго до того то же самое исполнили и в память покойной хозяйки. Цинк не плакал и в тот раз, и в этот, просто пожёвывал губу, бесконечно протирал стёкла очков и больше молчал. Она же всплакнула, но уже не так надрывно, без обычного погружения в тему жизни и смерти и без потери лишнего запаса сил.

Всё было решено, оформлено и выложено в некую условную постоянность. Непредвиденным же оставалось последнее и главное – Аврошкины глаза: как ей жить дальше, и что оба они могут для неё сделать. Такая неопределённость казалась обоим куда более важной, чем понимание того, что рано или поздно придётся сказать девочке правду о папе и маме. Но тут, правда, оба они догадывались, что детская память, хотя и липкая, но короткая, и если обоим вести себя так, чтобы Аврошкины вопросы о родителях становились со временем более и более редкими, хочешь-не хочешь, воспоминания станут медленно убираться памятью. И когда придёт срок сообщить правду, то правда эта будет воспринята детским разумом уже как простая и не чрезмерно болезненная данность. Главное – не сговариваясь, решили оба – окружить её теплом и заботой, той самой, которая

смогла бы полноценно подменить родительскую и быть оцененной ребёнком как добротный заменитель материнской и отцовской любви.

От зарплаты Настя отказалась категорически, сказала: я и так приживалкой тут на всём готовом, какие деньги ещё, вы чего, Адольф Иваныч? У меня же нет никакой другой жизни, отдельной от вашей, и родней вас нету никого, вы чего ж хотите, чтобы я теперь отделилась в ехидны и продолжала не за совесть, а за рубли эти? Так они мне не надо, потому что если не вы с Аврошкой, то лучше уж тогда в яму чёрную, насовсем, мне тут одной делать нечего и не для кого.

– Ладно, – ответил он ей тогда, не умея устоять против её убийственных доводов, – ты знаешь, куда я кладу деньги, и если понадобится что-то помимо хозяйственных нужд, бери и не спрашивай, так будет справедливо, Настенька.

Это был тот редкий случай, когда он так её назвал. До этого чаще звал Настасьей, а реже – ещё проще – Настей. Она же его – неизменно уважительно, по имени-отчеству, и он не возражал, принимал так, как это образовалось между ними ещё в самом начале. Уже потом, спустя годы, она додумалась, что именно тогда, сразу после того поминального вечера и постучалось к ней в грудь что-то новое, особенное, исправно вслед за тем просящее подкормки, опасливо царапающее серёдку то волнующим, а то сразу томным и приятно тайным, даже несмотря на не утихшую ещё, не отлежавшуюся, как надо, общую беду.

22

В день, когда Авроре Царёвой исполнилось четыре года, он написал её портрет. Дома, в кабинете. Теперь у них было так: внучку они с Настей перевели в родительскую спальню, решив, что только она в семье имеет полное право поселиться там. Палисандровый столик Ивана Карловича, на котором она когда-то рисовала, переехал туда же. Сам же Цинк остался в кабинете, куда вернул письменный стол Павла Сергеевича.

Он усадил Аврошу в кресло, раздвинул шторы, запустив в кабинет как можно больше дневного света, и попросил быть естественной, приняв позу, которая ей покажется удобной. Решил, что писать будет темперой и так, как есть, с повязкой на глазах, потому что так будет правильней и честней. Когда-то, ещё в Каражакале, он писал портрет её матери, Женюры, тоже темперой. Тогда она, правда, была ещё грудничком, и сегодня уже не было ни самой её, ни того портрета, уничтоженного варварами. И всё же он не забыл тот детский носик с крошечными ноздрями, её губы, веки, бровки, лобик, глаза – всё вдруг стало лепным, скульптурным, с внятно очерченными, утратившими предыдущую размытость линиями; лицевой рельеф собрался в абсолютную законченность, взгляд маленькой дочери приобрёл иную осмысленность, также непривычную и удивительную ему. Он не стал больше вспоминать те детали, сразу начал с этих и тут же увидел всё, как и в тот раз, заново постигая то самое, что всегда искал в портрете, но к чему не возвращался столько лет, исполняя данный себе обет. И снова был удар, моментальная экспрессия, всплеск, пятно, образ, где скупыми крупными мазками схвачено самоё существо его маленькой модели, его Аврошки: настроение, характер, эмоции, мимика и даже эта чёртова повязка. Три цвета, четыре краски – коричневый, розовый с серым, чёрный. Плюс белила, особняком, чтобы уже работать с каждым цветом в отдельности.

– А как я увижу, что ты написал, дедушка? – спросила она, когда он закончил. К этому вопросу он был готов. И ответил:

– А мы его пока отложим, милая, и, когда твои глазки научатся чувствовать фактуру поверхности лучше, тогда вместе и посмотрим, что у меня получилось.

– Какую фактуру? – не поняла Аврошка. – Это что такое?

– Это то, с чего мы с тобой начнём, – пояснил Адольф Иванович. – Ещё чуточку подождём и начнём наши уроки рисования.

Тогда он, помнится, выкрутился, ему удалось ещё на какое-то

время оттянуть её неуёмное желание поскорей разделаться с надоедной повязкой, чтобы снова жить наполненно и беззаботно, так, как было раньше, до того ужасного пожара, после которого ей перекрыли глаза тканевой полоской. Теперь это была не повязка, а бинтовые квадраты, закреплённые лейкопластырем вокруг её глаз. Но в любом случае Цинк отчётливо понимал, что время обмана затянулось: ещё совсем немного – и скорее всего девочка просто перейдёт в состояние устойчивой депрессии, окончательно сообразив, что игра, которую против неё затеяли, нечестная и несмешная, а любовь к ней, которую неустанно демонстрирует дедушка, тоже является частью этой нехорошей и обманной придумки.

В итоге, покрутив так и сяк, Цинк принял решение добавить ещё полгода к тому дню, когда он писал её портрет, после чего снять бинты и – будь что будет. Попутно мыслям этим теплилась надежда, что следующей по счёту версии, которую он изобретёт для Аврошки, хватит ещё на сколько-то, быть может, на год, но дальше всё равно придётся открыть внучке ужасную истину. Как сделать при этом, чтобы известие о слепоте не сокрушило её напрочь, он не знал, однако одну вещь сознавал совершенно точно – всякая, будь она его самого или чья-либо ещё, жалость к девочке должна лежать исключительно в области личных переживаний сочувствующего. Ей же он не даст ни единого шанса, чтобы ощутить собственную ущербность, утратить интерес к жизни и веру в себя, сделавшись пассивной, обречённой на вечную хандру особой, всё больше обретающей с годами болезненно-дурной характер. Вот только как этого добиться, как?..

Всё то время, пока Адольф Иванович, не находя себе места, день за днём обдумывал стратегию предстоящей жизни, Настасья медленно вживалась в новую для себя роль в семье, которую в сложившихся обстоятельствах даровала ей судьба. Год, что прошёл со дня смерти хозяев, к собственному её удивлению, не стал столь мучительным и ужасным, как она ожидала в начале. Ей казалось, что с уходом Павла Сергеевича и Евгении Адольфовны кончилась и её собственная жизнь, уже изначально мелкая, а в сравнении с хозяйской просто ничтожная и никакая. Но именно этой жизнью она жила, и другой всё равно не было. В семье её любили и жалели, об этом она точно знала и, как умела, всякий раз старалась доказать свою ответность, угождая, упреждая и исчезая с глаз долой в те минуты, когда, как она чувствовала, лучше держаться поодаль, чтобы своим чрезмерным присутствием не делаться помехой жизни Царёвых.

С одной стороны, так и было: место своё она знала, хотя об

этом никто её не просил. С другой же, если взглянуть трезво, чувствовала и немалую в себе нужду со стороны хозяев, несмотря на имевшуюся у тех лёгкую возможность в любой момент выкинуть её на улицу, заменив другой старательницей, помоложе, не такой дикой, да ещё при каком-нибудь французском наречии. Это уж не говоря, что и без проживания на общих метрах. Однажды, прибираясь, слышала, как Евгения маленькой вслух читает, про Дубровского: так там у них про нянь каких-то разговор шёл, чтобы по-французски всё было и с грамотным подходом к ребёнку. Она и подумала, вернувшись к себе, что, может, держат её до времени, а после поменяют на какую-нибудь такую, поновей, и куда она пойдёт тогда в услуженье, к кому?

Теперь же печальное положение, в котором оказалась Анастасия Блажнова, в каком-то смысле укрепило в ней веру в собственную нужность, добавив сил и вернув часть жизненной энергии, потраченной на преодоление горя. Если Аврошенька, начиная с первого же дня, стала для неё родной, своей, любимой и желанной, то взаимоотношения с отцом покойной Евгении складывались довольно медленно, ото дня ко дню, с лёгкой настороженностью и ожиданием любого подвоха – с её стороны, и прохладной уважительностью и взглядом насквозь, без задержки на предмете – с его.

В тот день, как он появился в крематории, суховатого сложения, аккуратного вида и с нескрываемой тоской за круглыми очками, она, само собой, не могла знать, что в скором времени ей придётся жить с этим человеком под одной крышей. Что именно он, этот странноватый на первый взгляд мужчина, станет для неё Павлом Сергеичем и Евгенией Адольфовной в одном лице. Уже потом, спустя месяц-другой, когда стало чуть полегче, но основная боль всё ещё не отпустила, она начала пристальней вглядываться в нового жильца. Насчёт того, чтобы встречно своему женскому вниманию получить хотя бы малую толику мужского интереса, речь не шла, не из того оказался материала сделан этот Адольф Иванович, художник из бывших немцев, каких, как ей запомнилось, когда-то раскулачили и сослали в степные места, где и она проживала при разъезде Тара-Тюм. Тот машинист, кстати говоря, который явился завалить её сразу после своего помощника, тоже из немцев был, хоть и действовал как истинно русак, без никаких там цирлих-манирлих.

Цинк и на самом деле, при всём его неслабом мужском начале, волнующем кровь сильно, но всегда незаметно, не особенно всматривался в Настино женское, видя в ней лишь преданную помощницу Царёвых, надежную в делах и отзывчивую

на общую беду. Она, несомненно, была милой, как обладала и несколькими другими приятными качествами. Однако думать о ней как о полноценной женщине в голову Адольфу Ивановичу не приходило. Имелось в виду, потом уже, спустя месяцы и больше после страшного события. В первые-то дни, что пришлись на Женюрину гибель, он вообще мало что замечал, механически кивая «да» или «нет», или же просто читая дочерины рукописи, прикрыв за собой кабинетную дверь и не выходя даже минимально поговорить с ней. Она всё понимала, страдая не по этому поводу, но всё же чем-то Цинк этот пришлый её зацепил, как-то удалось ему, самому того не ведая, добавить малую царапину к уже имевшейся открытой и незаживающей ране, что образовалась сразу и надолго.

Потом более-менее улеглось: боль заметно утихла, да и у неё всё определилось и наладилось с новым хозяином жизни. Они будто подписали негласный договор о разделении в семье власти и полномочий сторон, которыми ей предписывалось жить как прежде, служа верно и с полной самоотдачей, ему же – взять на себя заботу и попечительство не только над внучкой, но и над ней самой, оставленной им при больном ребёнке теперь уже навсегда.

Именно тогда, как немного успокоилось, и обрела Настя Блажнова окончательную уверенность в завтрашнем дне, какой раньше для себя отчётливо не имела. И деваться им теперь друг от друга было некуда точно так же, как и от Аврошкиной слепоты.

Тот факт, что она женщина, Адольф Иванович стал замечать лишь к концу первого года жизни под общей крышей. Он по-прежнему вёл себя с ней безукоризненно вежливо, и оба отлично понимали, что если даже он и обращается к ней на «ты», получая в ответ уважительное множественное число, то это ровным счётом ничего не значит, это всего лишь привычная форма речи, а не обидное выпячивание командирства в стенах этой высотной не по рангу квартиры.

Привычным образом он просто продолжал считать себя старше, не сравниваясь умами и не меряясь возрастом. Да и сама она не казалась ему пожившей, хотя имела вид, подходящий скорее милой и скромной тётке, чем призывно заманчивой женщине средних, с небольшим довеском, лет.

Настя и на самом деле принадлежала к тому довольно редкому сорту женщин, на которых время, отыграв положенное, оставляет гораздо меньше следов, чем предусмотрела природа. Отсутствие лишних морщин, что на шее, что вокруг глаз, скульптурно очерченный подбородок, талия, какая-никакая, но так и не переросшая с годами в очевидный живот, прямые, почти без признаков седины, волосы, непременно стянутые к затылку и

по обыкновению тускло поблёскивающие здоровым природным естеством… – всё это, неудачно закамуфлированное нелепой фиолетовой юбкой грубой выделки, такой же нелепой кофтой какого-то ошпаренного цвета и бесформенными тапками времён хана Батыя, максимально способствовало сокрытию той природной щедрости, на которую та не особенно и поскупилась.

То, чего когда-то не слишком усваивал глаз Павла Сергеевича, мысли которого постоянно были заняты бесконечными проблемами запусков и аварий, сходу подмечал подслеповатый, но художественно устроенный глаз Адольфа Ивановича. Однако выводов от этого обнаружения не следовало никаких: Настасья была модель и всё, простой, незатейливый объект для делания портрета, если бы таковой понадобился кому-то с непонятной целью. Порой ему нестерпимо хотелось остановить её, поправить дурацкую кофту, чуть завернув у той непомерно длинные рукава, чтобы открыть руки, вполне себе красивые и даже без начальных признаков увядания кожи, о чём Настя наверняка не подозревала. Или же скинуть с её плеч широченный малахай без рукавов, оставшийся ещё от матери, который она в холодную пору набрасывала на себя для согрева тела.

По существу, и Павел Сергеевич её не видел. Будучи в одежде, она больше исполняла привычную домашнюю функцию в то время, когда ему было уже не до неё или ещё не до неё. Впрочем, и обнажённым, когда они сближались на короткий отрезок его желания, он замечал её тело только в первое время. Затем перестал делать и это, окончательно закрепив за собой право пользоваться им в силу внезапной мужской нужды. Со временем Настя и думать об этом перестала, понимая, что коль уж следить за собой по этой части, то главное дело, не за всей одёжей целиком, а преимущественно за ночными рубашками, в каких она явится, если что, на зов хозяина-благодетеля.

Иногда Цинку, в редкие минуты очередного приступа художественного воображения, мечталось не только подвернуть Настасье рукава или вытащить из её волос дурацкий гребень, но как бы и выкроить всю её заново, целиком, от и до, иначе причесав, одев, обучив другой пластике, после чего выпустить на волю и уже воспринимать результат как дело рук своих, не претендуя, тем не менее, на авторское право. Так вообще устроен был глаз его, сравнивающий, выискивающий гармонию там, где её нет, но где с лёгкой и неравнодушной руки художника она вполне могла быть достигнута.

Противоречивые чувства, изначально поселённые в Адике Цинке, не боролись, сталкиваясь одно с другим, лишь в пору его

детства и отрочества, когда те, кто назначил его тайным фашистом, ещё не успели войти в его жизнь, потому что пока не знали, что он, Адик, отец его Иван Карлович, его дед Карл Фридрихович, и такие, как они, окажутся врагами и ненавистниками православного народа. В ту пору он и сам ещё не задумывался – просто рисовал, писал, творил, ходил на болото, в поле, в лес. А потом всё изменилось – так резко, что он не успел к этому приготовиться, сделавшись необъявленным изгоем раньше, чем окончательно вызрел и поумнел. Уже потом он понял, что в какой-то момент сбился его прицел, что поиск гармонии, к которой стремилась душа его, отвернул чуть в сторону, спутав карты и нарушив общий строй движения по маршруту, изначально избранному и единственно стоящему.

Да, он видел её, Настю, но и не только видел – невольно наблюдал за ней, избрав вполне нейтральный художественный ракурс и не имея в виду чего-то ещё, что бы выходило за рамки его мимолётной жалости к ней. При этом понимал, что Настасья вовсе ещё не стара, но ужасно одинока, что с уходом Царёвых в жизни у неё не осталось совсем ничего, если не брать того неподдельного чувства, которое она питала к его внучке. А ещё он знал наверняка, что теперь они неразрывно связаны друг с другом крепчайшими канатами, которые скинули им откуда-то сверху с уже готовыми петлями и узлами. Однако подобные мысли, насколько бы разумными и оправданными ему ни казались, всё равно не приводили Цинка к тому или иному поступку в отношении домработницы. Он был сам по себе, она – сама по себе, и оба были при девочке, при сироте, его внучке.

Настя же иногда, когда ей случалось непреднамеренно столкнуться взглядом с Адольфом Ивановичем, успевала заметить, как мимоходом, не больше, без какого-либо замедления, скользили по ней его глаза, – просто меняли одну точку на другую, не оставляя при этом следа. Пару раз после таких непреднамеренных пересечений она обнаруживала в себе незнакомое прежде чувство, довольно неудобное, из тех, что рождаются не сразу, а лишь по прошествии времени. Поначалу она не могла разобраться в природе таких ощущений, а потом догадалась – это была ранее незнакомая ей злость, в самом зачаточном и осторожном виде. На что злилась, на кого обижалась – не понимала: по большому счёту, кроме как на саму себя, дурищу и совершенную неумеху по части взаимного перекрещивания в отношениях с мужчинами, держать обиду было не на кого. Но после того, как ощутила это неудобство, начались и другие, следующие по счёту, которые в итоге и довели её до поступка, на который она, изрядно измучив саму себя, всё же

решилась.

«Может, – подумалось ей, – эта неспокойная истома, эта тянучка изнутри, что кишки поедом ест и не даёт нормально делать дела, и есть чувство к мужику?» Но с Павлом Сергеевичем у неё подобного не было, это она помнила. Шла к нему, готовая, но по-другому. Тот был Бог, которому она служила и шла доказать преданность свою пускай даже через кроватное дело, как ещё один способ указать себе на своё же место при нём и заодно сделать ему удобно. И не потому, что самой так уж хотелось оказаться в хозяйской постели, по-женски, а просто чувствовала, что обязана, что надо предложить ему такое, хорошее или плохое, а там уж пусть решает, надо ему или обойдётся и так. Не обошёлся, завис на десяток лет и ни разу не сказал, что, мол, хватит, милая, набаловались, устал я от тебя, надоели мне твои женские прелести.

Тут было другое, совсем. Цинк этот не был Богом, как тот, но зато он был красивый и выдержанный мужчина нестарых лет, обделённый в жизни счастьем, как и сама она, и жалеть его после смерти Евгении стало больше некому. Жалость ли эта породила её любовный зов, или такое произошло с ней само по себе, без специальной причины, или просто потому, что тосковала по мужчине рядом с собой всю свою нелепо прожитую жизнь, она не задумывалась. Знала лишь, что если не пойдёт к нему, то сам он к ней не придёт. Будет, может, думать про такое, но только первым не сдвинется, слишком уж воспитанный и благоразумный. Другой бы уж, наверно, давно закинул, коли живут днём и ночью под одной крышей, но только она бы сама послала такого другого, куда надо, применив полный набор объяснительных выражений. Вот только всё складывается так, что не она, а саму её послать могут в то самое место, какое ей же и причудилось.

23

Шла к нему, предварительно высчитав для себя верный промежуток, когда уже будет ощутимо поздно и свет в его кабинете погаснет, но сон ещё не наступит. Именно в такое время человек, утомившись за день, пребывает в лёгкой дремоте перед тем, как в последний раз сомкнуть веки и провалиться в ночной туман. Как и 14 лет назад, её опять трясло снаружи и лихорадило изнутри, когда через полчаса после того, как новый хозяин Адольф Иванович Цинк пожелал ей спокойной ночи, она осторожно, в одной лишь ночнушке, почти насквозь прозрачной, вошла к нему в кабинет.

Она так и не поняла, успел он к этому времени заснуть или, прикрыв глаза, всё ещё думал о чём-то своём – наверно, как всегда, об Аврошке. Как и с Павлом Сергеевичем, Настасья присела на край его кровати, поправила рубашку, одёрнув подол максимально к низу, и положила руки на колени. Было темно, и слабого света от рубиновых кремлёвских звёзд, вползающего в щель между задёрнутыми шторами, было достаточно, чтобы увидеть Цинка, лежащего на спине и закинувшего руки за голову, но не понять того, спит он на самом деле или просто тайно наблюдает за ней сквозь неплотно сжатые веки. Дальше она не знала, что делать. Храбрость её, которую она принудительно взращивала в себе почти трое суток, испарилась в один короткий миг, и навалившийся страх перед тем, что сама же учудила, обуял Настю уже по-настоящему, со всеми вытекающими последствиями.

Ничего такого, однако, не понадобилось. Он всё сделал сам. Неожиданно открыв глаза, протянул руку, взял её за локоть и притянул к себе. Сказал:

– Я знал, что рано или поздно это случится. Спасибо, Настенька, что ты взяла это на себя, я бы, наверное, сам никогда не решился.

Странное дело, сейчас он был уверен, что не врёт ей, ему вдруг показалось, что он всегда об этом думал, хотя, если напрячь мозги, то даже в этом случае он, скорей всего, не припомнил бы такого намерения насчёт Насти. Зато теперь стало ясно, что до этой минуты всё было ошибкой, которую они сейчас вместе исправляют. И неважно, кому из них пришло это в голову первому. Теперь всё было правильно, так, как и должно быть: без недомолвок, сомнений и откладываний на потом.

Она вложила свою ладонь в его, и Цинк, приподняв край одеяла, притянул её к себе. Сначала они просто полежали вместе,

телом к телу, согревая друг друга и привыкая к новым ощущениям. Затем он осторожно погладил её по обнажённому плечу, удивляясь гладкости её кожи и тому, насколько ладно слепленным оказалось её тело. Раньше он этого не замечал, вернее, до этого дня вместо неё самой перед глазами у него мелькала усреднённая женская фигура, домашний образ, почти неслышный и очень полезный для жизни в одном пространстве.

– Ты этого давно хотела? – спросил он, чувствуя, как внутри у него нарастает желание.

– Я боялась, – всхлипнула Настя, и только теперь он обнаружил, что всё это время она неслышно плакала.

– Не надо, милая, – он чуть сильней прижал её к себе и погладил по спине, ощутив на этот раз, как она задрожала всем телом. – Теперь всё будет хорошо, мы вместе, вдвоём, нам будет проще жить и поднимать Аврошку, да?

Она кивнула, шмыгнула носом и прижалась губами к его шее.

Потом он взял её так, как ей всегда мечталось: нежно, не спеша и крепко-накрепко вжавшись телом в тело. Павел Сергеевич делал всё не так, он предпочитал объятья жёсткие, очень мужские, но не тесные, без излишней мерихлюндии, как сам же потом говорил, беззлобно посмеиваясь, когда просматривал утреннюю газету по редкими выходным дням. Но она прощала ему любое, чего бы он ни надумал. Это уже потом, когда в доме появилась Евгения Адольфовна, Настя, ненавидя себя за такое, несколько раз пробиралась в темноте, чтобы замереть у двери хозяйской спальни и вслушаться в доносящиеся оттуда звуки их любви. Эти звуки были другие, не те, которые были между ней и Павлом Сергеевичем: эти были правильные какие-то, честные, любовные, пронизанные полнотой взаимной нежности и удвоенные обоюдной страстью. Тогда она страдала, особенно в первое время, не успев ещё привыкнуть к такой его резкой перемене в отношении к ней. Он же вёл себя так, будто ничего не случилось и ничего промеж них до этого не было никогда. Сказал, вот, мол, твоя будущая хозяйка, и давай смотри, чтобы она всем осталась довольна, и постель постели посвежей. Да, и свечечек раздобудь на стол, чтоб не хуже Нового года вышло.

В тот день она не ушла от Цинка, как делала это каждый раз после того, как Павел Сергеевич насыщался её телом и с лёгкостью отпускал, чмокнув на прощанье в лоб. Эту ночь они спали с Адольфом Ивановичем вместе, так и не расставшись до утра. Более того, вжались один в другого, сложившись «ложечка в ложечку», и в таком положении заснули, каждый со своими тайными добрыми мыслями.

ЭПИЛОГ

Они расписались через год, и Настасья Блажнова стала Анастасией Цинк. Сразу после этого супруги Цинк переехали в бывшую спальню Царёвых уже для окончательно совместной жизни. Оба решили, что теперь можно, что таким своим законным поступком они уже не нарушат ни приличий, ни памяти Аврошкиных родителей.

С того же дня кабинет стал местом времяпрепровождения Адольфа Ивановича и его внучки, а девочка заняла освободившуюся после Настасьи комнату. Да и сама баба Настя за прошедший год успела перейти в разряд настоящих бабушек – именно так и стала Аврошка её называть, быстро и с удовольствием привыкнув к этому приятному для уха родственному слову.

Они снимали ей повязку вместе, бабушка и дедушка. За исключением небольшого светового пятна, выловленного левым глазом Авроры Царёвой, никакого другого света не обнаружилось. Всё остальное было либо мутно-серым, либо беспросветно чёрным. Но, как ни странно, девочка отчасти к этому была готова. Все те месяцы, пока Цинки готовили её к удалению наглазных бинтов, Адольф Иванович занимался с внучкой рисованием и лепкой из пластилина. За это время он изучил массу тематической литературы и пособий для работы со слепыми и слабовидящими детьми, консультировался со специалистами, посещал специальные отделения и школы для обучения детей, утративших зрение, он вникал в особенности детской психологии, вычислял правильных детских психологов и выслушивал их, после чего сопоставлял их слова с советами других и делал собственные выводы. И всё для того, чтобы максимально скомпенсировать потерю зрения своему единственному ребёнку, дав Аврошке шанс продолжить воспринимать пространство и предметы как часть живого и чувственного мира.

К моменту погружения в темноту без повязки она уже многому научилась. Рисунки из плоского пластилина, процарапывание по картону, классическое рисование с использованием лишь ярких линий и пятен, работа с восковыми мелками и даже бисероплетение, занимавшее время юной художницы ещё в большей степени, чем рисование и лепка. Развитие осязания и ощущение цветовой температуры – именно на них делал упор Адольф Цинк, неустанно занимаясь с Авророй и достигнув в этом немалого успеха.

– Смотри, – говорил он внучке, – твои пальцы, самые

чувствительные их кончики, они как будто скользят по рельефу твоей работы, они словно улавливают тончайшие, едва ощутимые нюансы и переходы фактуры одной поверхности в другую, линии – в пятно, провала – в очередной подъём, низменности – в возвышенность, грубоватого – в более нежное и гладкое. И никто на свете, кроме тебя, не может подобного чувства испытать, только ты, только твои живые пальцы с их внутренним зрением, и только твоё художническое воображение.

Она старалась, очень. Ей, юной художнице Авроре Царёвой, хотелось догнать эти линии, эти бесчисленные изгибы и повороты, эти краски и цвета, что убегали от неё, растворяясь вне границ небольшого, слабо видимого светового пятна и больше не улавливаясь ни оставшейся чернотой, ни привычной мутноватой дымкой.

Она боролась, как умела – так, как об этом просил её дед. Бабушка в этом смысле мало чем могла помочь. Бабушка больше заботилась о порядке в доме, о еде, чистоте и о том, чтобы все Цинки были любимы друг другом и обихожены ею не хуже остальных добрых людей, зрячих и незрячих.

Когда пришёл срок, Цинк отвёл внучку в специальную девятилетнюю школу для слепых и слабовидящих детей. Там её учили писать и читать, используя азбуку Бройля, ориентироваться в пространстве вне знакомых границ, а также выживать в ситуации самой непредвиденной.

К моменту окончания его внучкой школы Адольф Иванович Цинк, уйдя из «Иллюзиона», уже не первый год руководил изостудией для слабовидящих художников при Всесоюзном обществе слепых. Детей на занятия к нему привозили со всех концов Москвы, и к каждому ребёнку он старался найти подход, добавляя света черноте и мутному туману в их незрячих глазах.

Одной из лучших студиек была Аврора Цинк. Этот псевдоним она взяла сразу, как начала активно выставляться.

В 1991-м, вскоре после того, как Россия стала страной, слепая художница Аврора Цинк получила первую премию на проходившем в Женеве интерхудожественном конкурсе «Specart World», заработав 25 тысяч долларов. Сюжет картины, выполненной в смешанной технике, был несложен, но именно тем и поразил воображение членов международного жюри: космонавт в скафандре высыпает золу из урны в ямку, вырытую на поверхности неизвестной планеты. И название: «Лунное погребение неизвестного».

В этом же году 24-летняя Аврора и 68-летний Цинк прилетели в Крым, в Евпаторию. Там они наняли вертолёт, в Центре дальней космической связи, заплатив украинским

военным запрошенную сумму, и, пролетая над Медведь-горой, высыпали содержимое урны, которую незадолго до этого Адольф Иванович извлёк из ниши колумбария Донского монастыря. Прах Евгении Адольфовны Цинк парил над небольшой поляной, усыпанной белыми цветами с мохнатыми звёздочками, и медленно опускался на неё, впитываясь в земной грунт, чтобы уже с его поверхности всматриваться в небесные дали, о встрече с которыми так истово мечтал Павел Сергеевич.

Они умерли почти одновременно, Адольф и Настасья Цинк, уйдя в один год. К моменту смерти ему было 84, ей – чуть больше. Прах умерших бабушки и дедушки Аврора поместила в семейную нишу колумбария, пустовавшую после изъятия оттуда урны матери. К моменту захоронения зрение Авроры Павловны Царёвой-Цинк было восстановлено если не стопроцентно, то, по крайней мере, около того. После операции по пересадке донорской роговой оболочки, проведённой в одной из немецких клиник, глаза её вновь обрели способность не только видеть, но и различать тончайшие оттенки цветов и красок, существовавших прежде лишь в придуманных ею образах. Там же, в Германии она издала прозаический сборник своей матери, назвав его «Человек с планеты эдельвейсов», куда вошли два эссе, четыре рассказа, повесть и сказка. Книга разошлась немалым тиражом, после чего была издана на родине автора.

В том же году, вскоре после своего сорокалетия, Аврора Павловна вышла замуж за известного литературного критика из Кёльна и сразу после свадьбы переехала на постоянное место жительства в Германию. Из вещей взяла с собой немного: палисандровый столик, принадлежавший когда-то её прадеду Ивану Карловичу, часовых дел мастеру, дедушкины очки в круглой металлической оправе, свой детский портрет, где она изображена с повязкой на глазах, сделанный когда-то дедом Адольфом Ивановичем, и виниловые пластинки своего отца Павла Сергеевича Царёва.

В Кёльне Аврора Павловна открыла и возглавила изостудию для слабовидящих детей, присвоив ей имя «Студия Авроры Цинк».

Через год у них с мужем родился мальчик. Она долго думала, как назвать своего первенца, учитывая наличие мощной альтернативы, но в итоге всё же назвала Адольфом. Мальчик был беленький и бодрый, будто только сошёл с живописной миниатюры начала XIX века, выполненной в стиле немецкого романтизма. Ребёнок улыбался и тыкал пальчиком в небо, выискивая там нечто такое, о чём пока имел самое смутное представление. Возможно, маленький Адик уже пытался

рассмотреть в этом небе летательный аппарат, который он, когда вырастет большим, непременно наймёт, чтобы с высоты его полёта посеять пепел своего деда Павла Сергеевича Царёва на ту волшебную поляну, где растут звёздчатые эдельвейсы. Этот пепел вернёт ему законная власть той удивительной, самой необъятной страны на свете, чей кремлёвский погост когда-нибудь канет в Лету, а опустевшие ниши в краснокирпичной стене будут замурованы наглухо и уже навсегда…

Конец

Аланья-Москва, март-апрель 2013